

АЙН РЭНД

АПОЛОГИЯ
КАПИТАЛИЗМА



НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЗРЕНИЕ

LITRU.RU

Айн Рэнд (1905–1982) — американский романист, эссеист, философ. Она родилась и училась в Петербурге, в 1926 году эмигрировала в США. Убежденная противница коммунизма, она защищает принципы индивидуализма и крайнего либерализма, именно такую позицию Айн Рэнд считает по-настоящему человеческой и гуманной. В основе ее философии — принцип свободы личности. Айн Рэнд выступает с апологией капитализма, доказывая, что это не только самый эффективный, но и самый честный уклад общества, который основывается на свободе выбора человека.

На русском языке уже вышли романы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», «Мы — живые», «Источник». В настоящей книге собраны статьи Айн Рэнд, раскрывающие суть таких актуальных общественных явлений, как расизм, фашизм, война, государство и пр. Особый интерес представляют эссе, в которых Айн Рэнд использует свой философский аппарат применительно к теории литературы. Все статьи публикуются на русском языке впервые. Вопросы, поднятые автором, являются чрезвычайно актуальными для сегодняшнего дня.

Книга адресована философам, политологам, историкам, филологам и всем, кого интересует теоретическое осмысление проблем современного общества.

Александр Эткинд

Non-fiction по-русски правда

В силу исторических причин, главной из которых была государственная монополия на клевету, либерализм в России ассоциируется с мягкотелостью и уступчивостью. Такое понимание искажает как идеи классического англосаксонского либерализма, так и дела российского прошлого и настоящего. Сегодня легко забыть, что победившая идеология — либерализм и его русское ответвление — формировалась в неравной борьбе против господствующих идей. В Англии то был меркантилизм колониальной эпохи, в России этатизм всех цветов, белый и красный. Айн Рэнд удалось застать историю в момент, когда либеральные идеи еще имели критический, а в иных местах опасный характер. Это придало ее текстам энергию, которой сегодня впору завидовать. В своих скандально известных сочинениях она совместила обе протестные традиции, англосаксонскую и российскую, в сильной, даже экстремальной версии либеральной философии. Но сначала несколько слов о судьбе Айн Рэнд.

Алиса Розенбаум родилась в Санкт-Петербурге в год первой русской революции. Несмотря на еврейское происхождение, ее отец, местный аптекарь, смог дать дочери отличное образование: в женской гимназии Алиса училась вместе с Ольгой Набоковой, сестрой писателя. В 1924 году она окончила университет, который нынче называется Герценовским, по характерной специальности, «социальная педагогика». Потом водила экскурсии по Петропавловской крепости, а потом подала документы на выездную визу. Рассказывая об этом, я чувствую странное узнавание: на моей памяти все так и происходило с ее тезками, родившимися полвека спустя в той же «стране чудес». В отличие от многих, Алисе повезло, в 1926-м через Ригу она добралась до Нью-Йорка. Ей был двадцать один год. Мать и отец Алисы остались в отказе. Они умрут в Питере во время блокады.

В полуразрушенном университете Алиса Розенбаум была студенткой религиозного философа Николая Лосского. Осенью 1922-го профессор уехал из России; если его лекции успе произвести впечатление на юную Алису, оно было негативным. Вслед за Соловьевым и основным руслом отечественной традиции, Лосский верил в скорый рай на преображенной земле. Вместе с Бердяевым и другими современниками он воспринимал русскую революцию как начало предсказанной метаморфозы. Философы не сразу заметили, что царство Божие запаздывало с осуществлением, а заметив, продолжали учить об отложенном преображении. Даже в относительно благополучном, тоже американском конце своего пути Лосский продолжал верить: «весь исторический процесс сводится лишь к подготовке человечества к переходу от истории к *метаистории*, то есть "грядущей жизни" в царстве Божием».^[1] Подобные и, вероятно, более горячие речи в холодных аудиториях революционного Петрограда выработали аллергию к мистическим планам преображения души и тела. Бывшая студентка Лосского прочно ассоциировали неоплатоновскую мистику с советским режимом. «В сегодняшней культуре доминирует философия мистицизма-альтруизма-коллективизма, следствием которой является сильное государство в разных его формах: коммунистическое, фашистское или так называемое государство всеобщего благосостояния» — так много лет спустя Айн Рэнд определяла своих врагов.

Она писала философские трактаты и журналистские памфлеты, но знаменитой ее сделали романы^[2]. Начиная с первого, *Мы, живые*, Алиса Розенбаум взяла псевдоним Айн Рэнд. Как она объясняла своим читателям, чье поколение ездило в СССР, как мусульмане ездят в Мекку, *Мы, живые* написан человеком, «который действительно жил под властью Советов». Законченный в

1934 году, роман допечатывается до сих пор. На английском продано два миллиона экземпляров; жаль, потомкам его героев этот роман известен куда меньше. Героиню зовут Кира Аргунова. Она сильная красивая девушка, землячка и ровесница автора. Кира поступает в Технологический институт, участвует в собраниях комсомольской ячейки и сходится с сыном царского адмирала, расстрелянного большевиками. Вместе они пытаются бежать за границу, но их берут посредине Финского залива. У Левы развивается чахотка. Чтобы спасти любимого, Кира отдается Андрею, начальнику следственного отдела ГПУ. Так завязывается любовная интрига нового типа. Беря деньги у Андрея, Кира лечит Леву, но ее все больше притягивает чекист. У того свои неприятности, его обвиняют в троцкизме. Накануне последней чистки он предлагает Кире бежать за границу, но она не может бросить больного Леву. Выслеживая своих врагов, Андрей арестовывает нэпмана Леву, которым партийные боссы, увязшие в коррупции, прикрывают финансовую аферу. Так мужчины Киры узнают друг о друге. Что делать? — спрашивает в таких случаях русская литература. Андрей освобождает Леву и кончает с собой. Лева бросает Киру. Та пытается пересечь латвийскую границу, и ее подстреливает часовой. Она истекает кровью, ночью на снегу в белом платье.

Позже другая американская эмигрантка, беженка из Кенигсберга Ханна Арендт, напишет книгу об Адольфе Эйхмане, уничтожавшем евреев в Европе. Зло банально, писала Арендт, изобразив кровавого злодея как скучнейшего из людей. Рэнд в своем вымышленном Таганове показала более сложную динамику, чем Арендт в своем реальном Эйхмане. Этот троцкист входит в оппозицию режиму и, искупая собственное участие в нем, борется против власти по ее собственным законам, как это делали позднейшие диссиденты. Потерпев поражение, он судит себя сам, забирая собственную жизнь вместо того, чтобы скрываться от своих уцелевших жертв, как это делал Эйхман. Поэтому он достоин сочувствия читателя и любви героини. Нацист и чекист в равной степени свободны не делать ту карьеру, которую сделали. Поэтому они отвечают за все, что по должности совершили. Они лишь чиновники, выполнявшие чужие приказы, но это никого не освобождает от ответственности. В изображении Рэнд чекист не банальный, но романтический злодей. Это сохраняет за ним важнейшие из прав человека — на сомнение, раскаяние и, наконец, на изменение.

Свою философскую родословную Рэнд, пропуская многие стадии от Платона как раз до Лосского, начинала прямо от Аристотеля. «Философия Аристотеля была интеллектуальной Декларацией Независимости. [...] Она определила *главные* принципы рационального взгляда на бытие и сознание: что существует только *одна* реальность, [...] что задача человеческого сознания в том, чтобы воспринимать, а не создавать реальность, и [...] что А есть А». Это и был «объективизм», определяемый Рэнд как система логических следствий из того, что «А есть А». Мало кто из философов не морщился, читая эти дефиниции — если, конечно, читал их. Главным и несомненным талантом Рэнд было умение упрощать. Она доводила идею до ее крайности, высказывая сильные мнения с шокирующей уверенностью. Многие в Америке считали ее формулы гиперболами; и правда, этот троп весьма свойственен Рэнд. В шестидесятых годах, когда интеллектуальный протест в Америке совсем слился с левыми идеями, она обвиняла социализм в фашизме, а администрацию Джонсона^[3] в неразборчивой смеси обоих. «Сейчас мы представляем собой распадающуюся [...] смешанную экономику, беспорядочную смесь социалистических схем, коммунистических влияний, фашистского контроля и тающих остатков капитализма; [...] и весь этот клубок катится к фашистскому государству». Через два президентства она была с триумфом принята в Белом Доме, а ее ученик сделался экономическим гуру Америки. Всего этого Рэнд не простили те из интеллектуалов, которые превратили само понятие либерализма в зонтик для расплывчато-левых идей и никогда не полных разочарований. «Неужели вы интересуетесь Рэнд? — спросил меня нью-йоркский

профессор истории. — Мы все зачитывались ею в юности; но вообще-то она что-то вроде фашиста».

Свою философию Рэнд называла объективистской, свою политическую теорию либертарианской, свою культурную критику — романтической. По определению Рэнд, романтизм есть утверждение свободной воли и ответственного выбора. Нацистов и чекистов ждет суд своей совести и потом, в качестве второй инстанции, суд истории. Эти суды тоже романтичны. Они исходят из представлений о том, каким должен быть человек, невзирая на обстоятельства, потому что сами эти обстоятельства создаются людьми и никем иным. Современная философия не есть рационализация невроза современного человека — это его причина, считала Рэнд. «Практическим результатом современной философии является сегодняшняя смешанная экономика»; в более решительном настроении она утверждала, что современная ей Америка реализовала все положения «Коммунистического манифеста». В большевистской России козлом отпущения стала буржуазия, в нацистской Германии ими были евреи, в современной Америке это бизнесмены, — писала Рэнд. Но и ей нужны были виноватые, — ими стали университетские интеллектуалы. На обоих континентах они предавались фантазиям, силу и опасность которых отлично знала недавняя беженка из СССР. Предупреждая о них страну, которая дала ей прибежище, но подвергала себя тем же опасностям, она повышала голос, находя гиперболы все более экстремальные. В 1968-м она обращалась к бунтующим студентам: «Идеи ваших профессоров правили миром в течение последних пятидесяти лет, причиняя ему все большее опустошение [...] Сегодня эти идеи разрушают мир так же, как они разрушили ваше уважение к самим себе». Ее современники наполняли университеты и журналы праведными протестами против капитализма и «холодной войны». В глазах Рэнд то была поношенная, беспомощная, невежественная элита, которая попала из вонючих подвалов в пустующие гостиные и, не заметив этого, продолжает прятаться «от света, грамматики и действительности». Их галлюцинации были заразительны и смертельны, как оружие массового поражения; но в отличие от последнего о методах дезактивации левой идеологии до сих пор нет единого мнения.

Тома вымысла и pop-fiction были ее орудиями в затяжной, далеко не всегда успешной борьбе. Не очень надеюсь, что со мной согласится читатель, но Алиса Розенбаум согласилась бы: pop-fiction по-русски правда. Анализ Рэнд был оригинален и лаконичен. Две составные части великой психической болезни XX века — коллективизм и мистицизм. Соединившись в незаконном, но устойчивом сожителстве, они породили химеры, которые обычно поворачиваются, как луна, первой из своих сторон, — тем более важно рассмотреть другую. Обвинение марксизма в иррационализме и платонизме было острым и неожиданным выпадом. После Рэнд его развивали более уважаемые философы, например Карл Поппер. По их следам сегодня движутся многие.

Опубликовав четыре романа-бестселлера и десяток философских книг. Рэнд сделалась предметом культа. В Калифорнии есть институт ее имени. Хиллари Клинтон ссылалась на нее как на ролевую модель. Социологические опросы, не знаю насколько достоверные, называли роман Рэнд *Атлант расправил плечи* самой популярной американской книгой после Библии. Полос важно, что в середине 1950-х в культовый кружок, регулярно собиравшийся с целью чтения Рэнд в ее присутствии, входил Алан Гринспен. С 1987 года он возглавляет Федеральную резервную палату, американский аналог Центрального банка. На вершине своего успеха Гринспен вспоминает Рэнд с благодарностью: «Именно она убедила меня долгими разговорами и ночными спорами, что капитализм не только эффективен и практичен, но морален. Рэнд считала, что капитализм превосходит другие социэкономические системы, такие, как феодализм и социализм, потому, что только капитализм основан на добровольном обмене

между рациональными индивидами, заботящимися о собственном интересе»^[4]. Россия XXI века, проходящая болезненную школу капитализма, вправе испытывать патриотическую гордость: самый успешный американский финансист XX века проходил ту же школу у уроженки Санкт-Петербурга. На презентации русского перевода *Атланта* в апреле 2000 года экономический советник российского президента Андрей Илларионов назвал Рэнд своим кумиром и сообщил, что рекомендовал читать эту книгу Владимиру Путину^[5]; в тот момент, по словам советника, президент читал Набокова. Что ж, наряду с Владимиром Набоковым и Иосифом Бродским Айн Рэнд является третьим — хронологически первым — примером значительного успеха русского писателя, работающего на английском языке.

Из своей ключевой интуиции, что А равно А и должно всегда таким оставаться, Рэнд делала вывод о том, что главным злом в экономике является инфляция, которая нарушает это тождество. Инфляция есть цифровое выражение левых идей. Инфляция есть следствие раздутого государства. Ничто, даже экономический рост, не оправдывает инфляцию. Политика Гринспена основана на том же убеждении; остальное дело техники. Сегодня все это общеизвестно, но Рэнд проповедовала накануне очередного поворота Америки налево. В 1965-м, во время студенческих волнений в Беркли, она писала так: «Социальное движение, которое началось с тяжеловесных, головоломных конструкций Гегеля и Маркса, закончилось ордой неумытых детей, топчущих ногами и визжащих "Я хочу прямо сейчас"». После Платона, главным ее философским врагом был Кант, «первый хиппи в истории». Кантианскими убеждениями она объясняла даже случай Эйхмана. Согласно Рэнд, после Канта философия занималась только тем, что доказывала импотентность человеческого разума. XX век завершал длинный путь саморазрушения, который начал Кант, оторвав разум от реальности и, таким образом, лишив западного человека его оружия. Современные философы, например лингвистические аналитики, только тем и занимаются, что убеждают студентов в их неспособности понимать реальность как она есть. Восставая против западной традиции в ее же защиту, Рэнд искала опору в здравом смысле бизнесмена, ценящего свое личное понимание как главное из средств практической жизни. «Человеческий разум является главным средством выживания и самозащиты. Разум является самым эгоистичным из человеческих качеств: [...] его продукт — правда — делает человека особенным, негибким, недоступным власти». Ее критика сосредоточилась на этике индивидуальной жертвы во имя группы — идее, которая столетиями служила стыковочным узлом между социализмом и христианством. «Коллективизм не считает жертвенность временным средством [...]. Жертва есть самоцель, жертва есть способ жизни. Коллективисты хотят уничтожить независимость, успех, благополучие и счастье человека. Посмотрите на то рычание, ту истерическую ненависть, с которой они встречают всякий намек на то, что жертва не есть необходимость, что возможно общество, не основанное на жертве, и что только в таком обществе человек может достичь благополучия».

Как большинство консерваторов, Рэнд придавала идеям каузальное значение. Она утверждала, что общества различаются своими философами больше, чем своими крестьянами или своими фюрерами. Те, кто не видят роль личности в исторической жизни, на самом деле стыдятся собственной роли, не уставала подчеркивать Рэнд. Для нее именно философия определяет характер экономики и политики, не наоборот. Только с такой позиции и можно говорить об интеллектуальной ответственности. Понятно, что преувеличение собственной значимости — обычная болезнь специалиста (а тем более любителя), будь он хоть и философ. Но поколения современных и пост-современных философов — марксисты и другие левые, выросшие на их наследстве, — чаще находили удовольствие в утверждении, что философия лишь отражает более глубокие реальности политэкономии, а значит, их собственная философия неважна и ненужна. Материалистические схемы, столь любимые социальными идеалистами,

полезны как алиби: они лишают всякую мысль причинного значения, а значит, ответственности за собственные последствия. «Если вы хотите увидеть ненависть — не смотрите на войны или концлагеря, все это лишь следствия. Почитайте труды Канта, Дьюи^[6], Маркузе^[7] и их последователей, и вы увидите чистую ненависть — ненависть к разуму и ко всему, что он за собой влечет, — способностям, достижениям, успеху», — со страстью и не всегда справедливо писала Рэнд. На время вооружившись Ницше, она идентифицировала своих врагов, от Гераклита до самого Ницше и далее до Маркузе, с Дионисом (соответственно Аристотеля и саму себя с Аполлоном). Взятые вместе, мистицизм и коллективизм ведут к анти-индустриальной революции, считала Рэнд. Если идеи новых досократиков окончательно победят в сознании американцев, их повседневная жизнь превратится в подобие советской жизни. Когда все зарплаты будут равны, хорошая работа станет редкостью; поскольку одинаково платить за хорошую и плохую работу несправедливо, хорошая работа будет запрещена от имени большинства; исчезнут холодильники и лампочки, зато денег будет не пересчитать; обездоленных людей будет одолевая неодолимая скука. Рэнд признавала, что ее открытие — связь между разумом, эгоизмом и общим благом — не оригинально. С другой стороны, ее предшественники — Аристотель, Адам Смит или Джон Стюарт Милль^[8] — не имели и сотой доли того опыта осуществленных утопий, которым располагали авторы и читатели середины XX века.

Наша культура стала выгребной ямой, в которую элита спускает страх перед жизнью, жалость к себе и желания, не реализованные за их никчемностью, — писала Рэнд на своем богатом английском (когда она читала собственные тексты, слушатели удивлялись сильному русскому акценту). Самоирония прикрашивает современные фантазии, но не способна изменить их аромат, — предвосхищала Рэнд позднейшие споры. Ирония и, тем более, самоирония не были ее достоинствами; от постмодернизма она была так же далека, как от фашизма. В одной из статей Рэнд восхищается Джеймсом Бондом, каким она его застала: ему было не до шуток, ведь он защищал свободный мир. Нынешние Бонды ироничнее. В наших новостях и фантазиях они вместе с новыми Штирлицами все так же сражаются против тиранов, но при этом все, кроме тиранов, дружно смеются над собой — шпионы, авторы, зрители. Нам кажется, что нас выручит чувство, которое было столь не свойственно Рэнд и которое в России называется юмором, трепом или стебом. Похоже, она и тут была права. Юмор имеет силу только там, где он запрещен. Разрешенный и, хуже того, навязанный, он ужасно надоедает. Он не помогает на демократических выборах, не поможет и на химической войне.

Рэнд вряд ли мечтала о том, что ее будут читать в русских переводах. Память об оставленных в России близких вызывала нешуточную тревогу в течение десятилетий, и вплоть до шестидесятых годов Рэнд скрывала свою настоящую фамилию, чтобы ее разглашение не причинило вред родственникам в России. Но при первом же знакомстве с ней ее поклонник почувствовал, что «она более русская, чем я мог себе представить»^[9]. Она рассказывала юному любовнику о том, что $A=A$, о петербургских прототипах своего первого романа *Мы, живые* и еще о Достоевском, который оставался ее любимым писателем (любимым романом были, нетрудно угадать, *Бесы*). Если первые произведения Рэнд — *Мы, живые* и *Гимн* — посвящены переработке болезненного российского опыта, то в двух последних романах — *Источник* и *Атлант расправил плечи* — об оставленной родине нет ни слова. Но везде очевидны идеологические уроки русской революции. В антиутопическом *Гимне* 1937 года показаны люди, которые не имеют частной собственности, лишены индивидуальной любви и забыли местоимения единственного числа. Когда главный герой влюбляется в жен-щину, он формулирует свои чувства так: «Мы думаем о Них».

В романе очевидна зависимость Рэнд от самого популярного тогда из новых русских

писателей, доступных на английском языке, Евгения Замятина. Новостью жанра, которую придумала Рэнд в *Гимне*, была деградация коллективистского общества до уровня первобытности. Как у людей в *Мы*, у людей в *Гимне* нет имен. Оба романа были написаны от лица технического гения, восставшего против режима в двойную силу любви к знанию и любви к женщине; в обоих романах эти герои записывают свои прозрения для потомков. *Гимн* рассказывал об обществе после большой войны. Большинство погибло, а уцелевшее меньшинство в попытке предотвратить дальнейшее уничтожение обратило цивилизацию вспять. Все книги сожжены, техника запрещена, упоминание о прошлом запрещено под страхом смерти. Секс отменен, но в целях размножения практикуется дважды в год: партнеры подбираются властью и не видят друг друга. Разделенные на касты, ходящие строем, спящие в общежитиях, люди живут в условиях каменного века. Недавним изобретением, вызывающим мистический трепет, является свеча. Герой Рэнд работает подметальщиком улиц и вступает в незаконный контакт с крестьянкой. Технический гений, он устраивает тайную мастерскую, экспериментирует с найденными предметами и зажигает лампочку. Он пытается дать вновь найденный свет людям, но подвергается физическому наказанию. Тогда он бежит вместе с лампочкой и крестьянкой. Найдя заброшенный дом в горах, полный непонятных, увлекательных предметов, он дает начало новой цивилизации. Первым делом он изобретает слово Я.

Рэнд меняет экологическую среду антиутопии и, пожалуй, дает новый мотив политической теории. Люди, лишённые свободы, не способны к развитию технической цивилизации. Вслед за свободой они потеряют способность к изобретению и творчеству. Такой режим деградирует именно в тех своих аспектах, которые считает единственно важными: в технике, силе и власти. Свобода не есть гуманитарная игрушка, изобретение философов и писателей. Свобода есть необходимое условие технологического развития и в конечном итоге военного успеха. Это знал Кант, к которому так несправедлива была Рэнд; знал и Токвиль^[10], к которому она была равнодушна. Но даже Замятин, очень умный социальный конструктор, не видел технологического потолка, в который упирается несвобода. В его романе люди, не имеющие имен и собственности, живущие в прозрачных стенах и марширующие в ногу по два часа в день, делают выдающиеся изобретения. Мыслимо ли это? Здесь нужна, например, развитая система образования. Но чтобы выучить студента чему-нибудь, кроме строевой подготовки, ему надо дать свободу. Нужна система мотивации: хорошо работающий инженер должен жить лучше, чем плохо работающий, иначе оба будут работать одинаково плохо. В *Чевенгуре* Платонова, написанном за 10 лет до *Гимна* Рэнд, утопическая коммуна тоже деградирует к каменному веку, а ее голодные идеологи проповедуют, что труд, проклятое наследие буржуазии, подлежит отмене. Но Рэнд, конечно, не читала *Чевенгура*.

Своего расцвета идеи Рэнд достигают в двух последних и самых популярных ее романах, *Источник* и *Потрясенный Атлант*. В обоих случаях центральные характеры — выдающиеся инженеры, герои практической работы, гении взаимодействия с земным миром. Они проектируют небоскребы и электрические машины, строят Манхэттен и то, что впоследствии назовут Силиконовой долиной. Они преследуют практический интерес и отрицают социальные условности, налипшие на их искусство и мешающие им работать. Они находятся в прямом контакте с тем, что Рэнд называет Реальностью: это физическая материальность мира, которую технический гений способен приводить в соответствие с высокими потребностями человека. Красивые, умные и сильные женщины, которыми украшены оба романа, тоже воплощают в себе Реальность. В конечном счете природе судить о том, правильно ли построено здание, и она жестоко наказывает плохого архитектора. Так, героини Рэнд награждают или наказывают своих поклонников. Судят они без ошибки, и их любовь неизменно принадлежит инженерам. Но тем мешают сильные люди послевоенной Америки, социологи, журналисты и бюрократы. Эти люди

живут в плену всего того, что направлено против Реальности: в плену устаревшего стиля, левых идей и мелких страстей.

Как голливудские фильмы или романы социалистического реализма, книги Рэнд всегда заканчиваются победой правого дела: здание построено, общество спасено, а женщина сама приходит к герою. В центре *Источника* (1943) архитектор-конструктивист, который борется с архаическим стилем, нелепым в эпоху небоскребов. Герой проектирует здания из прямых линий, стекла и стали, но они остаются на бумаге, а Нью-Йорк застраивается этажными дворцами с античными портиками. Главным врагом нашего функционального героя является ясный социолог, который годами убеждает публику в том, что демократический дух воплощают только дорогие фасады с колоннами. Будущее, конечно, за архитектором. Реальность имеет свои средства покарать того, кто нарушает ее права, и вступает за тех, кто знает и любит ее больше, чем социальные условности. В романе *Атлант расправит плечи* (1957) мы следим за центральным конфликтом послевоенной Америки и обсуждаем главную проблему ушедшего столетия. От своих технических изобретений герой переходит к осознанию капиталистической экономики как выдающегося достижения человечества — не только самого эффективного, но и самого нравственного из механизмов социальной жизни.

Заботясь о себе, умные люди добровольно вступают в договорные отношения и соревнуются за успех в избранном деле; это и есть капитализм, самая совершенная система из мыслимо возможных. Современная жизнь вся, от самолета до унитаза или таблетки с витаминами, изобретена такими людьми. Ум инженера, руководителя, организатора производства достоин большей оплаты, чем труд исполнителей. Нет большей справедливости, чем позволить изобретателю самому владеть изобретением и располагать полученной выгодой. Но публика и правительство живут иными идеями. Профсоюзы требуют все больших выплат, налоги повышаются с каждым годом, разница между доходом умных и зарплатой глупых все уменьшается, и инфляция доллара опровергает закон тождества. Под руководством социалистического правительства Америка знакомится с дефицитом, очередями, распределителями. Те же профсоюзы, что начали порочный круг своими требованиями незаработанной зарплаты, приступают к забастовкам. Стоят заводы, стройки, железные дороги. Социалистические бюрократы в Вашингтоне не понимают происходящего. Они пришли к власти, чтобы бедные стали богаче, а богатые беднее; но получилось только последнее. У правительства нет денег, и любая правительственная мера ведет к росту инфляции. Вместо того чтобы снижать налоги, правительство повышает их. Протестующие американцы взрывают мосты в Нью-Йорке. Фермеры идут в поход на столицы штатов. Начинается новая гражданская война.

Главный герой *Атланта* Джон Галт выступает с радиообращением к нации. Он объясняет кризис лживой социальной теорией и предательством американской традиции. Он обращается не ко всем, но только к тем, кто умен и богат или был бы богат при другом режиме. Он призывает к национальной забастовке собственников, менеджеров и инженеров. Вы в правительстве считаете нас эксплуататорами: что ж, мы перестаем эксплуатировать, говорит он социалистам. Теперь, когда мы перестанем работать, мир станет совсем таким, каким вы хотели его увидеть. Все беды, которые вы принесли миру, суть результат вашего непонимания того, что $A=A$. Нет ничего более морального, чем рациональность и хороший счет; и ничего более аморального, чем мистические призывы к всеобщему благу, подкрепляемые инфляцией. Всякий диктатор есть мистик, и всякий мистик есть потенциальный диктатор. Социализм пытается загнать людей обратно в рай, где они стали бы роботами, лишены знания, творчества и радости. Я, говорит Джон Галт, не испытываю вину за свое знание. Я не буду жертвовать собой ради других и не хочу принимать их жертвы. Нас объявили аморальными людьми, а наше творчество недостойным делом. Пусть живут без нас. Мы объявляем забастовку.

В этой многостраничной речи Алиса Розенбаум высказала все, что привезла из ленинской России в рузвельтовскую Америку. Несомненно, это лучшая из формулировок философской и политической позиции Рэнд. Философы часто основывали свои дискурсы на потребностях угнетенных, будь то пролетарии, женщины или гомосексуалисты. В мире смешанной экономики угнетенным меньшинством стали капиталисты. Это их классовый интерес нашел свой голос в романах и эссе русской эмигрантки. Тысячи честных людей своим талантом сумели добиться хорошей жизни для себя и своей семьи, а попутно создали небывало разнообразную, стабильную, удобную среду обитания для миллионов, лишенных этого таланта. Большинство не понимает, что, ущемляя права успешного меньшинства, оно подрывает источник собственного благополучия.

Потрясенный Атлант кончается вскоре после этой речи; и правда, автору немного осталось сказать. Стараясь спастись, правительство пытается назначить Галта экономическим диктатором. Тот отказывается от сотрудничества. В надежде склонить его на свою сторону социалисты используют все средства от подкупа до пытки. Как в советском романе, герой преодолевает все соблазны и страдания. Как американский фильм, история кончается счастливым концом. Америка свергает социалистов и вся становится как Джон Галт. Страна возвращается к вере в силу и успех отдельного человека. Антиутопия Рэнд кончается как же, как все прочие произведения жанра начиная с *Мы*: картиной жуткого крушения нового мира, построенного на искусственных законах равенства и несвободы. Как избавление и рецепт, Рэнд предлагает большому бизнесу Америки осуществить всеобщую стачку, более всего напоминающую события 1905 года в России, время и место ее появления на свет. Проект впечатляющий, хоть и трудноосуществимый. Здесь, похоже, образы Рэнд делают полный круг. Она ищет избавления от своего раннего опыта в России и гарантии того, что он не повторится в Америке. Она конструирует врагов с темпераментом и настойчивостью, которые куда более свойственны стилю советской родины. Но на свете всегда найдутся президенты, которым стоило бы почитать, как *Атлант расправил плечи*.

Роман был и остается чрезвычайно популярен. Читая его, Алан Гринспен восклицал: «Айн, это невероятно. Никто никогда не показывал, что на самом деле значит индустриальный успех»^[11]. На вершине собственного успеха Рэнд объявила о культурном банкротстве Америки. Левые интеллектуалы завладели университетами, социальными службами, печатью. В пересказе Рэнд, эти люди утверждали, что «Америка, самая благородная и свободная страна на земле, политически и морально ниже советской России, самой кровавой диктатуры в истории». Лишь мир бизнеса свободен от мистического коллективизма; но его не слышно и не видно, потому что ему отсечен выход к публике. Чтобы избежать индустриальной контрреволюции, Америке нужна интеллектуальная революция. В книжке 1961 года *За нового интеллектуала* Рэнд предсказывала поколение, которое воссоединится с бизнесом, оставит мистику, поверит в силу разума, признает ответственность идей за события, например за экономическое развитие. Она оказалась права, поколение хиппи сменилось поколением яппи.

Используя русскую память для объяснения американского мира, Рэнд склонилась перед людьми, создающими сильные машины, высокие здания, стабильные деньги и, вместе с этим и сверх этого, сам капитализм. Ее врагами оказались ироничные маргиналы, критически настроенные гуманитарии, люди с амбициями и без ресурсов, — короче говоря, мы с вами, ее действительные читатели. Что ж, чтение Рэнд вызывает сопротивление, но учит смирению. Не судите ее, судите себя. В экстремальном либерализме Рэнд консервативные идеи сочетались с мозолистой хваткой социального критика. Она не признавала себя консерватором. Ее не устраивал существующий порядок вещей, она призывала его переделать; при чем тут консерватизм? Результатом проведенной ею гибридизации была редкостная политическая

порода: правый радикализм. «Объективисты «являются "консерваторами"». Мы — радикалы от капитализма».

Романы и эссе Рэнд переносят философскую речь в обращение масс. Новые и сложные идеи воплощены в простейших литературных формах. Положительные герои всегда красивы и умны; отрицательные герои подлы, глупы, уродливы. Это эстетика массовой культуры, по форме близкая соцреализму, а по содержанию ему противоположная. Капреализм гораздо жизненнее. В условиях капитализма массовое производство не обезличивает товар, а массовое потребление не лишает его духовной ценности, потому что производитель и потребитель осуществляют свободный выбор. Суть этой системы — но Рэнд, не только эффективной, но и нравственной — в свободе. Философ капитализма и его практик, Рэнд сумела создать то, что хотела: успешный потребительский товар, который выдерживает массовое производство, не теряя своей человеческой ценности. В XXI веке альтернатив неолиберализму не предлагает никто, кроме смертников. Уже это вызывает раздражение у провинциальных эстетов, каких много по все стороны океанов. Несмотря на присущую им ностальгию, память у них короткая. Их больше интересуют прелести кино, прославлявшего коммунизм или фашизм, чем жертвы коллективизации или Холоко-ста. Они готовы почитать любого хулигана, путешествовавшего на край ночи; но те, кто истовым трудом достиг успеха, богатства и влияния, вызывают у них отвращение. Они ищут оснований для новой критической позиции. Это важное дело, я желаю им удачи. Их должен вдохновлять пример Айн Рэнд — беженки от массового террора, которая не нашла себе места в американской академии и, не скрывая презрения к пей, добилась успеха, саму форму которого скроила лично для себя.

Что такое капитализм?

Распад философии в XIX столетии и ее полный крах в XX повлекли за собой сходные, хотя гораздо более замедленные и не столь заметные со стороны, процессы в современной науке.

Безумные темпы сегодняшнего технического прогресса чем-то неуловимо схожи с ситуацией накануне экономического кризиса 1929 года — собственной движущей силы эта безудержная, горячая экспансия не имеет. Паразитируя на прошлом, на остатках бесстыдно присвоенной аристотелевской эпистемологии, она не желает осознать, что ее теоретический кредит давно превышен; что ученые больше не могут ни обобщать, ни интерпретировать на теоретическом уровне данные собственных исследований, а потому потворствуют возрождению дикарского мистицизма. В области гуманитарных наук, однако, кризис уже наступил, «Великая депрессия» началась, окончательный крах вот-вот наступит.

Особенно явственно это на примере таких относительно молодых наук, как психология и политическая экономия. Некоторые психологи пытаются изучать поведение человека, ни словом не упоминая о том, что человек обладает самосознанием, а некоторые политические экономисты — изучать и разрабатывать модели общественного устройства, ни словом не упоминая о человеке вообще.

Именно философия формулирует и диктует эпистемологические критерии и человеческого познания в целом, и конкретных наук в частности. Политическая экономия выступила на первый план в XIX веке, в эпоху посткантианского распада философии, и никто не вызвался проверить ее предпосылки или оспорить ее основания. Негласно, некритично, по умолчанию политическая экономия приняла за аксиому основополагающие догматы коллективизма.

По словам самих политических экономистов, включая приверженцев капитализма, их наука исследует, каким образом нация, или «сообщество», распоряжается или манипулирует своими «ресурсами», как эти ресурсы используются или упорядочиваются. Характер «ресурсов» не уточнялся; то, что они — в общественной собственности, считалось само собой разумеющимся, а задачу политической экономии видели в том, чтобы изучать способы их использования ради «общего блага».

Самое мимолетное внимание, да и то — в лучших случаях, уделялось тому, что главный «ресурс» — сам человек, со своей особой природой, специфическими потребностями и способностями. Его рассматривали в общем ряду с землей, лесами или шахтами, как один из факторов производства, причем один из самых маловажных. Роли и свойствам человека посвящалось куда меньше исследований, чем значимости и свойствам вышеупомянутых элементов.

Политическая экономия как наука, по сути, поставила телегу впереди лошади: заметив, что люди занимаются производством и торговлей, она сочла — точнее, бездумно приняла на веру, — что люди занимались этим всегда и будут заниматься вовеки. Исходя из этого, она задумалась, каким образом «сообщество» может лучше всего распорядиться человеческим фактором.

Такое первобытно-племенное отношение к человеку было вызвано к жизни рядом предпосылок — например, этикой альтруизма и растущим влиянием политического этатизма среди интеллектуалов XIX века. В психологическом плане его главной основой стала пронизывающая европейскую культуру дихотомия «дух/тело»: производство материальных благ считалось унижительным, нестоящим занятием, не дающим пищи для человеческого интеллекта, ведь оно с доисторических времен было уделом рабов или крепостных. Институт рабства в той или иной форме сохранялся вплоть до середины XIX века. Как установление (но, заметьте, не

как ментальная категория) он был ликвидирован лишь благодаря приходу капитализма.

Европейской культуре было глубоко чуждо представление о человеке как о свободной, независимой личности. То была племенная культура до мозга костей; в европейском понимании существо, единица — именно племя, а человек — лишь расходный материал, одна-единственная клетка племени. Это относилось и к крепостным, и к правителям; считалось, что правители обладают своими привилегиями лишь в силу того, что оказывают племени определенные услуги. Эти услуги — а конкретнее, попечение об армии и вооруженной защите — считались «благородным делом», но дворянин был таким же движимым имуществом племени, как крепостной, ибо его жизнь и собственность принадлежали королю. Не будем забывать, что институт частной собственности в полном юридическом смысле этого термина возник лишь при капитализме. В докапиталистические времена частная собственность существовала de facto, но не de jure, то есть по обычаю и с молчаливого согласия, а не по праву или по закону. Юриспруденция и общие принципы устройства общества гласили: вся собственность принадлежит главе племени, королю, который дает разрешение ей владеть, но в любой момент, по своему усмотрению, может передумать. (Как известно из истории Европы, короли имели право конфисковывать поместья непокорных дворян и многократно им пользовались.)

Европейские интеллектуалы так и не уяснили окончательно, что такое американская философия Прав Человека. В Европе возобладало свое понимание свободы: представление о человеке как о рабе абсолютистского государства, воплощенного в короле, сменилось представлением о человеке как о рабе абсолютистского государства, воплощенного в «народе», то есть иго вождя племени сменилось игом самого племени. Иное, далекое от племенного мировоззрение оказалось не под силу менталитету, для которого признак благородства — это привилегия командовать производителями материальных благ при помощи кнута.

Европейские мыслители не заметили, что в XIX веке на смену рабам-галерникам пришли изобретатели пароходов, а на смену деревенским кузнецам — владельцы доменных печей; они продолжали мыслить в таких терминах (точнее, оксюморонах), как «рабство наемного труда» или «антиобщественный эгоизм фабрикантов, которые так много берут у общества, ничего не отдавая взамен», исходя из принятой на веру аксиомы, что богатство — это анонимный, общественный, племенной продукт.

Эту концепцию никто не оспорил по сей день; она являет собой негласную предпосылку и основополагающий тезис современной политической экономии.

Как образец этой концепции и ее последствий я процитирую статью Британской энциклопедии «Капитализм». Термина в статье не определяют; она начинается следующим образом:

«КАПИТАЛИЗМ — термин, используемый для обозначения экономического уклада, который стал господствующим в странах Запада после распада феодализма. Основой любого уклада, называемого капиталистическим, являются отношения между частными владельцами объективно существующих средств производства (земли, шахт, промышленных предприятий и т.п., обобщенно именуемых «капиталом») и свободными, но не имеющими капитала работниками, которые продают свою трудовую деятельность нанимателям... В результате заключается соглашение о заработной плате, определяющее, в какой пропорции валовой общественный продукт будет поделен между классом трудящихся и классом капиталистических предпринимателей»^[12].

(Процитирую слова Галта, персонажа моего романа «Атлант расправил плечи». Вот как он пересказывал догматы коллективизма: «Фабрикант — это обман зрения. Нет такого человека. Фабрика — это "природный ресурс", вроде дерева, камня или грязной лужи».)

Успех капитализма Британская энциклопедия объясняет следующим образом:

«Вложение "излишков общественного богатства" в производство оказалось тем особым преимуществом, которое позволило капитализму превзойти все существовавшие ранее экономические уклады. Вместо того чтобы возводить пирамиды и соборы, лица, распорядившиеся общественными излишками, предпочитали вкладывать их в корабли, склады, сырье, промышленные товары и другие материальные разновидности богатства. Таким образом общественные излишки конвертировались в расширенные производственные возможности».

Это сказано о времени, когда население Европы прозябало в такой нищете, что детская смертность достигала чуть ли не пятидесяти процентов, а периодические неурожаи истребляли «*излишки людского богатства*», то есть тех, кого не могли прокормить докапиталистические уклады. Однако, не проводя различий между двумя разновидностями богатства — произведенным и экспроприированным в качестве налога, — энциклопедия утверждает, что первые капиталисты того времени «распорядились» не чем иным, как *излишками богатства*., и что на их вложениях стоит последующая эпоха фантастического процветания.

Что же такое «излишки общественного богатства»? В данной статье этот термин никак не определяется и не поясняется. «Излишек» предполагает существование нормы; если хроническое недоедание приравнивается даже не к нормальному уровню жизни, а к благополучию, то какова же в таком случае норма? Автор статьи не дает ответа.

Разумеется, на самом деле никаких «общественных излишков» не бывает. Все богатство кем-то производится и кому-то принадлежит. «Особым преимуществом, которое позволило капитализму превзойти все существовавшие ранее экономические уклады», была *свобода* (отсутствие этого понятия в статье весьма симптоматично), повлекшая за собой не экспроприацию, а *создание* нового богатства.

Позднее я еще вернусь к этой статье, постыдной во многих отношениях, и не в последнюю очередь — в научном плане. Пока же я процитировала ее как самый лаконичный и наглядный пример первобытно-племенной аксиомы, на которой зиждется современная политическая экономия. В эту аксиому равно веруют враги и поборники капитализма; первым она дарует что-то вроде внутренней цельности, вторых обезоруживает изысканно-интеллектуальным, но пагубным ореолом ханжества — возьмем, к примеру, попытки оправдать капитализм на основании таких понятий, как «общее благо», или «служение потребителю», или «наилучшее распределение ресурсов» (*чьих, собственно, ресурсов?*).

Чтобы все-таки понять, что такое капитализм, надо проверить и оспорить *племенную аксиому*.

Человечество — не существо, не организм, не коралловый куст. Существо, занятое производством и торговлей, — *индивид*. Только с изучения индивида, а не того рыхлого целого, которое зовется «сообществом людей», должна начинаться любая гуманитарная наука.

Таково одно из эпистемологических различий между гуманитарными и точными науками, порождающих, среди прочего, тот вполне оправданный комплекс неполноценности, который испытывают гуманитарии. Ни одна точная наука не позволит себе (*пока еще не позволит*) игнорировать характер своего предмета или уходить от него. Иначе астрономия, созерцая небосвод, пренебрегала бы изучением отдельных звезд, планет и спутников, а медицина изучала бы болезни, ничего не зная о здоровье и его критериях, и основным предметом исследования считала бы больницу, не обращая внимания на отдельных пациентов.

Изучая человека, можно очень много узнать об обществе, но, изучая общество — взаимоотношения существ, остающихся для тебя неопознанными и неопределенными, — абсолютно ничего не узнаешь о человеке. Однако именно такой методологии придерживается большинство политических экономистов. Их подход на деле сводится к тайному, негласному постулату: «Человек — это элемент экономических формул». Поскольку человек из этих формул

явно выламывается, возникает занятая ситуация: политические экономисты, несмотря на прикладной характер своей науки, совершенно не способны увязывать свои абстракции с реальной действительностью.

Кроме того, это ведет к пагубному двойному стандарту или двуличию в их отношении к людям и событиям. Если они увидят сапожника, то без особых умственных усилий придут к выводу, что он трудится ради заработка; но как политические экономисты, основываясь на племенной аксиоме, заявляют, что его предназначение (и долг) — снабжать общество обувью. Увидев уличного попрошайку, они опознают в нем бродягу; в науке же он становится «независимым потребителем». Услышав коммунистическую проповедь, требующую передать всю собственность государству, они категорически протестуют и *искренне* готовы бороться с коммунизмом до последнего вздоха; но как ученые толкуют о том, что долг правительства — обеспечить «справедливое перераспределение богатства», а бизнесменов называют лучшими, наиболее умелыми попечителями «природных ресурсов нации».

Вот до чего может довести основополагающая аксиома (и философская неряшливость); вот до чего довела аксиома первобытно-племенная.

Чтобы отринуть ее и начать с нуля, сопоставляя различные общественные уклады и вырабатывая собственный подход к политической экономии, прежде всего следует выяснить природу человека, то есть основные признаки, отличающие его от всех других видов живых существ.

Основная черта человека — его способность к разумному мышлению. Для человека интеллект — главное средство выживания, единственное средство что-то знать.

«В отличие от животных, человек не может выжить, руководствуясь одними ощущениями... Без мышления он не удовлетворит даже самых простейших биологических потребностей. Мышление необходимо ему, чтобы выяснить, как сажать и выращивать свою пищу или как изготовить оружие для охоты. Ощущения могут привести его в пещеру, если она есть поблизости, но без мышления он не построит даже самого примитивного укрытия. Никакие ощущения, никакие "инстинкты" не подскажут ему, как разжечь огонь, соткать ткань, выковать орудия, сделать колесо, собрать самолет, вырезать аппендицит, изготовить электрическую лампочку, кинескоп, циклотрон или коробок спичек. Однако от таких познаний зависит его жизнь, а получить их он может лишь благодаря волевому акту своего сознания — мышлению»^[13].

Мышление — невероятно сложный процесс идентификации и интеграции, который в состоянии осуществлять только сознание индивида. «Коллективного мозга» просто нет. Люди могут учиться друг у друга, но это требует мыслительных усилий каждого ученика. Люди могут объединять свои силы, чтобы приобрести новые знания, но объединение это требует, чтобы каждый думал самостоятельно. Человек — единственный биологический вид, который способен передавать и расширять свой запас познаний от поколения к поколению; но эта передача требует мыслительных усилий со стороны каждого получателя. Тому порукой периоды упадка цивилизации, темные века в истории нашего прогресса, когда знания, накапливаемые столетиями, буквально испарялись из жизни людей, которые не могли, не желали или не смели мыслить.

Чтобы поддерживать в себе жизнь, существо любого биологического вида должно осуществлять четкую программу, predeterminedную его природой. Деятельность, необходимая для поддержания жизни в человеке, преимущественно интеллектуальна: все, что человеку нужно, он должен изобрести с помощью разума и произвести с участием мыслительных усилий. Производство — это приложение разума к проблеме выживания.

Те, кто предпочитает не мыслить, могут выжить, лишь подражая и следуя методам работы,

изобретенным кем-то другим; но «другие» должны были их изобрести, иначе не выживет никто. Те, кто предпочитает не мыслить и не работать, могут существовать (временно), воруя то, что произвел кто-то другой; но «другие» должны производить, иначе не выживет никто. Какой бы выбор ни сделал конкретный человек или какое-то множество людей (можно предпочесть бездумные, иррациональные или подлые поступки), остается фактом, что разум — средство выживания человека и что люди обогащаются или разоряются, выживают или гибнут в зависимости от того, насколько они разумны.

Знание, мышление и разумные действия — свойства индивида, и сам индивид решает, будет ли он пользоваться своей способностью к разумному мышлению, а значит, выживание человечества требует, чтобы мыслящие люди были защищены от тех, кто не мыслит. Поскольку люди не всеведущи и не идеальны, они должны иметь возможность и право соглашаться или не соглашаться, сотрудничать с другими или действовать независимо, по-своему, в соответствии со своим личным мнением, сформированным в результате умственной деятельности. Свобода — основная потребность человеческого разума.

Мозг разумного человека не заставишь работать насильно. Свою оценку реальности он не подчиняет приказам, директивам или контролю; своими познаниями, своим пониманием истины он не жертвует в пользу чьих бы то ни было мнений, угроз, желаний, планов или «благополучия». Ему могут чинить препятствия другие, его могут выключить, выслать, посадить в тюрьму или убить; но принуждение над ним не властно, ведь револьвер — не довод. (Пример и символ этого — Галилей.)

Всеми своими познаниями и достижениями человечество обязано труду и непоколебимой цельности упорных новаторов (см. «Источник»). Если бы не эти умы, оно давно бы вымерло (см. «Атлант расправил плечи»).

Принцип этот распространяется на всех людей, каковы бы ни были их способности и стремления. Если человек руководствуется своей разумной оценкой ситуации, он действует согласно потребностям своей природы и, в меру разумности, обеспечивает себе сносную, человеческую жизнь. Если он действует неразумно, то сам себя губит.

То, что разумность присуща человеку от природы, как и прямая связь между применением разума и выживанием, признано обществом в форме такого понятия, как «права личности».

Напомню вам, что «права» — это этический принцип, определяющий и санкционирующий свободу действий человека в его социальном окружении. Их основание — природа человека, его принадлежность к разумным существам; наконец, они — необходимое условие его специфического способа выжить. Напомню и о том, что право на жизнь — начало всех прав, включая право собственности^[14].

Говоря о политической экономии, последнее право нужно подчеркнуть особо: чтобы поддерживать в себе жизнь, человек должен работать и производить. Он должен поддерживать ее своими собственными силами, руководствуясь указаниями собственного разума. Если он не может распоряжаться плодами своих усилий, то не может распоряжаться и своими усилиями; если он не может распоряжаться своими усилиями, то не может распоряжаться и своей жизнью. Без права собственности никакими другими правами воспользоваться невозможно.

Теперь, учитывая вышеизложенные факты, рассмотрим вопрос о том, какой общественный уклад действительно соответствует природе человека.

Общественный уклад — это комплекс этико-политико-экономических принципов, воплощенных в законах, институтах и исполнительной власти некоего социума и предопределяющих взаимоотношения, то есть условия сотрудничества между людьми, живущими в пределах определенной географической области. Совершенно очевидно, что эти условия и взаимоотношения зависят от понимания природы человека; в обществе разумных

существ они будут не такими, как в муравейнике. Очевидно и то, что эти отношения будут кардинально различными в зависимости от того, взаимодействуют ли люди между собой как свободные, независимые личности, считающие, что всякий человек самоценен, или же как члены одной стаи, где всякий видит в других лишь слепые орудия своих *личных* целей, а также целей «стаи вообще».

Природу любого общественного уклада определяют всего два основных вопроса (или два аспекта одного и того же вопроса): «Признает ли этот общественный уклад права личности?» и «Запрещает ли этот общественный уклад применять физическую силу при взаимодействии людей между собой?». Ответ на второй вопрос проясняет, воплощена ли идея первого в жизнь.

Что такое человек — самостоятельная личность, которой принадлежат ее тело и разум, ее жизнь, ее труд и его плоды, или собственность племени (государства, общества, коллектива), которое может распоряжаться им по своему усмотрению, диктовать ему убеждения, определять его жизненный путь, командовать его трудом и присваивать то, что он производит? Есть ли у человека *право* существовать ради самого себя, или он рождается рабом, словно крепостной, который должен все время выкупать свою жизнь, служа обществу, но никогда не получит ее безоговорочно и безвозмездно?

С этого вопроса следует начать. Все прочие — лишь его последствия и аспекты практического осуществления. Основопологающий вопрос один: «Свободен ли человек?»

За всю историю человечества лишь один общественный уклад отвечает на него «Да». Это капитализм.

Капитализм — это общественный уклад, основанный на признании прав личности, в том числе права собственности, и предполагающий, что вся собственность находится в руках частных лиц.

Признание прав личности включает в себя запрет на применение физической силы при взаимодействиях между людьми; в реальности права могут быть нарушены только силовыми методами. В капиталистическом обществе ни один человек или группа людей не вправе применять физическую силу против других *первыми*. В таком обществе единственная функция исполнительной власти — меры по защите прав человека, то есть по защите его от физических посягательств; человек перепоручает власти осуществлять его право на самозащиту, и власть должна использовать силу только в качестве карательной меры и только против тех, кто применяет ее первыми; итак, исполнительная власть — это средство поставить карательные силовые меры под *беспристрастный контроль*^[15].

Капитализм признает и защищает не что иное, как основополагающую, метафизическую данность природы человека, связь между применением разума и выживанием.

В капиталистическом обществе все человеческие взаимоотношения *добровольны*. Люди вольны сотрудничать между собой или не сотрудничать, заключать сделки или не заключать в соответствии с тем, что диктуют им личные мнения, убеждения и интересы. Они могут взаимодействовать между собой только на разумных условиях и разумными средствами, то есть средствами обсуждения, убеждения и *договорных* соглашений, добровольного выбора на условиях взаимной выгоды. Ни одно общество не отказывает своим членам в праве на согласие с другими; зато *право на несогласие* — решающий момент. Именно институт частной собственности защищает и практически осуществляет это право, тем самым уничтожая препятствия на пути самого ценного человеческого качества (ценного не только для него лично, но и для общества, а также в *объективном плане*) — способности мыслить творчески.

В этом и состоит кардинальное различие между капитализмом и коллективизмом.

Сила, определяющая возникновение, изменения, эволюцию и разрушение

общественного уклада, — философия. Роль случая, стечения обстоятельств и традиции в данном контексте такова же, как их роль в жизни отдельного человека; их могущество обратно пропорционально могуществу философского арсенала культуры (или отдельного человека) и растет по мере того, как философия приходит в упадок. Поэтому о характере общественного уклада следует судить по его философии. Четирем разделам философии соответствуют четыре краеугольных камня капитализма: в метафизическом плане — потребности человеческой природы и выживания, в эпистемологическом — разумность, в этическом — права личности, в политическом — свобода.

Без этих оснований мы не истолкуем правильно политическую экономию и не поймем, чем капитализм лучше первобытно-племенной аксиомы, унаследованной у доистории.

«Практическое» оправдание капитализма — совсем не мнение коллективистов, что этот уклад обеспечивает «наилучшее распределение ресурсов нации». Человек и его разум — *отнюдь не «ресурсы нации»*, а без творческой мощи нашего разума сырье остается лишь сырьем.

Нравственное оправдание капитализма — совсем не мнение альтруистов, что при нем легче всего достигнуть «общего блага». Правда, капитализм и впрямь его достигает (в том смысле, в каком затертое выражение «общее благо» вообще что-то значит), но это лишь побочное следствие. Нравственное оправдание капитализма в том, что это единственный уклад, созвучный природной разумности человека, гарантирующий человеку *человеческое* существование и руководимый принципом *справедливости*.

Всякий общественный уклад явно или имплицитно зиждется на некоей этической теории. Племенное понятие «общего блага» служило нравственным оправданием большинства известных истории общественных укладов и всех тираний. Степень порабощенности или свободы того или иного общества соответствовала тому, как громко провозглашали (или, напротив, решительно обходили) этот первобытно-племенной лозунг.

«Общее благо» (или «интересы общества») — понятие неопределенное и неопределимое: такого существа, как «племя» или «общество», на свете нет. «Племя» (или «общество», или «народ») — это лишь множество отдельных людей. Нет ни одного блага, которое было бы благом для племени вообще. Термины «благо» и «ценность» относятся только к живому организму, взятому по отдельности, а не к бесплотной совокупности взаимоотношений.

Понятие «общее благо» не имеет никакого смысла, кроме буквального, узкого: «совокупность того, что хорошо для *всех* отдельных людей». Но в таком случае оно не может служить нравственным критерием, поскольку не проясняет, что именно хорошо для них и как это распознать.

Однако такое понятие обычно используется не в своем буквальном значении. С ним мирятся именно благодаря его растяжимости, неопределенности мистической туманности. Это — не нравственный ориентир; наоборот, оно помогает уйти от нравственности. Поскольку нельзя говорить о «благе» по отношению к чему-то бесплотному, понятие дает нравственный «*carte blanche*» для тех, кто пытается назвать себя его воплощением.

Когда в некоем социуме считают, что «общее благо» не совпадает с личным благом его членов и, более того, стоит выше личного блага, это значит, что благо *одних* ставится выше блага других, а этих других обрекают на роль жертвенных животных. Тут действует молчаливая договоренность, что под «общим благом» предполагается «благо *большинства*», противопоставляемое благу меньшинства или индивида. Обратите внимание, что эта договоренность *молчаливая*: даже сверхколлективистское мышление словно бы чувствует, что невозможно ее нравственно оправдать. Но «благо большинства» — тоже отговорка и иллюзия. Поскольку на деле, попирая права личности, отменяют все права, это понятие отдает беспомощное большинство во власть любой банды, которая провозгласит себя «гласом народа»

и начнет управлять страной силовыми методами, пока ее не сместит другая, использующая те же методы.

Если начинать с выяснения, в чем состоит благо для индивида, то придется признать справедливым лишь то общество, где это благо осуществляется и *осуществимо*. Но если считать «общее благо» чем-то бесспорным, а благо личное — лишь его возможным, но отнюдь не обязательным следствием (не обязательным при каких бы то ни было конкретных условиях), получится отвратительный абсурд вроде советской России — государства, декларирующего служение «общему благу», где все население, кроме немногочисленной правительственной клики, прозябает в нечеловеческой нищете уже, как минимум, два поколения.

Почему жертвы и, что еще ужаснее, сторонние наблюдатели мирятся с мерзостями, реальность которых вполне доказана, и продолжают держаться за миф об «общем благе»? За ответом следует обратиться к философии — к философским теориям о природе нравственных ценностей.

Можно выделить три интерпретации вопроса о природе блага: теорию «блага-в-себе» («внутреннего блага»), субъективистскую и объективистскую. Теория «блага-в-себе» гласит, что благо неотъемлемо присуще некоторым вещам или актам как таковым, независимо от их контекста и последствий, от того, полезны они или вредны для лиц, совершающих данные действия, и лиц, на которых эти действия направлены. Эта теория отделяет понятие «блага» от «облагодетельствованных», а понятие «ценность» — от цели и «оценщика», утверждая тем самым, что благо есть «блага-в-себе», «для-себя» и «само-по-себе».

Субъективистская теория гласит, что благо никак не связано с реальной действительностью. Оно — продукт человеческого сознания, порождаемый его чувствами, желаниями, «интуитивными догадками» или капризами, то есть всего лишь «произвольный постулат» или «эмоциональное обязательство».

Теория «блага-в-себе» утверждает, что благо в том или ином смысле локализуется в реальности и не зависит от нашего сознания; субъективистская теория утверждает, что благо локализуется в сознании и никак не связано с реальностью.

Объективистская теория гласит, что благо — отнюдь не характеристика «вещей-в-себе» или эмоциональных состояний, но оценка реальной действительности человеческим сознанием в соответствии с рациональными ценностными критериями. (В данном контексте «рациональный» означает «почерпнутый из реальной действительности и проверенный средствами рационального мышления»). Теория эта утверждает, что благо — *один из аспектов действительности, взятой в ее соотношении с человеком*, и что человек должен не выдумать благо, а *отыскать его*. Для объективистской теории ценностей основополагающий вопрос — *ценно для кого и ради чего*}. Она не позволяет «воровать» понятия или выдергивать их из контекста; она не разрешает отделять «ценность» от «предназначения», благо — от его получателей, действия — от разума.

Из всех общественных укладов, которые знала история человечества, *только капитализм основан на объективистской теории ценностей*.

Субъективистская теория и теория «блага-в-себе» (либо их помесь) являются необходимым фундаментом диктатуры и тирании, любой разновидности абсолютистского государства. Неважно, осознаны эти теории или нет, излагаются ли они открыто в философском трактате или маячат смутными отголосками этого трактата в хаотическом сознании простого человека; главное, что они позволяют людям верить, что благо не зависит от человеческого сознания и может быть отвоевано силой.

Если человек убежден, что благо неотъемлемо присуще определенным действиям, он непременно принудит к этим действиям других людей. Если он убежден, что полезность или

пагубность этих действий для других учитывать не стоит, он спокойно прольет целое море крови. Если он считает, что люди, которых он стремится осчастливить, сами по себе ничего не значат (или их легко заменить), он сочтет массовое истребление людей своим нравственным долгом во имя «высшего» блага. Именно теория «блага-в-себе» порождает Робеспьеров, Лениных, Сталиных и Гитлеров. Эйхман не случайно был кантианцем.

Если человек полагает, что благо — дело произвольного, субъективного выбора, выбор между добром и злом сводится для него к вопросу: «Что важнее — мои переживания или чужие?». Понимание другого, общение, мостик между сердцами — все это для него в принципе невозможно. Разум — единственное средство общения между людьми, а объективно воспринимаемая действительность — их единственный общий критерий. Когда в сфере нравственности все это отменяется (то есть объявляется ничего не значащим), единственным способом взаимодействия людей становится принуждение. Если субъективист желает достигнуть сугубо личного социального идеала, он чувствует в себе нравственное право принуждать других «ради их собственной пользы» — ведь он *чувствует*, что прав и давно бы привел всех к счастью, если бы они отринули свои заблуждения и признали его правоту.

Итак, на практике сторонники двух школ — субъективизма и «блага-в-себе» — сходятся в одной точке. (Едины они и в своей психопистемологии: адепты «блага-в-себе» обнаруживают свое трансцендентальное благо не посредством особых, иррациональных, интуитивных догадок и откровений, то есть доверяясь субъективным ощущениям.) Сомневаюсь, что хоть один реальный человек, даже по недомыслию, мог бы всерьез уверовать в какую-либо из этих двух теорий. Но обе они оправдывают власть силы и помешательство на могуществе, дают волю потенциальному диктатору и разоружают его жертв.

Объективистская теория ценностей — единственная этическая теория, несовместимая с властью силы. Капитализм — единственный общественный уклад, опирающийся, пусть и неявно, на объективистскую теорию ценностей. Эту его особенность никогда не провозглашали открыто, что имело трагические последствия для истории человечества.

Зная, что благо существует *объективно* (что, иными словами, его определяет природа реальности, но должен обнаружить человеческий разум), понимаешь, что любая попытка отвоевать благо физической силой — чудовищное противоречие, которое подрывает самые корни нравственности, лишая человека способности распознавать благо, то есть способности к суждениям. Сила оттесняет на задний план и парализует оценочную способность человека, требуя, чтобы он поступал вопреки этой способности, и тем самым обрекая его на нравственное бессилие. Будет ли кто-нибудь дорожить ценностью, ради признания которой человека вынуждают поступиться собственным разумом? Люди, отупевшие поневоле, не могут иметь мнений, делать выбор, судить о чем бы то ни было. Пытаясь отвоевать благо силой, мы как бы ставим кому-то условие: «Если ты позволишь выколоть себе глаза, то получишь за это коллекцию картин». Ценности не могут существовать (их нельзя оценить) вне полного контекста жизни, нужд, целей и *познаний* отдельного человека.

Объективистский взгляд на ценности пронизывает всю структуру капиталистического общества.

Признание прав личности предполагает признание того, что благо — это не какая-то невыразимая абстракция, принадлежащая к некоему сверхъестественному плану бытия, но часть реальности, земного мира, жизни конкретных людей (вспомним о праве на стремление к счастью^[16]). Права личности предполагают, что благо нельзя отделять от его получателей, а людей — считать восполняемым ресурсом и что ни один человек и ни одно племя не вправе жертвовать одними людьми ради попыток осчастливить других.

Свободный рынок — это *социальный* результат приложения объективистской теории

ценностей к практической жизни. Поскольку человек должен открыть для себя ценности посредством разума, он должен быть свободен, то есть иметь возможность свободно мыслить, исследовать, облекать свои знания в материальную форму, выставлять плоды работы на продажу, оценивать их и выбирать материальные блага или идеи, хлеб или философский трактат. Поскольку ценности познаются и обосновываются в контексте, всякий человек должен вырабатывать свое мнение сам, в контексте своих личных познаний, целей и интересов. Поскольку ценности детерминированы природой реальности, именно реальность служит для человека высшим арбитром — если суждение человека верно, оно вознаграждается, если же оно ошибочно, то не приносит вреда никому, кроме него самого.

Различия между тремя подходами к ценности особенно важно уяснить себе в том, что касается свободного рынка. Рыночная цена товара — это не его внутренняя, помещенная в вакуум ценность или стоимость, не «стоимость-в-себе». Свободный рынок никогда не забывает спросить: «Для кого это ценно?», «С чьей точки зрения определяется стоимость?». И в широком плане объективного отношения к реальности рыночная цена товара отражает лишь его *социально-объективную*, а не *философски-объективную* ценность.

Под «философски-объективной» я понимаю ценность, устанавливаемую по принципу «наилучшее из возможного для человека», то есть по оценке наиболее рационально мыслящего ума, обладающего максимумом познаний. При этом оценка выносится в отношении конкретной категории явлений в конкретный период и в конкретном контексте (в неопределенном контексте вообще ничего оценивать нельзя). Например, можно логично обосновать, что с *объективной точки зрения* самолет для человека (*для человека в идеале*) несравнимо ценнее, чем велосипед, а книги Виктора Гюго с *объективной точки зрения* несравнимо ценнее, чем бульварная пресса. Но если для данного конкретного человека, при его умственных способностях, бульварная пресса — предел интеллектуального напряжения, то ему нет никакого резона тратить свой мизерный заработок, плоды своих усилий, на оплату книг, которых он не может прочесть, или на субсидирование авиапромышленности, если его потребности вполне удовлетворяет незамысловатый велосипед. (Однако нет причин насильно удерживать все остальное человечество на уровне подобных вкусов, технического развития и доходов. Ценности нельзя ни навязать правительственной директивой, ни утвердить путем голосования.)

Точно так же как количество сторонников еще не доказывает истинность или ложность некой идеи, гениальность или бездарность произведения искусства, достоинства или недостатки вещи, так и свободная рыночная цена товаров или услуг не обязательно отражает их философски-объективную ценность и стоимость. В этом смысле речь может идти только об их *социально-объективной* ценности, то есть совокупности индивидуальных суждений всех лиц, участвующих в торговле; совокупности того, что *они* сочли ценным, исходя из контекста своей собственной жизни.

Именно поэтому производитель губной помады, возможно, разбогатеет куда быстрее производителя микроскопов, хотя, как доказывает логика, с научной точки зрения микроскопы гораздо ценнее помады. Ценнее — но *для кого?*

С точки зрения скромной стенографистки, едва сводящей концы с концами, ценность микроскопа равна нулю. Зато помада может означать для нее уверенность в себе (в противоположность сомнениям), яркую жизнь (в противоположность скучной работе).

Однако это не означает, что свободным рынком управляют *субъективные* ценности. Если стенографистка истратит все деньги на косметику и ей нечем будет заплатить за «аренду» микроскопа *тогда, когда он ей понадобится* (скажем, в больнице), она научится эффективнее распоряжаться своими доходами; свободный рынок преподает ей уроки, она не в силах наказать других за свои ошибки. Если она здраво продумает свой бюджет, у нее всегда будет возможность

воспользоваться микроскопом для своих конкретных нужд и *не более того* настолько, насколько дело касается ее жизни; стенографистку не облагают налогами на содержание целой больницы, научно-исследовательской лаборатории или полет космического корабля. В меру своих способностей к производству она все равно возмещает некую долю расходов на научный прогресс *тогда и в той степени, в какой она в нем нуждается*. У нее нет «долга перед обществом». Она несет ответственность, только за собственную жизнь. Капиталистический уклад требует от нее только того, чего требует и *природа* — быть разумным существом, жить и поступать так, как кажется лучше ей самой.

Во всякой категории товаров и услуг, предлагаемых на свободном рынке, именно тот, кто предлагает самый лучший продукт по самой низкой цене, получает в *своей отрасли* самое высокое денежное вознаграждение, не автоматически, не моментально, не по правительственному указу, но благодаря природе свободного рынка, приучающего всех участников добиваться *объективно* лучшего в области их компетенции и наказывающего тех, кто руководствуется неразумными соображениями.

Заметьте в этой связи, что свободный рынок не нивелирует людей, сводя их к некоему общему знаменателю, — ведь в свободном обществе интеллектуальные критерии большинства не руководят свободным рынком — и что выдающиеся люди, новаторы, гиганты мысли не вынуждены подлаживаться под большинство. Именно это меньшинство исключительных людей поднимает все свободное общество до уровня своих достижений, а само продолжает штурмовать все новые и новые высоты.

Свободный рынок — это *непрерывный*, неудержимый никакими силами процесс, стремление ввысь, требующее полной самоотдачи (максимально разумных действий) от всякого человека и соответственно вознаграждающее его. Пока большинство только-только усваивает преимущества автомобиля, творчески мыслящее меньшинство уже внедряет в жизнь самолеты. Большинство учится, наблюдая за другими; меньшинство вольно подавать ему пример, демонстрируя наглядные плоды своих идей. «Философски-объективная» ценность нового продукта просвещает тех, кто желает использовать свой интеллектуальный потенциал, каждого — в меру его способностей. Те, кому этого делать не хочется, а также те, у кого больше претензий, чем способностей, остаются без вознаграждения. Субъективисты, косные люди или те, кто не способен к рациональному мышлению, не властны препятствовать тем, кто их превосходит.

(Немногочисленное меньшинство тех взрослых людей, которые, в отличие от не желающих трудиться, *действительно не работать* не могут, должно полагаться на добровольные благотворительные пожертвования. Несчастье — еще не повод обречь других на рабский труд. Человек не имеет никакого *права* командовать теми, без кого он не в состоянии выжить, истощать их и истреблять. Что до экономических кризисов и массовой безработицы, то их причина — не механизмы свободного рынка, а вмешательство государства в экономику.)

Эпигоны, паразитирующие на чужих умах, — подражатели, пытающиеся в меру своего понимания удовлетворить уже известные вкусы потребителей, — постоянно отстают от новаторов, чья продукция поднимает познания и вкусы потребителей на еще более высокий уровень. В этом смысле можно сказать, что свободным рынком правит не потребитель, а производитель. Самого большого успеха добиваются первооткрыватели новых отраслей производства, отраслей, о которых никто и не думал.

Вполне возможно, что некий продукт — в особенности радикально-новаторский — далеко не сразу оценят по достоинству; но за немногими, чисто случайными, исключениями история все ставит на свои места. В этом смысле можно сказать, что свободным рынком правят не интеллектуальные критерии большинства — они берут верх лишь на время, лишь в

определенные моменты; свободным рынком правят те, кто в состоянии заглядывать в будущее и планировать загодя. А чем мощнее интеллект, тем он дальновиднее.

Экономическая стоимость чьего-то труда определяется на свободном рынке по одному-единственному простому принципу — в соответствии с тем, много ли своего труда или своей продукции добровольно согласны отдать за него другие люди. Таково этическое значение закона спроса и предложения, отражающее решительный отказ от двух пагубных доктрин — первобытно-племенной аксиомы и альтруизма. Тем самым признается, что человек — не собственность и не слуга племени; он *работает, чтобы поддерживать в себе жизнь*, как и должен делать по своей природе, и поневоле руководствуется своей корыстью в ее разумном понимании. Если же он хочет вступать с другими в отношения обмена, то не должен рассчитывать на ритуальные жертвы, то есть надеяться, что получит нечто ценное, не отдавая взамен какого-то эквивалента. В данном контексте единственный критерий эквивалентности ценностей — свободное, добровольное, вынесенное без принуждения извне суждение участников обмена.

Люди с племенным менталитетом критикуют этот принцип с двух разных и, казалось бы, взаимоисключающих позиций: они утверждают, что свободный рынок «несправедлив» и к гению, и к среднему человеку. Первое возражение обычно формулируется так: «Почему Элвис Пресли должен зарабатывать больше, чем Эйнштейн?». Ответ таков: потому что люди работают, чтобы поддерживать в себе жизнь и наслаждаться ею, и все те, кто высоко ценит Элвиса Пресли, вправе тратить собственные деньги на то, чтобы себя порадовать. Пресли не отбирает денег насильно ни у тех, кто равнодушен к его творчеству (например, у меня), ни у Эйнштейна, он вообще не конкурирует с великим физиком. Да и Эйнштейн в свободном обществе обрел достаточное признание и финансовую поддержку тех, кто находится на соответствующем интеллектуальном уровне.

Что до второго возражения, будто на свободном рынке человек средних способностей находится в «несправедливо» невыгодном положении, приведу такие слова: «Поднимитесь над сиюминутным, вы, стенающие, что боитесь конкурировать с превосходящими вас по уму, что их разум грозит оставить вас без средств к существованию, что на рынке добровольной торговли сильные не дают ни одного шанса слабым... Живя в разумно устроенном обществе, где люди свободны торговать и обмениваться, вы получаете бесценный бонус; материальная стоимость вашего труда складывается не только из ваших усилий, но и из усилий лучших умов, лучших гениев производства, существующих в окружающем вас мире...

Машина — материальная копия, «отлитая» с живого интеллекта, — вот сила, которая, повышая вашу производительность труда, тем самым наращивает ваш жизненный потенциал... Каждый волен подняться так высоко, как он может или хочет, но достигнутая им высота прямо пропорциональна той степени, в какой он может считаться мыслящим человеком, и ничему больше. Физический труд по своему характеру таков, что он длится не больше того времени, за которое его выполняют. Человек, занятый исключительно физическим трудом, потребляет материальные ценности, эквивалентные его собственному вкладу в производственный процесс, не оставляя никаких прибавочных ценностей ни для себя, ни для других. Но автор идеи в любой сфере умственной деятельности — человек, делающий новые открытия в сфере познания, — навечно становится благодетелем человечества... Идея — единственная ценность, которой можно поделиться с неограниченным числом людей и, повысив производительность труда в какой бы то ни было отрасли, обогатить всех, никого не принося в жертву, никому не причиняя вреда...

Материальное вознаграждение, получаемое автором нового изобретения пропорционально затраченной умственной энергии, — лишь малая доля ценности этого изобретения, пусть

изобретатель и разбогател, стал миллионером. Но человек, работающий дворником на фабрике, где производят придуманную изобретателем вещь, получает колоссальные деньги — если соотнести заработную плату с умственными усилиями, затрачиваемыми *им* на его работу. То же самое верно для всех людей, находящихся между этими двумя точками, на всех уровнях притязаний и способностей. Человек, стоящий на вершине интеллектуальной пирамиды, дает больше всех тем, кто находится ниже его, а взамен не получает ничего, кроме материального вознаграждения. Другие не дают ему никакого интеллектуального бонуса, благодаря которому он смог бы эффективнее использовать свое рабочее время. Человек в самом низу безнадежно беспомощен и, предоставленный самому себе, умер бы голодной смертью. Он ничего не дает тем, кто стоит выше его, но получает бонус, плоды их деятельности. Такова по природе своей «конкуренция» между могучими и слабыми умами. Так выглядит «эксплуатация», из-за которой вы проклинаете сильных» («Атлант расправил плечи»).

Вот какое отношение имеет капитализм к нашему разуму и к нашему выживанию.

Чудесные успехи, которых капитализм достиг за тот недолгий срок, во время которого фантастически улучшились условия человеческого существования на Земле, уже стали фактом истории. Все потуги антикапиталистической пропаганды не в силах скрыть их, перетолковать или обойти молчанием. А главное, их не пришлось оплачивать *жертвоприношениями*.

Искусственные лишения, выколачивание «общественных излишков» из голодающих жертв, не могут привести к прогрессу. Прогресс опирается лишь на *личные излишки*, то есть на труд, энергию, творческую неумность тех людей, чьи таланты производят больше, чем требуется для их личного потребления, тех, кто достаточно умен и достаточно богат, чтобы позволить себе усовершенствовать известное и искать чего-то нового, словом — двигаться вперед. В капиталистическом обществе, где такие люди вольны действовать на свой страх и риск, прогресс не требует жертвовать собой во имя гипотетического и отдаленного будущего; он неотъемлем от настоящего, естествен и нормален. Прогресс идет своим чередом, а люди между тем живут — и *наслаждаются* — своей обычной жизнью.

Теперь рассмотрим альтернативу — общественное устройство по племенному образцу, где все люди «бросают» свои усилия, ценности, устремления и жизненные цели в фонд племени, в общий котел, а потом с голодными глазами балансируют на его краю, пока главарь поварской клики помещивает в котле штыком, держа в другой руке право на жизнь всех этих людей. Самый ярко выраженный пример такого общественного устройства — Союз Советских Социалистических Республик.

Полвека назад советские правители приказывали своим подданным терпеть, мириться с лишениями и жертвовать собой во имя «индустриализации» страны, обещая, что все это — лишь временные явления, что индустриализация принесет изобилие и советская Россия перегонит капиталистический Запад.

Сегодня советская Россия по-прежнему не может прокормить свой народ, а правители из кожи вон лезут, пытаясь скопировать, позаимствовать или украсть западные технические достижения. Однако индустриализация — это не статичная цель, а динамичный процесс, для которого вчерашние достижения стремительно устаревают. Злосчастные рабы племенной плановой экономики раньше затягивали пояса в ожидании тракторов и электрогенераторов, а теперь затягивают пояса в ожидании атомной энергии и межпланетных перелетов. Таким образом, «при народной власти» научный прогресс опасен для жизни людей, и за всякое его достижение заплачено ценой нещадных поборов с населения.

В истории капитализма ничего подобного не было и нет.

Своим изобилием Америка обязана не самопожертвованию народа во имя «общего блага», а гениальности свободных производителей, заботившихся о своих личных интересах и своих

личных капиталах. Они не «покупали» индустриализацию ценой массового голода. Они обеспечивали людям хорошую, лучше прежней работу, рост оплаты и снижение цен на товары; все это прилагалось к каждой новой машине, которую они изобретали, к каждому новому научному открытию или техническому достижению. Страна продвигалась вперед не ценой мучительных усилий, а извлекая из каждого шага пользу для себя.

Остерегайтесь, однако, менять местами причину и следствие: эта деятельность шла стране на благо именно потому, что это благо никому не навязывалось в качестве нравственного долга или цели. Оно было следствием, причиной же стало право человека стремиться к тому, что хорошо для него лично. Именно это право, а не его следствия, можно считать, и является нравственным оправданием капитализма.

Право это несовместимо ни с субъективистской интерпретацией ценностей, ни с теорией «блага-в-себе», ни с этикой альтруизма, ни с племенной аксиомой. Легко догадаться, от какого человеческого качества мы отказываемся, отринув объективность; исходя из исторического «послужного списка» капитализма, легко догадаться и о том, против какого человеческого качества соединенными силами выступают этика альтруизма и племенная аксиома, — против разума, против его интеллекта и прежде всего интеллекта, решающего проблемы нашего выживания, то есть способности к производству.

Альтруизм стремится оставить интеллект без вознаграждения, утверждая, что нравственный долг умелых — служить неумелым и жертвовать собой ради нужд всякого встречного-поперечного. Племенная аксиома идет еще дальше: она вообще отрицает существование интеллекта и его роль в производстве богатств.

Считать богатство анонимным, общеплеменным продуктом и толковать о его «перераспределении» — аморально почти до неприличия. Взгляд на богатство как на результат некоего недифференцированного, коллективного процесса деятельности (все мы что-то делали, но конкретный вклад каждого вычленить невозможно, а потому нужно что-то вроде уравнительного «распределения») был бы уместен где-нибудь в первозданных джунглях, где орда дикарей, полагаясь только на собственную физическую силу, передвигала огромные камни, хотя даже там кто-то должен был выдумать, как лучше переместить камень и организовать работу. Придерживаться такого взгляда в индустриальном обществе, где личные достижения документально фиксируются и становятся известны всем, это такое насилие над истиной, что о нем неприлично помыслить даже гипотетически.

Любой, кому доводилось выступать в роли нанимателя или наемного работника, видеть людей за работой или самому честно отработать хоть один день, знает, какое решающее значение имеют талант, разум, умственные способности, интеллектуальная самоотдача во всех без исключения профессиях, от самого верха до самого низа служебной лестницы. Он знает, что способности или их отсутствие (как объективное отсутствие, так и сознательное нежелание их развивать) могут спасти или обречь на неудачу любую производственную операцию. Фактические доказательства этого тезиса настолько неопровержимы — в теории и на практике, логически и «эмпирически», на материале исторических событий и на личном опыте всякой «рабочей лошадки», — что никто не вправе отговариваться их незнанием. По недомыслию таких колоссальных ошибок не совершают.

Когда великие фабриканты делали деньги на свободном рынке (то есть не прибегая к принуждению, обходясь без поддержки или вмешательства властей), они *созидали* новое богатство, а не отнимали его у тех, кто его *не созидал*. Если вы в этом сомневаетесь, поинтересуйтесь цифрами «валового общественного продукта» — и уровнем жизни — в странах, где таким созидателям богатства не позволено даже существовать.

Обратите внимание, как редко и неадекватно анализируется в трудах теоретиков этатизма-

альтруизма-дикарства проблема человеческого интеллекта. Обратите внимание, как старательно современные поборники смешанной экономики, говоря о политической экономии, избегают даже упоминать об интеллекте или способностях, то есть ратуют за расхищение «валового общественного продукта».

Часто спрашивают: «Почему, несмотря на его беспрецедентный "список благодеяний", капитализм пал?» Чтобы ответить, нужно учесть, что живительная струя, питающая всякий общественный уклад, — господствующее в данной культуре философское учение. У капитализма никогда не было собственной философской основы. Он оказался последним и (в теоретическом смысле) незавершенным порождением аристотелевской традиции. Когда в XIX веке философию вновь захлестнул прилив мистики, капитализм остался в интеллектуальном вакууме, живительная струя пересохла. Ни нравственную природу, ни даже политические принципы капитализма так до конца и не поняли и не сформулировали. Его самозванные поборники считали, что он может ужиться с государственным регулированием (то есть вмешательством государства в экономику), игнорируя значение и следствия «свободы рынка». Словом, XIX век практически не знал капитализма в его чистом виде — на деле существовали лишь разные варианты смешанного экономического устройства. Поскольку регуляторы нуждаются в новых регуляторах и сами их порождают, этатистские элементы этих гибридов повлекли за собой их крах, а обвинили в нем капиталистические элементы, то есть свободу.

Капитализм не мог выжить в культуре, где господствуют мистика и альтруизм, противопоставление духа телу и племенная аксиома. Ни один общественный уклад (и вообще ни одна институция или разновидность человеческой деятельности) не может уцелеть без этической основы. Капитализм, поставленный на альтруистическую этическую основу, был заранее обречен. Так он и погиб^[17].

Тем, кому не вполне ясна роль философии в политико-экономических вопросах, я предлагаю — как самый красноречивый образчик уровня современной интеллектуальной жизни — еще несколько выдержек из статьи «Капитализм» в Британской энциклопедии:

«Мало кто из наблюдателей склонен предъявлять претензии к капитализму как к механизму производства. Критика обычно основывается на *этическом*, и *ли культурном* неодобрении определенных черт капиталистического уклада, или на краткосрочных бедствиях (кризисах и спадах), перемежающих периоды долговременного прогресса» [курсив мой. — А. Р.].

Причина этих «кризисов и спадов» — вмешательство государства в экономику, а не природа капиталистического строя. А в чем источник «этического или культурного неодобрения»? Статья не дает прямого ответа, но роняет один красноречивый намек:

«Как бы то ни было, и тенденции, и практическое воплощение [капитализма] несут на себе безошибочный отпечаток интересов делового человека и, еще в большей степени, его образа мысли. Этот отпечаток несла не только политика, но и система культурных ценностей, а также общенациональная и индивидуальная философия жизни. Материалистический утилитаризм, наивная вера в некую разновидность прогресса, реальные достижения в области чистой и прикладной науки, характер его художественных творений — все это можно возвести к духу *рационализма*, источаемому офисом бизнесмена» [курсив мой. — А. Р.].

Автор статьи, недостаточно «наивный», чтобы верить в капиталистическую (или *рационалистическую*) разновидность прогресса, явно стоит на иной позиции:

«На исходе Средневековья Западная Европа находилась в том же положении, что и многие низкоразвитые государства XX века. [Это значит, что культура Ренессанса была примерно аналогична культуре современного Конго; либо что интеллектуальное развитие людей никак не связано с экономикой.] В странах, стоящих на низкой ступени экономического развития, перед государственными деятелями стоит сложная задача — наладить кумулятивный процесс такого

развития, ибо при накоплении определенного количества кинетической энергии дальнейшее продвижение вперед осуществляется более или менее автоматически».

На подобных представлениях основываются все теории плановой экономики. Из-за веры в эту мудрую мысль два поколения русских людей перемерли в ожидании *автоматического* прогресса.

Экономисты классической школы пытались оправдать капитализм в духе племенной аксиомы, утверждая, что он обеспечивает наилучшее «распределение ресурсов» людского сообщества. Из этой статьи мы можем видеть, что следует из их доводов.

«Главной темой классической экономической теории является рыночная теория распределения ресурсов в частном секторе. Распределение между общественным и частными секторами теоретически подчиняется тому же принципу, что и другие виды распределения ресурсов, а именно: сообщество должно извлекать одинаковую пользу из предельного прироста ресурсов, задействованных в общественной сфере, с одной стороны, и в частной, с другой... По утверждениям многих экономистов, существуют веские, возможно — даже неопровержимые причины считать, что общее благосостояние, например, в капиталистических Соединенных Штатах возросло бы в результате перераспределения ресурсов в пользу общественного сектора, если будет больше школ и меньше торговых центров, больше публичных библиотек и меньше автомобилей, больше больниц и меньше игровых площадок».

Это значит, что некоторым людям придется всю жизнь прозябать без адекватного их нуждам транспорта (автомобилей), мириться с дефицитом мест, где можно было бы приобрести необходимые им товары (торговых центров), не иметь возможности расслабиться и развлечься (играя в мяч) — ради того, чтобы другие люди получили школы, библиотеки и больницы.

Если вы хотите узнать конечный результат и исчерпывающий смысл племенного взгляда на богатство (состоит он в том, что изглаживаются все различия между действиями частного лица и действиями государственной власти, между производством и насильственным принуждением, а понятие «права» и реальность существования отдельного человека замещаются взглядом на людей как на расходный материал, как на вьючных животных, как на «факторы производства»), вчитайтесь в нижеследующий отрывок:

«Предубежденное отношение капитализма к общественному сектору имеет две причины. Во-первых, все произведенное и все доходы вначале поступают [?] в частный сектор, меж тем как общественного сектора ресурсы достигают за счет такой болезненной операции, как налогообложение. Нужды общества удовлетворяются только с неохотного согласия потребителей, выступающих в качестве налогоплательщиков [а разве *производители* не платят налогов?], чьи политические представители отлично осознают, какую тревогу [!] вызывают у их избирателей вопросы налогообложения. Идея «люди лучше правительства знают, как распорядиться своими доходами» куда больше импонирует людям, чем ее противоположность: «взамен налоговых отчислений граждане получают намного больше, чем могли бы получить, просто истратив эти деньги». [В соответствии с какой теорией ценностей? С чьей точки зрения?]

Во-вторых, поскольку частный бизнес стремится к скорейшему сбыту товара, современная торговля выработала широкий спектр приемов и уловок, влияющих на предпочтения потребителя и формирующих у него предвзятую систему ценностей, ориентированную на личное потребление... [То есть желание самому распорядиться заработанными деньгами и не позволять, чтобы их у вас отобрали, — это, с вашей стороны, лишь предвзятость, *предрассудок*.] По этой причине много личных расходов связано с удовлетворением потребностей, которые по сути своей вовсе не первостепенны. [Первостепенны для кого? Да и есть ли какие-то не «первостепенные» потребности, кроме пещеры, медвежьей шкуры и куска сырого мяса?] Как

естественное следствие, многие потребности общества остаются неудовлетворенными, ибо эти маловажные, искусственно созданные личные потребности побеждают в борьбе за ресурсы. [Чьи, собственно, ресурсы?]

Сопоставив распределение ресурсов между общественным и частным секторами при капитализме, с одной стороны, и при социалистическом коллективизме, с другой стороны, мы многое поймем. [Вот именно, что многое.] В коллективистской экономике все ресурсы задействованы в общественном секторе; они могут поступать на нужды образования, обороны, здравоохранения, социальных пособий и т.п. напрямую, минуя налоговое ведомство. Частное потребление ограничено притязаниями, которые могут быть *допущены* [кем?] без ущерба для *общественного продукта*, подобно тому как в капиталистической экономике общедоступные услуги предоставляются лишь по определенному списку притязаний, которые могут быть допущены без ущерба для частного сектора [курсив мой. — А. Р.]. В коллективистской экономике нужды общества приоритетны по умолчанию, точно так же как в капиталистической экономике приоритетно частное потребление. Советский Союз богат учителями и беден автомобилями, Соединенные Штаты — наоборот».

Перейдем к заключительной части статьи.

«Прогнозы относительно жизнестойкости капитализма отчасти зависят от интерпретации самого этого термина. Во всех капиталистических государствах наблюдается смещение центра экономической активности из частного в государственный сектор... В то же самое время [после окончания Второй мировой войны] объемы частного потребления в коммунистических государствах, по-видимому, были обречены на расширение. [Например, потребления пшеницы?] Складывалось впечатление, что эти два экономических уклада постепенно сближаются за счет конвергенции перемен с обеих сторон. Однако в том, что касается структуры экономики, между ними все еще оставались значительные различия. Резонно предположить, что то общество, которое вкладывает больше средств в свое население, станет прогрессировать быстрее и унаследует будущее. В этом немаловажном отношении капитализм, по мнению ряда экономистов, оказывается в весьма невыгодном, хотя все же не безвыходном, положении по отношению к коллективизму».

Коллективизации советского сельского хозяйства достигли за счет спланированного властями голода — да, спланированного и сознательно спровоцированного, чтобы загнать крестьян в колхозы. Враги советской России утверждают, что от этого голода умерло пятнадцать миллионов крестьян; советские власти признают гибель семи миллионов.

Когда закончилась Вторая мировая война, враги советской России заявили, что в советских концлагерях отбывают принудительную трудовую повинность (и умирают от планового недоедания, поскольку человеческая жизнь дешевле еды) тридцать миллионов человек; апологеты советской России признают цифру в двенадцать миллионов.

Вот что Британская энциклопедия называет «вкладывать средства в население».

Если культура допускает, чтобы такие заявления выдавались за священные заветы морали и проходили без последствий для репутации говорящего, то самая тяжкая вина лежит не на коллективистах. Больше всех виноваты те, кто, не решаясь бороться с мистикой и альтруизмом, пытаются, обходя разум и нравственность, оправдать единственный разумный и высоконравственный строй в истории человечества на каких-либо основаниях, кроме его разумности и высоконравственности.

Если мы хотим защищать свободное общество, то есть капитализм, нужно понимать, что его неотъемлемое основание — принцип личных прав. Если мы стремимся отстаивать личные права, мы должны понимать, что капитализм — единственная система, которая может поддержать и защитить их. И если мы хотим оценить взаимоотношения свободы и целей сегодняшних интеллектуалов, нужно помнить, что понятие личных прав ускользает, искажается, извращается и редко обсуждается, в особенности так называемыми «консерваторами».

«Права человека» — категория моральная, которая обеспечивает логический переход от принципов, руководящих действиями человека, к принципам, определяющим его отношения с другими людьми; предохраняет и защищает личную мораль в общественном контексте. Вместе с тем это — звено между нравственным кодексом человека и правовым кодексом общества, между этикой и политикой. *Личные права — это средство подчинения общества нравственному закону.*

Каждая политическая система строится на определенном этическом кодексе. Господствующие типы этики в человеческой истории были вариантами альтруистическо-коллективистской доктрины, подчинявшей личность какому-нибудь высшему авторитету, либо мистическому, либо социальному. Поэтому большей частью политические системы были вариантами одной и той же государственной тирании, различаясь лишь по степени, а не по основополагающему принципу, ограниченному лишь случайными традициями, хаосом, кровной враждой и периодическими крушениями. При всех этих системах моральный кодекс распространялся на личность, а не на общество. Общество было поставлено *вне* нравственного закона, оно лишь олицетворяло его, или было его источником, или единственным истолкователем, и самозабвенная преданность общественному долгу считалась главной нравственной целью земного существования человека.

Поскольку на свете нет такой вещи, как «общество», и обществом именуют множество разрозненных людей, практически это означало, что правители обществ были освобождены от нравственного закона, подчинялись лишь обрядам и ритуалам, обладали неограниченной властью и требовали слепого повиновения, исходя из негласного принципа: «Хорошо то, что хорошо для общества (племени, расы, нации), а указы правителя — голос общества на земле».

Это относилось ко всем государственным системам, всем вариантам альтруистическо-коллективистской этики, мистической или общественной. «Божественное право королей» обобщает политическую теорию первого типа, принцип «*Vox populi, vox dei*» — второго. Вот несколько примеров: египетская теократия с фараоном, олицетворявшим бога; правление неограниченного большинства, или афинская демократия; государство изобилия во главе с римскими императорами; инквизиция в конце Средневековья; абсолютная монархия во Франции; процветающая бисмарковская Пруссия; газовые камеры нацистской Германии; массовые убийства в Советском Союзе.

Все эти политические системы были выражением альтруистическо-коллективистской этики, и их общее свойство — тот факт, что общество стояло над нравственным законом как всемогущий, верховный самодур. Иначе говоря, политически все эти системы *были* вариантами аморального общества.

Глубочайшим революционным достижением Соединенных Штатов стало *подчинение общества нравственному закону.*

Принцип индивидуальных прав распространил нравственность на общественную систему — ограничил власть государства, защитил человека против грубой силы коллектива, подчинил

силу праву. Соединенные Штаты были первым *нравственным* обществом в истории.

Все предыдущие общественные системы рассматривали человека как жертвенное средство для достижения чьих-то целей, а общество — как самоцель. Соединенные Штаты отнеслись к человеку как к самоцели, а к обществу — как к средству для мирного, организованного, добровольного сосуществования индивидуумов. Все предыдущие системы стояли на том, что жизнь человека принадлежит обществу, что общество может располагать им, как ему угодно, и что всякая свобода, которой он обладает, дается ему обществом в виде одолжения или *позволения*, которое в любой момент можно отнять. Соединенные Штаты стояли на том, что жизнь человека принадлежит ему по праву (то есть на основании нравственного принципа и его природы), что право — это собственность индивида, что общество как таковое не имеет никаких прав и что единственная нравственная цель власти — защита личных прав.

«Право» — это нравственный принцип, определяющий и санкционирующий свободу действий в общественном контексте. Существует лишь одно фундаментальное право (все остальные — его следствия или неизбежные выводы): право человека на его собственную жизнь. Жизнь — это процесс самоподдерживающего и самопорождающего действия; право на жизнь означает право на самоподдержание и самовоспроизводство, то есть свободу предпринимать действия, которых требует природа рационального существа для поддержания, продолжения, осуществления своей жизни. (Вот смысл права на жизнь, свободу и стремление к счастью.)

Идея «права» относится только к действию, в данном случае — свободе действия. Она означает свободу от физического принуждения, давления или вмешательства других людей.

Таким образом, право каждого индивида — это нравственная санкция позитивных ценностей: его свободы действовать на основании собственных суждений, добровольного, непринудительного выбора во имя собственных целей. А что до ближних, его права не навязывают им никаких обязательств, кроме негативных — воздерживаться от нарушения его прав.

Право на жизнь — источник всех прав, и право на собственность — единственное их осуществление. Без права на собственность невозможны никакие другие права. Поскольку человек должен поддерживать жизнь собственными усилиями, тот, у кого нет права на продукты этих усилий, не может поддержать собственную жизнь. Человек, который производит то, чем распоряжаются другие, называется рабом.

Имейте в виду, что право на собственность — это *не право на предмет*, а *право на действие* и на последствия того, что мы произвели что-то или заработали. Оно не гарантирует, что мы заработаем какую-либо собственность; оно гарантирует только то, что мы будем владеть ею, если заработаем. Это — право приобретать материальные ценности, хранить их, использовать и распоряжаться ими.

Понятие личных прав настолько ново в человеческой истории, что большинство людей и по сей день его не осознано полностью. В соответствии с двумя этическими теориями, мистической и социальной, одни считают, что права — это дар Божий, другие — что это дар общества. На самом деле источник прав — человеческая природа.

В Декларации независимости сказано, что люди «наделены Создателем определенными неотчуждаемыми правами». Верим ли мы в то, что человек создан Творцом или природой, источник происхождения человека не меняет того факта, что человек — особый организм, разумное существо, которое не может успешно действовать по принуждению, и потому просто не выживет без прав.

«Источник прав человека не божественный или избирательный закон, но закон личности. А — это А, и человек — это человек. Права — это условия, предъявляемые природой человека для его правильного выживания. Если человек живет на земле, он *вправе* распоряжаться своим

умом, *вправе* действовать на основании собственного свободного суждения, *вправе* трудиться ради своих ценностей и владеть результатами своего труда. Если жизнь на земле — его цель, он имеет право жить как разумное существо; природа возбраняет ему внеразумность» («Атлант расправил плечи»).

Нарушая права человека, мы принуждаем его действовать против собственной воли или экспроприируем его ценности. Для этого есть только один путь — физическая сила. Нарушить права человека могут только преступник и власть. Великое достижение Соединенных Штатов — в том, что здесь провели грань между ними, запретив властям узаконенные действия преступников.

Декларация независимости заложила принцип: «Власть установлена для того, чтобы охранять эти права». Этот принцип — единственное веское оправдание власти, он определяет ее единственную правильную цель — защищать права человека, ограждая его от физического насилия.

Таким образом, власть перешла от роли правителя к роли слуги. Она устанавливалась для того, чтобы защитить человека от преступников, — и Конституция прав была написана, чтобы защитить человека от власти. Билль о правах направлен не против частных граждан, но против власти. Он недвусмысленно заявляет, что личные права выше любой власти, народной или общественной.

Результатом было цивилизованное общество, которого за недолгое время, каких-нибудь сто пятьдесят лет, почти достигла Америка. Цивилизованное общество — это такое общество, в котором физическая сила изгнана из человеческих отношений. Власть, действующая, как полицейский, может использовать ее лишь в качестве ответного удара и только против тех, кто применил ее первым.

Таковы смысл и цель американской политической философии, стоявшие за принципом личных прав. Но он не был точно сформулирован, не был полностью принят и последовательно не применялся.

Внутреннее противоречие американского общества заключалось в том, что оно основано на альтруистическо-коллективистской этике. Альтруизм несовместим со свободой, с капитализмом и индивидуальными правами. Стремление к счастью нельзя сочетать с нравственным статусом жертвенного животного.

Представление о личных правах породило свободное общество. Вместе с разрушением личных прав началось разрушение свободы.

Коллективная тирания не осмеливается поработать страну при помощи прямой конфискации ценностей, материальных или моральных. Это делается при помощи внутреннего разложения. В материальной сфере разграбление национального богатства приводит к инфляции; точно так же мы видим инфляцию в сфере прав человека. Она влечет за собой рост обнародованных «прав», и люди не замечают, что смысл самого понятия вывернут наизнанку. Как фальшивые деньги вытесняют обычные деньги, так и «тиражированные права» отрицают права подлинные.

Отметьте любопытный факт: никогда еще не были так распространены два противоречащих друг другу явления — новые «права» и рабский труд в концлагерях.

Весь фокус в том, что понятие прав перенесли из политической сферы в экономическую. Платформа Демократической партии 1960 года смело и недвусмысленно подытожила это переключение. В ней провозглашено, что демократическое правительство «будет утверждать экономический билль о правах, который Франклин Рузвельт вписал в наше национальное сознание шестнадцать лет назад».

Когда мы читаем перечень прав, выдвинутых партией, нужно отчетливо представлять себе

смысл понятия «права»:

1. Право на общественно полезную работу и вознаграждение на фабрике или на заводе, на ферме или в шахте.
2. Право зарабатывать на еду, одежду и отдых.
3. Право каждого фермера выращивать и продавать продукцию, доходы с которой обеспечат ему и его семье достойное существование.
4. Право каждого коммерсанта, крупного и мелкого, свободно торговать, не участвуя в несправедливой конкуренции, без засилия монополий дома и за границей.
5. Право каждой семьи на достойное жилье.
6. Право на медицинскую помощь и возможность добиваться здоровья.
7. Право на соответствующую защиту от старости, болезни, несчастных случаев и безработицы.
8. Право на хорошее образование.

К каждому из этих восьми предложений следовало бы добавить вопрос, который прояснил бы дело, — *за чей счет?*

Работа, еда, одежда, отдых (!), жилье, медицинская помощь, образование и т.д. не произрастают в природе.

Эти ценности — товары и сервис — производит человек. *Кто* должен предоставлять их?

Если какие-то люди наделены правом пользоваться результатами чужого труда, это значит, что другие лишены прав и осуждены на рабский труд.

Всякое так называемое «право» одного человека, которое ведет к нарушению прав других людей, не может быть правом.

Ни один человек не имеет права навязывать другому нежеланные ему обязательства, безвозмездные обязанности или принудительную зависимость. Нет и не может быть «права порабощать».

Право не предполагает, что материально осуществят его другие. Оно предполагает лишь свободу самому его осуществить.

Оцените в этом контексте интеллектуальную точность отцов-основателей: они говорили о праве на стремление к счастью, но не о праве на счастье. Это значит, что человек имеет право предпринимать действия, которые он считает необходимыми для достижения счастья; но не значит, что другие должны сделать его счастливым.

Право на жизнь означает, что человек имеет право поддерживать свою жизнь собственным трудом (на любом экономическом уровне, вплоть до самого высокого, насколько позволяют его способности); оно *не означает*, что другие должны обеспечивать его всем необходимым.

Право на собственность означает, что человек имеет право предпринимать экономические действия, необходимые для того, чтобы заработать собственность, пользоваться и распоряжаться ею; оно *не означает*, что другие должны снабжать его собственностью.

Право на свободу слова означает, что человек имеет право выражать свои идеи, не страшась того, что власти будут вмешиваться, подавлять или наказывать его. Оно *не означает*, что другие должны предоставить ему аудиторию, радиостанцию или печатный станок.

Всякое предприятие, в котором участвует больше одного человека, предполагает *добровольное* согласие каждого участника. Каждый из них имеет *право* принимать собственное решение, но ни один не вправе принуждать к этому решению других.

«Право на работу» — нечто несуществующее; существует лишь право на свободную профессию, то есть право человека пойти на работу, если другой человек решает нанять его. «Права на жилье» тоже быть не может, есть лишь право свободно построить дом или купить его. Нет «права на справедливую оплату» или «справедливую цену», если никто не желает платить,

нанимать человека или покупать плоды его труда. Нет никаких «прав потребителей» на молоко, башмаки, фильмы или шампанское, если ни один производитель не желает их производить (есть лишь право производить их самому). Не может быть «прав» у особых групп населения — «прав фермеров, рабочих, бизнесменов, служащих, работодателей, пожилых, молодых, нерожденных». Есть только Права человека, которыми обладает каждый человек и все люди как личности.

Право на собственность и право на свободное предпринимательство — единственные «экономические права» человека (на самом деле это права политические), и никакого «экономического билля о правах» быть не может. Обратите внимание на то, что его экономические защитники уничтожили право на собственность.

Запомним, что права — это нравственные принципы, которые определяют и защищают свободу человеческих действий, но не навязывают никаких обязательств другим людям. Частные граждане не представляют собой угрозы правам или свободе других людей. Частный гражданин, прибегающий к физической силе и нарушающий права других, — преступник, и закон защищает от него.

В любое время и в любой стране преступники составляют небольшое меньшинство. Вред, который они нанесли человечеству, ничтожен по сравнению с кровопролитием, войнами, преследованиями, конфискациями, холодом, рабством и массовыми разрушениями, в которых повинны власти. Потенциально власть — самая опасная угроза правам человека; она владеет монополией на применение физической силы против законно безоружных жертв. Не ограниченная личными правами власть становится смертельным врагом людей. Билль о правах направлен не против личных действий, а против действия властей.

Теперь посмотрим, как можно уничтожить эту защиту. Частным гражданам вменяют специфические нарушения, запрещенные по закону (которые частные граждане просто не в силах совершить), и тем самым правительство освобождается от всех ограничений. Долгие годы коллективисты распространяли представление о том, будто отказ частного лица финансировать противника нарушает нрава оппонента на свободное слово и может быть приравнен к цензуре.

По их словам, если газета отказывается взять на работу или напечатать того, чьи идеи диаметрально противоположны ее политике, — это цензура.

Если коммерсант отказывается размещать рекламу в журнале, который его осуждает, оскорбляет и обливает грязью, — это цензура.

Если телевизионный спонсор возражает против грубого нарушения, допущенного в программе, которую он финансирует (например, когда Олджеру Хиссу предлагают разоблачить бывшего вице-президента Никсона), это — цензура.

Ньютон Т. Миноу говорит: «Рейтинг, реклама, сетевое вещание, компаньоны выступают в роли цензоров, отклоняя предложенные программы». Сам же он грозит взять назад лицензию, которая не совпадает с его взглядами, и не считает это цензурой.

Обратите внимание на скрытый смысл такой тенденции.

«Цензура» — это термин, относящийся лишь к действиям властей. Частные действия — не цензура. Никакое частное лицо или агентство не может заткнуть рот человеку или запретить публикацию; это может сделать только правительство. Свобода слова частных лиц включает право не соглашаться со своим противником, не слушать его и не финансировать.

Согласно таким доктринам, как «экономический билль о правах», человек не имеет права распоряжаться собственными материальными средствами, следуя собственным убеждениям, и должен передать свои деньги любому спикеру или пропагандисту, у которого есть «право» на собственность.

А значит, способность предоставлять материальные средства для выражения идей лишает человека права придерживаться каких-либо идей. Издатель должен издавать книги, которые он

считает бездарными, фальшивыми или вредными, телевизионный спонсор должен финансировать комментаторов, которые поносят его убеждения, владелец газеты должен предоставлять страницы каждому молодому хулигану, кричащему о порабощении прессы. Словом, одна группа людей получает «право» на неограниченную свободу, тогда как удел другой группы — беспомощная безответственность.

Поскольку невозможно обеспечить каждого желающего работой, микрофоном или колонкой в газете, кто будет определять «распределение» экономических прав и отбирать его получателей, если право выбрать владельца отменено, мистер Миноу сказал об этом вполне отчетливо.

Если вы полагаете, что это относится лишь к крупным собственникам, то открою вам, что теория «экономических прав» включает «право» каждого будущего драматурга, каждого поэта-битника, каждого композитора-шумовика и каждого художника-абстракциониста (с политическими пристрастиями) на финансовую поддержку, которую вы им не оказали, не посетив их спектакля, концерта или выставки. Что еще может значить проект, предлагающий расходовать ваши налоговые платежи на субсидируемое искусство?

Пока люди вопят об «экономических правах», идея политических прав куда-то исчезает. Мы забываем, что право на свободу слова означает свободу защищать свои взгляды и отвечать за возможные последствия, включая несогласие с другими, оппозицию, непопулярность и отсутствие поддержки. Политическая функция «права на свободное слово» — защищать несогласных и гонимые меньшинства от насильного подавления, а не гарантировать им поддержку, преимущества и вознаграждение в виде популярности, которой они не заработали.

В Билле о правах сказано: «Конгресс не должен утверждать закон, ограничивающий свободу слова или печати...» Он не требует, чтобы частные граждане предоставляли микрофон человеку, который стремится их уничтожить, отмычку — взломщику, который хочет их ограбить, или нож — убийце, желающему перерезать им горло.

Так обстоят дела в одной из решающих современных проблем — политические права против «экономических». Или — или. Одно право уничтожает другое. На самом деле нет «экономических прав», нет «коллективных прав», нет «общественных прав». Термин «индивидуальные права» избыточен; никаких других прав, кроме личных, просто нет, и никто ими не обладает.

Единственные защитники прав человека — те, кто отстаивает неограниченный капитализм.

1963

Объективистская этика

Поскольку тема моя — «объективистская этика», я процитирую для начала ее лучшего представителя, Джона Галта, из книги «Атлант расправил плечи»:

«Веками на вас обрушивались беды и горести, вызванные моральным кодексом, и вы сетовали на то, что ваш кодекс нарушен, что беды даны в наказание, что люди слишком слабы и эгоистичны, чтобы пролить всю необходимую кровь. Вы проклинали человека, землю, вселенную, но ни разу не посмели усомниться в вашем кодексе... Вы вечно твердили, что кодекс хорош, но человеческая природа слишком для него плоха. И никто не задал простого вопроса: "Плоха? А по каким критериям?"

Хотите узнать, кто такой Джон Галт? Тот, кто этот вопрос задал.

Да, мы действительно живем в эпоху нравственного кризиса ... Ваш кодекс достиг критической точки, тупика. И если вы хотите жить дальше, вам нужно не *вернуться* к морали, а *открыть* ее».

Что такое мораль, или этика? Это кодекс ценностей, который определяет выбор и действия человека, а они, в свою очередь, определяют смысл и течение его жизни. Этика как наука должна открыть и определить такой кодекс.

Прежде чем определять, оценивать или принимать какую-либо конкретную систему нравственности, надо спросить, *зачем* людям кодекс ценностей?

Позвольте это подчеркнуть. Самый первый вопрос — не о том, какой кодекс надо принять; но о том, нужны ли человеку ценности, а если нужны, то почему.

Что такое *ценность*, «благо» или «зло»? Произвольная выдумка, которая не связана с фактами, не проистекает из них и не подкрепляется ими, или что-то основанное на *метафизическом* факте, на неизменном условии человеческого существования? (Слово «метафизический» значит здесь «относящийся к реальности, к природе вещей, к существованию».) Можно ли сказать, что произвольная человеческая условность, простой обычай, требует, чтобы мы соотносили свои действия с набором принципов — или этого требует какой-то реальный факт? Можно ли считать этику областью *прихоти* — личных эмоций, общественных указов и мистических откровений — или это область *разума*? Что она — субъективная роскошь или *объективная* необходимость?

На прискорбном пути человеческой этики, за редкими и бесплодными исключениями, моралисты рассматривали ее как область прихотей, то есть ставили вне разума. Одни это делали неприкрыто и преднамеренно, другие — походя, автоматически. «Прихоть» — это желание, причины которого мы не знаем и знать не хотим.

Ни одному философу не удалось дать рациональный, объективно доказуемый, научный ответ на вопрос о том, *зачем* человеку кодекс ценностей. Пока ответа нет, невозможно открыть или определить рациональный, научно обоснованный, *объективный* этический кодекс. Величайший из философов, Аристотель, не считал этику точной наукой; свою этическую систему он основывал на том, что делают, как поступают его благородные и мудрые современники, не спрашивая, *почему* они поступают именно так и *почему* он считает их благородными и мудрыми.

Большинство философов принимало существование этики как данность, как исторический факт, совсем не стремясь обнаружить ее метафизическую причину или дать ей объективное обоснование. Правда, многие пытались нарушить традиционную монополию мистики в этой сфере и дать определение рациональной, научной, нерелигиозной морали. Однако пытались они оправдать ее на *общественном* основании, просто заменив «бога» «обществом».

Для обычных мистиков произвольная, необъяснимая «воля божья» была образцом блага и обоснованием их этики. Новые мистики заменили ее «общественным благом» и попали в порочный круг таких определений, как «благо — то, что несет благо обществу». Логически (а сегодня и практически) это значит, что «общество» стоит над любыми этическими принципами, поскольку оно *само* — источник, образец и критерий этики, а «благо» — то, что *ему* нужно; то, что оно сочтет необходимым утвердить для своего благополучия и процветания. Таким образом, «общество» может делать что угодно, поскольку «благо» — то, что ему вздумается просто *потому*, что так вздумалось. Но «общества», в сущности, на свете нет, это просто набор отдельных личностей, а потому *некоторые* люди (большинство или какая-нибудь группа, выступающая от его имени) получали нравственную свободу действий для осуществления *любых* прихотей (или зверств), а *другие* люди оказывались нравственно обязанными всю жизнь исполнять их желания.

Такую систему едва ли назовешь разумной, но многие философы все же решили объявить о том, что разум потерпел поражение, что этика — вне власти разума, что рациональную этику создать вообще невозможно и что в этической сфере — при выборе жизненных ценностей, поступков, целей, смысла жизни — люди должны руководствоваться отнюдь не разумом. Чем же тогда? Верой, инстинктом, интуицией, откровением, чувством, вкусом, потребностью, желанием — словом, *прихотью*. Сегодня, как и прежде, большинство философов согласно с тем, что наивысший этический критерий именно *прихоть* (ее называют «произвольным постулатом», «субъективным выбором», «эмоциональным решением» и т.п.), и ожесточенно спорят лишь о том, *чья* это прихоть — конкретного человека, общества, диктатора или Бога. Ничуть не соглашаясь в прочем, современные моралисты сходятся на том, что этика — вопрос *субъективный* и триада «разум — сознание — реальность» к нему не относится.

Вот ответ на вопрос, *почему* современный мир опускается все ниже и ниже по кругам ада.

Чтобы спасти цивилизацию, надо бросить вызов именно этой предпосылке современной, да и всей былой этики.

Бросая вызов основной предпосылке любой науки, начинают с самого начала. В данном случае следует начать с вопросов: «Что такое *ценности*? Зачем они нужны?»

«Ценность» — то, что человек стремится получить и/ или сохранить. Понятие это не первично; оно включает ответ на вопрос — *для кого* или *для чего* } Предполагается, что кто-то способен действовать, чтобы достичь такой, а не иной цели, и выбор у него есть. Там, где выбора нет, целей и ценностей быть не может.

Процитирую Джона Галта: «На свете есть один главный выбор — жизнь или смерть, и касается он только живых организмов. Неодушевленная материя существует безусловно, а жизнь — нет; она зависит от особых действий. Материю нельзя уничтожить, она меняет форму, но не может исчезнуть. Перед альтернативой "жизнь или смерть" постоянно встают лишь живые организмы. Жизнь — это процесс самосохранения и самовоспроизводства. Если какой-либо организм не может его продолжать, он погибает; составные элементы остаются, но *его* уже нет. Понятие "ценность" возможно благодаря понятию "жизнь". Благо или зло могут существовать только для чего-то живого».

Чтобы в полной мере это понять, попытайтесь представить себе бессмертного, неразрушимого робота. Он двигается и действует, но на него ничто не влияет, его невозможно изменить, повредить, испортить, разрушить. У такого существа не было бы никаких ценностей; ему нечего приобретать или терять; оно не может считать что-нибудь *полезным* или *вредным*, способствующим или угрожающим его благополучию, отвечающим или противоречащим его интересам. У него нет ни ценностей, ни целей.

Только у *живого* существа могут быть цели, только оно может порождать их. Только живой

организм способен действовать самостоятельно и целенаправленно. На *физическом* уровне функции всех живых организмов, от самых простых до самых сложных — от питания амебы до нашей системы кровообращения — порождены самим организмом и нацелены на поддержание его *жизни*. (Применительно к физическим явлениям, например — автоматическим функциям организма, термин «целенаправленно» не значит «преднамеренно» — понятие это применимо только к действиям сознания — не подразумевает он и некоего телеологического принципа, действующего в неживой природе. В данном контексте он используется для обозначения того факта, что автоматические функции живых организмов — это действия такой природы, что *благодаря им в организме сохраняется жизнь*.)

Жизнь организма зависит от двух факторов — от материала или топлива, которые он берет из внешнего мира, из его физической основы, и от его собственных действий, *правильно* использующих это топливо. Как же определить, что именно здесь *правильно*? Критерий — жизнь организма; то, что нужно для его *выживания*.

У организма нет выбора: то, что нужно для выживания, определяется его *природой*, тем, *какой* он. К среде приспособляются по-разному, тут много вариантов, можно далее некоторое время существовать в поврежденном, искаленном или больном состоянии; однако основная альтернатива неизменна: если организм не может выполнять основные функции, требуемые его природой, — скажем, протоплазма амебы не усваивает питательных веществ или сердце человека не бьется — он умирает. В сущности, неподвижность противоположна жизни. Жизнь можно поддерживать лишь благодаря постоянному процессу, действиям, способствующим ее самосохранению. Цель этих действий, *наивысшая ценность*, которую нужно достигать непрерывно, — *жизнь* организма.

Наивысшая ценность — та главная цель или результат, достижению которых служат более мелкие цели. Она и устанавливает тот критерий, по которому эти цели *оцениваются*. Жизнь организма — его *критерий ценности*: то, что продлевает эту жизнь, — *благо*, а то, что угрожает ей, — *зло*.

Без наивысшей цели или результата не может быть более мелких целей или средств. Средства, бесконечно стремящиеся к несуществующей цели, — метафизическая и гносеологическая бессмыслица. Только наивысшая цель, *сама по себе*, делает возможным существование ценностей. В метафизическом смысле жизнь — единственное явление, которое само по себе цель; это ценность, достигаемая и сохраняемая благодаря постоянному процессу. Гносеологически понятие «ценности» генетически зависит от понятия «жизнь» и исходит из него. Отделяя «ценность» от «жизни», мы допускаем не терминологическое противоречие, а серьезную ошибку. «Понятие "ценность" возможно лишь благодаря понятию "жизнь"».

Отвечая философам, считающим, что между наивысшими целями или ценностями и реальными фактами связь установить невозможно, я хочу подчеркнуть, что само существование и функционирование живых существ требует существования ценностей, и наивысшей ценности для каждого конкретного живого существа — его жизни. Обосновать ценностные суждения можно, только если учитывать реальные факты. Само то, что живое существо *существует*, определяет, что ему делать. Этим исчерпывается вопрос о связи «*существования*» и «*долженствования*».

Как же обнаруживает человек понятие «*ценности*»? Что помогает ему в простейшем виде осознать проблему «*блага или зла*»? Физические ощущения *удовольствия* боли. Ощущения — первый шаг в развитии нашего *созна-ния*, и точно так же — первый шаг в области *оценки*.

Способность испытывать удовольствие или боль — врожденное свойство нашего тела, часть его *природы*, так уж оно устроено. От человека это не зависит, как не зависит от него и критерий, определяющий эти ощущения. Что же это за критерий? *Его жизнь*.

Механизм «удовольствие — боль» в теле человека и всех живых организмов, обладающих сознанием, автоматически охраняет их жизнь. Физическое удовольствие — это сигнал, указывающий на то, что организм действует *правильно*. Физическая боль — это сигнал, предупреждающий об опасности, и указывает он на то, что организм действует *неправильно*, что нормальному функционированию тела что-то мешает, и это надо исправить. Самая лучшая иллюстрация — крайне редкие случаи, когда человек не способен испытывать боль. Такие дети долго не живут; они не могут определить возможную опасность, у них нет предупредительных сигналов, и небольшой порез оборачивается смертельной инфекцией, а серьезного заболевания не замечают до тех пор, когда бороться с ним уже поздно.

Для тех живых организмов, у которых оно есть, сознание — основное средство, дающее возможность выжить.

Простые организмы (например, растения) могут выживать с помощью автоматических действий. Более сложные организмы (животные и люди) на это не способны, потребности у них сложнее и шире диапазон действий. Их тела могут автоматически использовать топливо, но *не добывать* его. Для этого более сложным организмам необходимо сознание. Растение добывает питательные вещества из почвы. Животное ради пропитания должно охотиться. Человек вынужден производить свою пищу.

У растения нет выбора; его цели, автоматические и врожденные, определяет его природа. Стремиться к питательным веществам, воде, солнечному свету ему уготовано природой. Его жизнь — критерий ценности, определяющий его действия. Альтернатива (в какой-то мере) появляется там, где растение сталкивается с тем или иным физическим окружением (жарой или холодом, сильным ветром, переизбытком воды). Оно способно противостоять суровым условиям; например, некоторые растения, стремясь к солнечному свету, могут пробиваться из-под камня. Однако вообще у растения выбора нет; оно действует автоматически, чтобы продлить свою жизнь, и не может действовать себе во вред.

Диапазон действий, необходимых для выживания более сложных организмов, пропорционален диапазону их *сознания*. Простейшие из наделенных сознанием видов способны лишь *ощущать*, и этого вполне достаточно для определения их действий и обеспечения их потребностей. Ощущение появляется как автоматическая реакция органа чувств на стимул внешней среды и длится ровно столько, сколько длится воздействие стимула.

Это — автоматическая реакция, автоматическая форма знаний, и сознание не может ни искать ее, ни избегать. Организм, который только *ощущает*, управляется телесным механизмом «удовольствие — боль», иначе говоря — автоматическими знаниями и автоматическим кодексом ценностей. Его жизнь — это критерий ценности, определяющий его действия. В рамках возможных для него действий он действует автоматически, чтобы продлить свою жизнь, и не может действовать во вред себе. У более сложных организмов — гораздо более мощная форма сознания. Они способны *запоминать* ощущения, то есть *воспринимать*. «Восприятие» — это набор ощущений, которые автоматически запоминает и вбирает в себя мозг живого организма, что наделяет его способностью осознавать не единичные стимулы, а конкретные *явления*. Действия животного определяются не просто непосредственными ощущениями, но *результатами восприятия*. Это — не разрозненные реакции на единичные стимулы; их определяет осознание *воспринятой* реальности, с которой животное сталкивается. Животное может понимать непосредственно те или иные элементы воспринятого и формировать автоматические ассоциации, но не более. Оно может научиться тому, как вести себя в конкретных ситуациях, например — охотиться или прятаться; взрослые высокоорганизованные животные обучают этому детенышей. Но у животного нет выбора, оно не определяет, какие знания и навыки ему приобрести, и может только воспроизводить их из поколения в поколение.

У животного нет критерия ценности, определяющего его действия; органы чувств поставляют ему *автоматический* кодекс ценностей, врожденные знания о том, что для него хорошо, что — плохо; что идет на пользу его жизни, а что ей угрожает. Животное не может расширить эти знания или уклониться от них. В ситуациях, для которых у него знаний нет, оно гибнет — например, впадает в оцепенение на железнодорожных путях, когда на него несется поезд. Оно всю жизнь действует на основе своих знаний, автоматически стремясь к безопасности. Остановить работу сознания оно не может и *непрерывно* что-то воспринимает, непрерывно учитывает воспринятое, непрерывно стремится к своему благу. Оно не может по собственной воле творить зло и действовать себе во вред.

У человека нет автоматического кодекса выживания. У него нет автоматической последовательности действий, автоматического набора ценностей. Органы чувств не могут автоматически сообщить ему, что для него хорошо, что — плохо, что идет на пользу его жизни, а что ей угрожает, к каким целям ему надо стремиться и что поможет достичь их, от каких *ценностей* зависит его жизнь и в какой последовательности он должен действовать. Ответы на все эти вопросы он обязан найти с помощью сознания, которое функционирует *не автоматически*. Человек, самое высокоразвитое существо на земле, чье сознание может неограниченно усваивать знания, — единственное живое существо, которое рождается без какой-либо гарантии, что сознание его *сохранится*. Коренное отличие человека от всех других живых существ в том, что у него сознание зависит от воли.

Автоматические ценности, управляющие функциями растения, достаточны, чтобы выжило растение — но не животное; точно так же автоматические ценности, обеспеченные чувствами и восприятием животного, достаточны для управления животным — но не человеком. Действия человека и его выживание требуют руководства *концептуальных ценностей*, полученных из *концептуальных* знаний. Знания эти невозможно получить *автоматически*.

«Понятие», или «концепция», — это умственная интеграция двух или более воспринятых единиц, которые выделяются в процессе *абстрагирования* и объединяются с помощью конкретного определения. Каждое слово человеческого языка, кроме имен собственных, определяет какое-либо *понятие*, абстракцию, обозначающую неограниченное число конкретных элементов того или иного вида. Слагая воспринятое в понятия, а понятия — во все более и более широкие понятия, человек может усвоить, сохранить, интегрировать неограниченный объем знаний, и знания эти выходят за рамки непосредственных восприятий в какой-либо конкретный, непосредственный момент. Наши органы чувств действуют автоматически; наш мозг автоматически интегрирует данные этих органов, воспринимая их; однако, интегрируя воспринятое в понятия, мы *абстрагируем*, а не *формируем* их *автоматически*.

Процесс формирования понятий не ограничивается простым усвоением нескольких несложных абстракций, скажем — «стул», «стол», «горячий», «холодный», и способностью научиться речи. Здесь действует такое использование сознания, которое точнее всего назвать «концептуализацией». Это не пассивная регистрация хаотичных впечатлений, но активно продолжающийся процесс соотнесения впечатлений с понятийными терминами, когда каждое событие и каждое впечатление интегрируют в концептуальный контекст, связи, различия и аналогии преобразуют в лично воспринятое и абстрагируют в новые понятия, выдвигают предположения, делают заключения и выводы, ставят новые вопросы и получают новые ответы, расширяя личные знания все больше и больше. Способность, которая направляет такой процесс и оперирует понятиями, — это *разум*, а процесс — *мышление*.

Разум опознает и интегрирует материал, предоставляемый нашими органами чувств. Эту способность человек вынужден использовать по собственной воле. Мышление — не автоматическая функция. В любой момент жизни, по любому поводу человек свободен

выбирать; он может думать, может не думать. Для мышления нужны сосредоточенность сознания, полное внимание. Чтобы сосредоточить, мобилизовать сознание, требуется воля. Человек может сосредоточиться так, чтобы активно и целенаправленно осознавать действительность; может и рассеянно погрузиться в бездумную дрему или просто реагировать на случайные стимулы, сдавшись на милость ненаправленных чувств и восприятий и любых произвольных связей, которые они создадут.

Когда сознание не сосредоточено, человек, можно сказать, находится на дочеловеческом уровне, поскольку ощущения и восприятие у него есть. Но в том смысле, в каком это применимо к человеку (чье сознание воспринимает действительность и может взаимодействовать с ней, способно управлять действиями и обеспечивать ему выживание), ни на чем не сосредоточенный ум не осознает ничего.

С психологической точки зрения выбор «думать или не думать» означает «сосредотачиваться или не сосредотачиваться». В экзистенциальном смысле выбор «сосредотачиваться или нет» значит «осознавать или не осознавать». В метафизическом смысле выбор «осознавать или нет» — это выбор между жизнью и смертью.

Для тех живых организмов, у которых есть сознание, именно оно и дает им возможность выжить. Для человека главное средство выживания — разум. В отличие от животных, человек не выживет, ориентируясь только на восприятие. Чувство голода подскажет ему, что надо поесть (если он научился связывать пищу с «голодом»), но не подскажет, как это сделать и какая еда пригодна для него, а какая — ядовита. Без мышления он не сможет удовлетворить простейшие физические потребности. Оно необходимо ему, чтобы узнать, как сажать и выращивать съедобные растения или мастерить оружие для охоты. Восприятие поможет ему найти пещеру, но, чтобы соорудить самое простое укрытие, нужно подумать. Никакое восприятие, никакие «инстинкты» не подскажут, как развести огонь, соткать полотно, выковать нож, сделать колесо, построить самолет, удалить аппендикс, произвести коробок спичек, электрическую лампочку, электронную лампу или циклотрон. Однако именно от таких знаний и умений зависит его жизнь, обеспечить же их может только волевой акт сознания, процесс мышления.

Ответственность наша простирается еще дальше: процесс мышления нельзя считать не только автоматическим, «инстинктивным», произвольным, но и безошибочным. Человек должен начать его, продолжить и отвечать за его плоды. Нам приходится искать способы, как отделять истинное от ложного и как исправлять свои ошибки, как обосновывать свои понятия, выводы, знания. Чтобы управлять мышлением, мы должны определить правила мышления, законы логики. Природа не дает автоматической гарантии того, что мы мыслим правильно.

Нам не дано ничего, кроме возможности и материала. Возможность — превосходная машина; но у нее нет свечей зажигания, и шофером должна быть наша воля. Мы должны сами узнать, как машиной пользоваться, и постоянно поддерживать ее действие. Материалом служит весь мир, причем знания, которые мы можем приобрести, и удовольствие, которое можем получить от жизни, — безграничны. Однако все необходимое приходится изучать, обнаруживать и производить нам самим, по собственному выбору, собственным усилием и собственным умом.

Существо, которое не получает автоматических знаний о добре и зле, истине и лжи, не может просто знать, что правильно, а что неверно, что хорошо, а что — плохо. Однако без этих знаний оно не сможет жить. Оно не свободно от законов реальности, у него — своя природа, требующая особых действий для поддержания жизни. Ему не помогут выжить ни произвольные средства, ни хаотичные действия, ни слепые желания, ни случайности, ни прихоти. Все необходимое определяется его природой и от него не зависит. Зависит от него одно — способность обнаружить, что нужно, и выбрать правильные цели и ценности. Он свободен, и может ошибиться, но тогда он не добьется успеха. Он свободен, и может уйти от реальности,

отключить сознание, слепо плестись по любой дороге, но тогда он не избежит пропасти. Для любого наделенного сознанием организма знания — это средство выжить; а если у живого сознания что-то *есть*, то с этим связана *обязанность*. Человек свободен, и может отказаться от сознания, но тогда он погибнет, расплачиваясь за бессознательные действия. Мы — единственные живые существа, наделенные способностью действовать во вред себе; большей частью мы так и действовали.

Каковы же в таком случае наши правильные цели? К чему мы должны стремиться? Какие ценности нужны для нашего выживания? На эти вопросы и должна ответить такая наука, как *этика*. Именно поэтому, дамы и господа, нам необходим этический кодекс.

Теперь вы можете оценить те теории, которые убеждают вас, что этика иррациональна, что разум не управляет нашей жизнью, что цели и ценности надо выбирать голосованием или по прихоти, что у этики нет ничего общего с жизнью, с действительностью, с практическими действиями и проблемами, или что цель ее вне пределов жизни, то есть она нужна мертвым, а не живым.

Этика — *не мистическая выдумка, не социальная условность, не субъективная роскошь*, которую можно использовать или отбросить. Она *объективно необходима для того, чтобы мы выжили* не по милости сверхъестественной силы, наших ближних или наших прихотей, но по законам реальности и по природе самой жизни.

Опять приведу слова Джона Галта: «Человека всегда называли разумным существом, однако разумность — предмет выбора, а выбор уготован такой: либо ты — разумное существо, либо идущее к самоубийству животное. Человек должен быть человеком — по выбору; он должен ценить свою жизнь — по выбору; он должен поддерживать ее — по выбору; он должен открыть нужные для этого ценности и поступать хорошо — по выбору. Кодекс ценностей, принятый по выбору, и есть моральный кодекс».

Критерий ценности объективистской этики, оценки блага или зла — *жизнь человека*, иначе говоря, то, что необходимо, чтобы он выжил *как человек*.

Поскольку разум — основополагающее средство его выживания, хорошо то, что способствует жизни разумного существа; то же, что отрицает ее, разрушает и противостоит ей — дурно.

Поскольку все необходимое человек должен открывать с помощью разума и производить своими силами, разумному существу подходят два основных способа выживания — мышление и производительный труд.

Когда кто-нибудь предпочитает не думать, а только подражать и повторять, как дрессированные животные, выжить он может, но лишь благодаря тому, что другие предпочли обдумывать и анализировать действия, которым он подражает. Выживание умственных паразитов зависит от слепого случая; их рассеянное сознание не поймет, кому подражать, чьим движениям следовать. Именно *они* идут прямо к пропасти за любым разрушителем, если он обещал им взять на себя ту ответственность жить осознанно, которой они избегают.

Когда кто-то пытается выжить за счет силы или хитрости, обманывая, грабя или поработав тех, кто что-то производит, выжить он может тем не менее лишь благодаря своим жертвам, то есть тем, кто предпочел думать и производить те блага, которые у них отнимают. Такие грабители — паразиты, они существуют только за счет гибели тех, кто действует по-человечески.

Те, кто пытается выжить не с помощью разума, а за счет силы, уподобляются животным. Но животные не смогли бы выжить, если бы, подобно растениям, они отказались от движения и ждали, что их накормит земля; так и люди не могут выжить, если, подобно животным, откажутся от разума, рассчитывая на то, что люди работающие и производящие будут их

добычей. Такие грабители могут ненадолго добиться своей цели ценой гибели и своих жертв, и своей собственной. Достаточно вспомнить любого преступника и любую диктатуру.

В отличие от животного, человек не может выжить, действуя по велению минуты. Жизнь животного состоит из повторяющихся циклов — скажем, они выкармливают потомство или запасают пищу на зиму. Сознание животного не может охватить всю его жизнь, оно доходит до определенного предела, а там животное должно начать цикл снова, без какой-либо связи с прошлым. Жизнь человека — непрерывное целое: благо и зло в его жизни, каждый прожитый день, каждый год и десятилетие складываются в сумму прожитого. Он может изменить свой выбор, может свободно изменить направление своих действий, а во многих случаях — даже исправить их последствия, но никак не может ни избавиться от них, ни безнаказанно прожить жизнь по велению минуты, как животное, богатый бездельник или бандит. Если он хочет успешно справиться со своей задачей, а не разрушить себя, он должен постоянно делать выбор, определяя свои действия, цели и ценности в контексте и в границах всей своей жизни. Тут не помогут ни ощущения, ни результаты восприятия, ни потребности, ни «инстинкты»; это подвластно лишь сознанию.

Вот что значит «выжить как человек». Речь идет не о *сиюминутном* *wпvi* просто *физическом* выживании; не о выживании безмозглого дикаря, которому другой дикарь рано или поздно раскроит череп; не о выживании какой-то груды мышц, которая согласна на все, готова подчиняться любому злодею и отказаться от любых ценностей, только бы, как говорится, «выжить любой ценой», протянув еще год или неделю, а может, и меньше. Для того чтобы «выжить как человек», нужны принципы, методы, условия и цели, необходимые для выживания разумного существа на протяжении всей его жизни, во всех аспектах существования, которые открыты его выбору.

Человек выживает только как человек. Да, он *может* отказаться от сознания, *может* добровольно стать ниже человеческого уровня, *может* превратить свою жизнь в краткую агонию, подобно тому как его тело может какое-то время существовать при смертельной болезни. Однако, если он не достигнет человеческого уровня, он будет успешно решать *только* соответствующие его уровню задачи, что нам и показывают те кошмарно жестокие периоды истории, когда возобладало неразумное. Человек должен быть человеком, и задача этики в том, чтобы научить его жить по-человечески.

Объективистская этика считает человеческую жизнь *критерием* ценности, а *жизнь конкретного человека* — этической *целью* каждого индивидуума.

Разница между «критерием» и «целью» в данном контексте такова: «критерий» — это абстрактный принцип, который служит мерой или эталоном для определения выбора при достижении определенной, конкретной цели. «То, что необходимо, чтобы человек выжил как человек» — это абстрактный принцип, применимый к каждому. Применить его для достижения определенной, конкретной цели — прожить жизнь, как подобает разумному существу, — должен каждый человек, и жизнь, которую он проживет, принадлежит именно ему.

Человек должен делать выбор, поверяя свои действия, ценности и цели критерием того, что подобает человеку, а подобает ему сохранить наивысшую ценность, свою жизнь, и получить от нее удовлетворение. *Ценность* — то, что человек хочет получить и/или сохранить с помощью своих действий; *достоинство (добродетель)* — то, что ему в этом помогает. Три основополагающие ценности объективистской этики, которые вместе можно считать средством для достижения нашей конечной ценности, жизни конкретного индивидуума, — это разум, целенаправленность и самоуважение. Им сопутствуют три соответствующих достоинства — разумность, производительность и гордость.

Производительный труд — это главная *цель* разумного человека, главная ценность, которая

соединяет все его ценности и определяет их иерархию. Разум — источник, необходимое условие такого труда; гордость — его итог.

Разумность — основное достоинство человека, источник прочих его достоинств. Основной наш порок, источник всех наших зол — сознательное отключение разума, добровольный отказ от сосредоточенности сознания. Это не слепота, а нежелание видеть, не неведение, а нежелание ведать. Выходя за пределы разума, мы отказываемся от наших средств выживания и тем самым идем на слепую гибель. То, что противостоит сознанию, противостоит жизни.

Человек, наделенный достоинством *разумности*, признает и принимает разум как единственный источник знаний, судящий ценности, руководящий действиями. Он безоговорочно привержен трезвому осознанию действительности, сосредоточению ума во всех делах, в каждом случае выбора, во всякий час бодрствования. Он стремится как можно полнее воспринимать действительность и постоянно, активно расширять это восприятие, иначе говоря — знания. Он существует на самом деле, иначе говоря — все его цели, ценности и действия происходят в действительности, а потому ни при каких обстоятельствах он не ставит выше ее какую-либо ценность или мысль. Он считает, что все убеждения, ценности, цели, желания и действия должны основываться на мышлении, исходить из него, выбираться и утверждаться с его помощью, причем этот процесс должен быть настолько четким и отточенным, настолько строго управляемым жестким применением логики, насколько возможно человеку. Он принимает ответственность за свои суждения и готов жить их плодами (достоинство независимости). Он ни в каком случае не жертвует своими убеждениями в угоду другим (достоинство цельности); нигде и никогда не пытается фальсифицировать реальность (достоинство честности); не ищет и не дает того, что не заработал или не заслужил в материальной и духовной сфере (достоинство справедливости). Он не стремится к следствиям без причин и не развивает причину, не приняв полной ответственности за ее следствия. Он не действует как зомби, не понимая своих целей и мотивов; не принимает решений, не формирует убеждений, не стремится к ценностям, исходя из контекста, а не руководствуясь своими знаниями, и не пытается извлекать выгоду из противоречий. Он отказывается от всякой мистики, то есть от внечувственного, внеразумного, неопределимого, сверхъестественного источника знаний. Он пользуется разумом не от случая к случаю, не в критическую минуту, а постоянно. Это, можно сказать, его образ жизни.

Человек, наделенный достоинством производительности, признает, что производительный труд дает разуму возможность поддерживать нашу жизнь, освобождает от необходимости приспособляться к окружению, как животные, наделяя нас силой и властью приспособлять окружение к себе. Производительный труд порождает неограниченные достижения и вызывает к наилучшим нашим свойствам — творческим способностям, целеустремленности, уверенности в своих силах, безропотности перед ударами судьбы, твердому намерению преобразовать землю по образу своих ценностей. Это — не рассеянное и механическое выполнение действий в рамках какой-либо работы, но сознательно избранное осуществление любого разумного дела, мелкого или крупного, на любом уровне способностей. Этически значим не уровень способностей и не масштаб деятельности, а наиболее полное и целенаправленное использование ума.

Человек, наделенный достоинством гордости, признает, что «надо не только производить материальные ценности, необходимые для поддержания жизни, но и приобретать те свойства характера, которые делают жизнь достойной поддержания, ибо человек сам создает не только свое богатство, но и свою душу» («Атлант расправил плечи»). Достоинство гордости лучше всего можно описать как «нравственную целеустремленность». Право считать себя своей наивысшей ценностью получает только тот, кто достигнет нравственного совершенства, а достигается оно непременно отказом от любого кодекса внеразумных достоинств, которые

воплотить невозможно, и воплощением тех достоинств, которые ты считаешь разумными. Он никогда не испытывает незаслуженного чувства вины и не заслуживает его, а если все-таки *заслужит*, непременно вину исправляет. Он не сдается своим недостаткам; не ставит сиюминутные заботы, желания, страхи или настроения выше уважения к себе. А главное, он отказывается от роли жертвенного животного, то есть от любой доктрины, которая учит, что самопожертвование — достоинство или нравственный долг.

Основополагающий *социальный* принцип объективистской этики — в том, что и жизнь, и каждый живой человек — это цель, а не средство для достижения чьих-то целей или чьего-то блага. Следовательно, человек должен жить ради самого себя, не принося себя в жертву другим и не делая других жертвами. «Жить ради себя» означает, что *достижение собственного счастья — наивысшая нравственная цель*.

В *психологическом* плане выживание человека воспринимается не как «жизнь и смерть», а как «счастье или страдание». Счастье — это удачная жизнь, страдание — это сигнал, предупреждающий о провале. Механизм «удовольствие — боль» автоматически показывает, благополучно или неблагополучно состояние нашего тела, как бы служа барометром его основной альтернативы — «жизнь или смерть»; эмоциональный механизм человеческого сознания выполняет ту же функцию, определяя ту же альтернативу с помощью двух основных эмоций, радости и страдания. Эмоции — автоматический результат ценностных суждений человека, интегрированных его подсознанием; оценки того, что содействует его ценностям или угрожает им, идет ему *во благо* или *во вред*; счетчики, сообщающие ему сумму его прибылей или убытков.

Однако критерий ценности, связанный с физическим механизмом «удовольствие — боль», — автоматический и врожденный, его определяет природа нашего тела, а критерий ценности, связанный с эмоциональным механизмом, *совсем иной*. Поскольку у человека нет автоматических знаний, у него не может быть автоматических ценностей; поскольку у него нет врожденных идей, у него не может быть врожденных ценностных суждений.

Человек изначально наделен и эмоциональным, и познавательным механизмом, однако при рождении они — *tabula rasa*. *Содержание* их определяется его познавательной способностью, умом. Эмоциональный механизм похож на компьютер, программу для которого составляет мозг, пользуясь теми ценностями, которые сам и выберет.

Поскольку человеческий мозг действует не автоматически, выбор этот, как и все человеческие предположения, обусловлен или мышлением, или нежеланием мыслить. Мы выбираем ценности осознанно или молча принимаем их, повинувшись неосознанной ассоциации, вере, чьему-нибудь авторитету, социальному осмосу или слепому подражанию. Эмоции порождаются предпосылками, которых мы придерживаемся сознательно или неосознанно, явно или подспудно.

Человеку не дано способности *чувствовать*, хорошо что-то или плохо; а вот что он сочтет плохим или хорошим, что обрадует его или огорчит, что он полюбит или возненавидит, чего пожелает или убоится, зависит от его системы ценностей. Выбрав внеразумные ценности, он переключит механизм с охраны на разрушение. Вне-разумное невозможно, оно противоречит действительности; факты нельзя изменять по желанию, а погубить себя — можно. Если мы жаждем противоречий, хотим соединить несоединимое, мы разрушаем свое сознание, превращая внутреннюю жизнь в гражданскую войну слепых сил, втянутых в темный, бессмысленный, бессвязный и бесцельный конфликт (кстати сказать, именно так живет сейчас большинство).

Счастье — такое состояние сознания, которое проистекает из достижения своих ценностей. Если человек ценит производительный труд, его счастье — мера его успеха на службе своей жизни. Если он ценит разрушение, как садист, или страдания, как мазохист, или загробную

жизнь, как мистик, или же бессмысленные встряски, как водитель-лихач, его так называемое счастье — мера его успеха на службе саморазрушения. Добавим, что эмоциональное состояние этих приверженцев вне-разумного нельзя, в сущности, назвать счастьем и даже удовольствием; это лишь минутное *избавление* от хронического страха.

Ни жизни, ни счастья не достигнешь, потакая внеразумным прихотям. Человек свободен в выборе и может попытаться выжить, как паразит, попрошайка или пор, но никогда не достигнет долгого, прочного успеха; точно так же он может искать счастья в любом внеразумном суррогате, в любой прихоти, в любой иллюзии, в новом бездумном бегстве от реальности, но достигнет только сиюминутного успеха и не избежит последствий.

Процитирую Джона Галта: «Счастье — это лишенная противоречий радость, радость без платы или раскаяния, которая не приходит в столкновение с какой-либо из наших ценностей и не способствует нашей гибели... Оно возможно лишь для разумного человека, который ставит разумные цели, стремится к разумным ценностям и получает радость и удовольствие лишь от разумных действий».

Сохранение жизни и стремление к счастью — это не две отдельные цели, а две стороны одного и того же. Мы должны считать свою жизнь наивысшей ценностью, а свое счастье — наивысшей целью. Экзистенциально стремление к разумным целям направлено на сохранение жизни; психологически его плод, награда и сопутствующее обстоятельство — ощущение счастья. Человек живет, когда он счастлив, час, или год, или всю свою жизнь. А когда он совершенно счастлив, когда он думает: «Ради *этого* стоит жить», то в терминах чувств он славит и утверждает тот метафизический факт, что *жизнь* сама по себе является целью.

Однако причину и следствие нельзя поменять местами. Поставив во главу угла «достойную человека жизнь» и стремясь к необходимым для этого разумным ценностям, человек может достичь счастья; если же он попытается жить ради какого-то зыбкого «счастья», у него ничего не выйдет. Если вы достигнете того, что благо по разумным критериям, вы непременно будете счастливы; но то, что дает вам счастье по неопределенным свидетельствам чувств, далеко не всегда благо. Руководствуясь девизом «Только бы я был счастлив», мы потакаем прихотям чувств. Чувства же — не инструмент познания; руководствуясь желаниями, чей источник и смысл нам неизвестны, мы превратимся в бездумных роботов, которыми управляют какие-то бесы. Такой робот разбивает голову о стены реальности, поскольку видеть ее не хочет.

Вот заблуждение *гедонизма*, в любом его варианте, личном или социальном, индивидуальном или коллективном. «Счастье» может с полным основанием быть *целью* этики, но не *критерием*. Этика определяет достойный человека кодекс ценностей, который поможет достигнуть счастья. Говоря же, как гедонисты: «Ценно все, что доставляет удовольствие», мы скажем, в сущности: «Ценно то, что ценит данный человек», то есть сложим полномочия философов и просто разумных существ, недвусмысленно провозгласим тщету этики и дадим людям возможность вести себя как угодно, разрушая все вокруг.

Философы, которые вроде бы пытались выработать разумный этический кодекс, дали нам лишь набор прихотей, будь то потакание прихотям собственным (этика Ницше) или служение чужим (этика Бентама, Милля, Конта и всех социальных гедонистов независимо от того, позволяли они добавлять свои прихоти к миллионам других или советовали превратиться в абсолютного простака, отдающего себя на съедение).

Когда «хочу», независимо от его свойств или причины, считается этическим приоритетом, а удовлетворение любого желания — этической целью (пример — «наивысшее счастье наибольшего числа людей»), людям остается лишь ненавидеть, бояться и уничтожать друг друга, потому что их желания и интересы неизбежно столкнутся. Если «хочу» — этический критерий, то одинаково обоснованы желание производить и желание грабить; желание быть свободным и

желание поработить; желание, чтобы тебя любили и уважали за твои достоинства, и желание, чтобы тебя любили и уважали просто так, ни за что. Если же считать, что неисполнение любого «хочу» — это *жертва*, то человек, у которого угнали машину, и человек, который тщетно мечтает угнать чужую, имеют одинаковый этический статус. Тогда у нас один выбор: грабить или быть ограбленным, губить или быть загубленным, приносить других в жертву любому своему желанию или жертвовать собой ради любого желания других. Словом, нам остается одна-единственная нравственная альтернатива — быть садистом или мазохистом.

Моральное людоедство гедонистических и альтруистических доктрин — в предпосылке, что для счастья одного человека необходимо страдание другого.

Большинство наших современников считают эту предпосылку истиной в последней инстанции. Когда кто-нибудь говорит о праве человека жить ради себя, ради своих разумных интересов, почти все автоматически полагают, что речь идет о праве приносить других в жертву. По их мнению, тяга калечить, поработать, грабить или убивать других входит в наши личные интересы, и мы, естественно, должны от них отказаться. Мысль о том, что интересы эти можно удовлетворить только тогда, когда есть лишенная жертвенности связь с другими, никогда не приходила в голову человеколюбивым апостолам бескорыстия, столь пылко стремящимся к всеобщему братству. Эта мысль не посетит ни их, ни кого-либо еще, пока понятие «разумное» исключается из контекста «ценностей», «желаний», «личных интересов», словом — *этики*.

Объективистская этика гордо защищает и поддерживает *разумный, эгоизм*, иначе говоря, ценности, необходимые, чтобы человек жил и выжил достойно человека, то есть ценности, необходимые для *человеческого* выживания, а отнюдь не те, которые обусловлены желаниями, чувствами, «чаяниями», прихотями или потребностями неразумных дикарей, так и не расставшихся с человеческими жертвоприношениями, не вошедших в индустриальное общество и представляющих себе личные интересы как стремление урвать кусок.

Объективистская этика утверждает, что для *человеческого* блага не нужны человеческие жертвы и его нельзя достичь, принося кого-то в жертву кому-то. Она утверждает, что *разумные*, интересы не приходят в столкновение; что у людей, которые не желают незаслуженного, не приносят жертв и не принимают, а взаимодействуют как *торговцы*, дающие одно взамен другого, нет конфликта интересов.

Принцип *торговли* — единственный разумный этический принцип для любых человеческих отношений, личных и общественных, частных и публичных, духовных и материальных. Это принцип *справедливости*.

Торговец зарабатывает то, что получает. Он не дает и не принимает незаслуженного и относится к людям не как к хозяевам или рабам, а как к независимым и равным себе личностям. Отношения с ними он строит на основе свободного, добровольного, сознательного обмена, который приносит пользу обеим сторонам, согласно их собственному независимому суждению. Торговец ожидает вознаграждения не за свои недостатки и промахи, а только за достижения. Он не перекладывает на плечи других бремя *своих* неудач и не превращает свою жизнь в заложницу чужих.

В духовных вопросах (под «духовным» я подразумеваю «относящееся к человеческому сознанию») — иные средства платежа и обмена, но принцип тот же. Любовь, дружба, уважение, восхищение — эмоциональная реакция одного человека на достоинства другого, духовная плата за личное, эгоистическое удовольствие, которое один человек получает от чьих-то достойных свойств. Только дикарь или альтруист скажет, что восхищаться чужими достоинствами эгоистично, и если затронуты личные интересы и удовольствия, то неважно, имеешь ты дело с гением или с дураком, с героем или с бандитом, с идеальной женщиной или шлюхой. В духовных вопросах торговец не ждет, что его полюбят за слабости или недостатки, он готов быть

любимым только за достоинства; он не будет любить других за слабости или недостатки, а сам дарит любовь только в обмен на добродетели.

«Любить» значит «ценить». На это способен только разумно эгоистичный человек, *уважающий себя*, потому что только у него есть устойчивые, неизменные, непреходящие, неотъемлемые от него ценности. Тот, кто не ценит себя, не может ценить никого и ничего.

Только на основе разумного эгоизма, на основе справедливости, люди могут приспособиться к совместной жизни в свободном, мирном, процветающем, благожелательном, *разумном* обществе.

Может ли человек извлечь личную выгоду из жизни среди людей? Да, может, если это общество *человеческое*. Из такой жизни можно извлечь две великие ценности — знания и торговлю. Человек — единственный биологический вид, способный передавать из поколения к поколению и увеличивать запас своих знаний. Потенциально доступные человеку знания гораздо больше того, что один человек способен накопить за свою жизнь; каждый получает неизмеримую пользу от знаний, приобретенных другими. Второе великое преимущество — разделение труда; оно позволяет отдать свои силы конкретному виду работы и торговать [обмениваться] с теми, кто специализируется в других областях. Благодаря такому сотрудничеству все участвующие в нем получают от своего труда больше знаний, умений и плодов, чем они могли бы получить, производи каждый из них все необходимое на необитаемом острове или на ферме с натуральным хозяйством.

Однако именно эти преимущества ограничивают и определяют тип людей, которые могут быть полезны друг другу, а также соответствующий тип общества. Это — разумные, творческие, независимые люди в разумном, производительном, свободном обществе. Паразиты, попрошайки, мошенники, дикари и воры для нормального человека не имеют никакой ценности. Нормальный человек не может извлечь ничего из жизни в обществе, которое ориентировано на *их* потребности, запросы и защиту, отводя ему роль жертвенного животного и наказывая за его же достоинства, дабы вознаградить *и х* за пороки, то есть в обществе, основанном на этике альтруизма. Никакое общество не может быть ценным для человека, если расплачивается он своим правом на жизнь.

Основной политический принцип объективистской этики — в том, что никто не может *первым* использовать физическую силу против других. Ни группа, ни общество, ни правительство не имеют права, подражая преступнику, первым использовать физическое принуждение. Люди могут использовать физическую силу *только* в качестве возмездия и *только* против тех, кто применил ее первым. Этический принцип в данном случае прост и понятен: одно дело — убийство, другое — самозащита. Грабитель стремится получить какие-то ценности, убив свою жертву; однако жертва не разбогатеет, если убьет грабителя. Отсюда принцип: никто не должен получать от других какие-либо ценности, прибегая к физической силе.

Единственная достойная, *нравственная* цель правительства — защищать права человека, то есть защищать человека от физического насилия, защищать его право на жизнь, свободу, *собственность* и стремление к счастью. Без прав собственности невозможны никакие другие права.

В рамках небольшой лекции я не буду подробно говорить о политической теории объективизма. Те, кого это интересует, могут найти ее подробное изложение в книге «Атлант расправил плечи». Скажу только, что любая политическая система основана на какой-то этике, исходит из нее, а этика объективистская — та самая моральная основа, в которой так нуждается политико-экономическая система, разрушающаяся во всем мире именно из-за недостатка *нравственной*, философской защиты и обоснования. Это — истинно американская система,

капитализм. Если она погибнет, то никто не помешает этому, ибо ее так и не открыли, не поняли. Ни один предмет не был столь сильно затуманен многочисленными искажениями, ошибочными представлениями и превратными толкованиями. Мало кто из наших современников понимает, что такое капитализм, как он действует и какова его подлинная история.

Говоря «капитализм», я имею в виду полноценный, чистый, неконтролируемый, нерегулируемый, свободный капитализм, когда государство отделено от экономики тем же способом и по тем же причинам, что и церковь от государства. В чистом виде капиталистической системы не было нигде, даже в Америке; с самого начала ее искажал и калечил государственный контроль разных уровней. Капитализм — не система прошлого, а система будущего, если у человечества оно есть.

Тем, кто интересуется историческими и психологическими причинами, по которым философы предали капитализм, я напому, что они рассматриваются в одноименном очерке из моей книги «Для нового интеллектуала».

Сегодняшнюю нашу дискуссию мы ограничим этикой. Я представила лишь самые основные, принципиальные элементы моей системы, которых, впрочем, достаточно, чтобы показать, почему объективистская этика — это мораль жизни, в отличие от трех основных этических школ (мистической, социальной и субъективной), которые довели мир до нынешнего состояния и представляют собой мораль смерти.

Эти три школы различаются только методологическим подходом, но не содержанием. По содержанию все они — просто варианты альтруизма, то есть этической теории, которая рассматривает человека как жертвенное животное, отказывает ему в праве существовать ради самого себя и убеждает его в том, что единственное его оправдание — служить другим, а наивысший моральный долг, достоинство и ценность — принести себя в жертву. Расхождения касаются лишь одного — кого и кому в жертву приносить? Альтруизм превозносит *смерть* как наивысшую цель и критерий ценности и соответственно утверждает самоотречение, смирение, отказ от самого себя и все прочие виды страданий, включая саморазрушение. Вполне логично, что только этого достигли и продолжают достигать те, кто пытается быть альтруистом.

Следует отметить, что три этические школы противостоят жизни не только по содержанию, но и по методологии.

Мистическая теория этики недвусмысленно зиждется на предпосылке, что критерии человеческой этики установлены в потустороннем мире законами или требованиями иного, сверхъестественного измерения; что человек нравственным быть не может; что этика не приспособлена для здешней жизни и противостоит ей; что мы должны страдать всю свою земную жизнь, чтобы искупить свою вину за то, что не придерживаемся невозможного. Экзистенциальный памятник *такой* теории — Средневековье.

Социальная теория этики заменяет Бога «обществом». Хотя она утверждает, что главная ее забота — жизнь на земле, это жизнь не отдельного человека, не индивидуума, а некой бесформенной *общности*, которая по отношению к каждому человеку состоит из всех, кроме него самого. Что до индивидуума, его моральный долг в том, чтобы быть безликим, молчаливым, бесправным рабом любой необходимости, потребности или требования, заявленных другими людьми. Принцип жизни «по волчьим законам» относится не к капитализму и не к волкам, а *именно* к социальной теории этики. Экзистенциальные памятники *такой* теории — фашистская Германия и советская Россия.

Субъективистская теория, строго говоря, просто отрицает этику. Более того, она отрицает реальность, отрицает не просто существование человека, но *всякое* существование. Только представление о текучей, изменчивой, неопределенной гераклитовой вселенной могло дать

возможность думать или проповедовать, что человеку не нужны *объективные* принципы действия; что реальность дает ему полную свободу выбора ценностей; что приемлемо любое произвольное определение добра и зла; что прихоть человека — это нравственный критерий, и вопрос только в том, как эту прихоть удовлетворить. Экзистенциальный памятник *такой* теории — нынешнее состояние нашей культуры.

Причина краха, угрожающего разрушить современную цивилизацию, — не *безнравственность* людей, но те *нравственные учения*, следовать которым их заставляли. Ответственность — на философах альтруизма. У них нет причин ужасаться своему успеху и прав проклинать человеческую природу. Люди просто подчинялись им и хорошо следовали их нравственным идеалам.

Философия ставит нам цели и определяет наш образ действий; и только философия может спасти нас. Мир стоит перед выбором: если цивилизации суждено уцелеть, то люди должны отвергнуть мораль альтруизма.

В заключение сошлюсь на слова Джона Галта, которые, как он когда-то, я адресую всем прошлым и нынешним сторонникам альтруизма:

«Вашим оружием был страх, и вынесли человеку смерть в наказание за отказ от *вашей* морали. Мы же предлагаем ему жизнь в награду за то, что он примет нашу».

1961

«Конфликты интересов»

Некоторые студенты, изучающие объективизм, никак не могут разобраться с принципом объективизма, который гласит: «Между разумными людьми не может возникнуть конфликт интересов».

Едва ли не чаще всего задают такой вопрос: «Предположим, два человека претендуют на одну и ту же должность. Только один из них ее получит. Разве здесь нельзя говорить о конфликте интересов и разве благополучие одного человека не достигается за счет того, что принесли в жертву интересы другого?»

Разумный человек, отстаивая свои интересы, учитывает четыре взаимосвязанных условия, которыми пренебрегают или от которых уклоняются и в вышеприведенном вопросе, и во всех подобных подходах. Я определяю эти четыре условия так: а) окружающая действительность; б) обстоятельства; в) ответственность; и г) усилия.

А) *Окружающая действительность*. Термин «интересы» — всеохватывающее абстрактное понятие, которое включает в себя все сферы, имеющие отношение к этике. К нему относятся: ценности человека, его желания, его цели и то, насколько он их достиг к настоящему моменту. «Интересы» человека зависят от тех целей, которые он ставит перед собой, выбор целей зависит от его желаний; желания зависят от ценностей, а у разумного человека его ценности зависят от суждений, которые выносит его разум.

Желания (или чувства, эмоции, запросы, причуды) — не орудия познания. Их нельзя считать ни правомерным стандартом или ценностью, ни действенным критерием наших интересов. То, что человек чего-то хочет, не доказывает, что объект его желания хорош или что ему, человеку, он пойдет на пользу.

Утверждая, что чьи-то интересы приносятся в жертву, когда желание не осуществляется, мы поддерживаем субъективный взгляд на человеческие ценности. Другими словами, мы верим, что правильно, нравственно и возможно достигать своих целей независимо от того, противоречат ли они реальности. Это, в свою очередь, значит, что мы разделяем нелогичный и мистический взгляд на жизнь. А уж это значит, что дальше и думать нечего.

Человек разумный при выборе своих целей (специфических ценностей, которые он хочет получить и/или удержать) руководствуется размышлениями (процессом аргументации), а не только своими чувствами и желаниями. Он не считает свои желания непреодолимыми первопричинами; не рассматривает их, как данность, не думает, что сама судьба велит их исполнить. Ему не кажется, что фразы «Я так хочу» или «Я так чувствую» — достаточная причина и оправдание его действий. Он выбирает и/или устанавливает свои желания, приведя различные доводы, и не пытается достичь желаемого, если не может разумно оценить его, учитывая все свои знания, другие ценности и цели. Словом, он не начнет действовать до тех пор, пока не сможет сказать: «Я этого хочу потому, что это правильно».

Определяя свои интересы, человек разумный прежде всего рассматривает закон тождественности (А — это А). Он знает, что достичь противоречащих друг другу целей невозможно, что противоречия не достигнешь в реальных условиях и что попытка достичь его приведет только к краху и разрушению. Поэтому он не позволит себе поддерживать противоречивые ценности, преследовать противоречивые цели или воображать, что достижение таких целей может при каких-либо условиях служить его интересам.

Только человек, воспринимающий мир иррационально, то есть мистически или субъективно (в эту категорию я включаю всех, для кого стандартом человеческих ценностей оказываются вера, чувства или желания), постоянно испытывает «конфликт интересов». Его

«интересы» вступают в конфликт не только с интересами других людей, но и друг с другом.

С философской точки зрения нетрудно сбросить со счета проблемы человека, который жалуется на непримиримый конфликт, поскольку не может и съесть пирог, и сохранить. Не нужно особо духовных аргументов, чтобы применить эту проблему к чему-то большему, чем пироги, скажем — ко всей вселенной, как в доктринах экзистенциализма, или к причудам и прихотям, которые большинство людей считает своими интересами.

Когда человек доходит до мысли, что его интересы вступили в конфликт с реальностью, понятие «интересов» уже ничего не значит, а проблема его переходит из философии в психологию.

Б) *Обстоятельства*. Человек разумный не разделит никаких убеждений, если (пока) не учтет всех сопутствующих обстоятельств, то есть не обратится ко всем своим знаниям и не разрешит все возможные противоречия. Точно так же он не станет добиваться исполнения своих желаний, пока не учтет сопутствующих обстоятельств. Не судит он и о том, что способствует его интересам в пределах данного момента.

Обойти сопутствующие обстоятельства — один из основных психологических приемов, позволяющих уклониться от проблемы. Когда речь идет о желаниях, тут возможны два основных способа — в том, что касается действия, и в том, что касается средств.

Разумный человек рассчитывает свои интересы на всю жизнь и выбирает соответствующие цели. Это отнюдь не значит, что он должен быть всеведущим, непогрешимым или уж очень прозорливым. Просто он не строит совсем уж краткосрочных планов и не плывет, словно бревно, по течению момента. Каждый момент не отрезан для него от всей жизни, и он допускает, что между долгосрочными и краткосрочными интересами может возникнуть конфликт. Он не разрушает собственную жизнь, пытаясь добиться исполнения сиюминутных желаний, которые могут перечеркнуть все его ценности в будущем.

Разумный человек не теряет время на желания, которых он не может исполнить. Желая чего-то, он знает (или узнает) и рассматривает возможные средства. Ему известно, что природа не обеспечивает ему автоматического исполнения желаний; что надо приложить определенные усилия; что жизнь и усилия других людей ему не принадлежат и совсем не обязательно совпадают с его желаниями. Таким образом, разумный человек никогда не стремится к целям, которых можно достигнуть прямо или косвенно, за счет чужих усилий.

Основной социальный вопрос заключается в том, чтобы правильно понимать, что значит здесь «косвенно».

Человек живет в обществе, а не на необитаемом острове, но это не снимает с него обязанности бороться за выживание. Единственное отличие этой борьбы — в том, что он поддерживает свою жизнь, обменивая продукты или услуги на продукты или услуги других людей. В рамках этого процесса человек разумный не хочет и не пытается обрести больше или меньше, чем может получить в результате собственных усилий. Что определяет его прибыль? Свободный рынок, то есть добровольный выбор и суждение о людях, которые готовы предоставить ему свои усилия в ответ на его усилия.

Когда один человек торгует с другими людьми, он явно или скрыто рассчитывает на их разумность, другими словами, на их способность признать объективную ценность его работы. (Торговля, основанная на других предпосылках, — мошенничество и обман.) Таким образом, когда разумный человек стремится достичь своих целей в свободном обществе, он не полагается на каприз, благосклонность или предубеждение других людей; напротив, он рассчитывает только на собственные силы, как *прямо*, за счет выполнения объективно ценной работы, так и *косвенно*, за счет объективной оценки его работы другими.

Исходя из этого, разумный человек никогда не стремится исполнить желание или достичь

цели, которых не достигнешь собственными силами. Он обменивает ценность на ценность. Он никогда не ищет и не жаждет *незаслуженного*. Если он берется за достижение цели, которая требует сотрудничества многих людей, он рассчитывает только на собственную силу убеждения и их добровольное согласие.

Не стоит и говорить о том, что человек разумный никогда не изменит и не исказит собственные критерии и суждения, чтобы воззвать к иррациональности, глупости или нечестности других людей. Он знает, что такой путь стал бы для него самоубийством. Знает он и то, что достичь успеха или цели можно, имея дело с людьми разумными. Если при данном стечении обстоятельств победа в принципе возможна, только это условие ее обеспечит. В свободном обществе именно оно и приносит победу, какой бы тяжелой ни была борьба за нее.

Разумный человек никогда не отбрасывает обстоятельства, сопутствующие интересующим его вопросам, и понимает, что эта борьба — *в его интересах*, ибо знает, что в его интересах сама свобода. Знает он и то, что борьба включает возможность поражения. Никто не гарантирует ему автоматического успеха, независимо от того, ведет ли он борьбу с природой или с другими людьми. Поэтому он судит о своих интересах не по какому-то поражению или по отдельной фазе борьбы, а по долгосрочным критериям; и принимает на себя полную ответственность знания, *какие условия необходимы для осуществления его целей*.

В) *Ответственность*. Большинство людей избегает интеллектуальной ответственности. Именно поэтому они так удивляются поражению.

Большинство желает добиться чего-то, не учитывая никаких обстоятельств. Цели их маячат в туманной пустоте, в которой растаяло всякое представление о средствах. Они пробуждают себя к действию на очень короткий срок, которого хватает только на фразу «Я хочу». На этом они останавливаются и ждут, словно все дальнейшее зависит от какой-то неведомой силы.

Таким образом, они отказываются судить о мире и обществе. Они принимают мир как данность. «Не я его создал», — твердят они, слепо пытаюсь приспособиться к непонятным требованиям неизвестных лиц, которые мир создали.

Однако смирение и самонадеянность — две стороны одной и той же психологической медали. Под стремлением отдаться на милость других скрывается мнимое право требовать чего-то от своих хозяев.

«Метафизическое смирение» открывает свое истинное лицо в бесконечном множестве ситуаций. Например, кто-то хочет разбогатеть, однако не утруждает себя задуматься о том, какие средства, действия и условия для этого необходимы. Ему ли судить? Не он сотворил этот мир, и «никто не давал ему шанса».

Или, скажем, девушка мечтает о любви, однако и не думает о том, что такое любовь, какие ценности она несет и есть ли в ней самой те качества, за которые ее можно полюбить. Это — не ее ума дело. Любовь, на ее взгляд, необъяснимое благо, и она им жаждет обладать, считая, что при разделе благ кто-то ее обделил.

Или, например, родители истинно и глубоко скорбят, что их сын (или дочь) их не любит, хотя не считаются с его (ее) убеждениями или даже пытаются уничтожить их ценности и цели. В мире, который сотворили не они, дети любят родителей автоматически.

Или, например, человек ищет работу, но не задумывается о том, что требуется, чтобы выполнять ее хорошо. Какое он имеет право судить? Не он же сотворил этот мир. Кто-то должен его обеспечить. Как? *Да как-нибудь*.

Один мой знакомый архитектор из Европы рассказывал мне о своем путешествии в Пуэрто-Рико. С каким негодованием на весь мир описывал он бедность и убожество тамошней жизни. Потом он стал говорить о том, какие чудеса могло бы им подарить современное жилищное строительство; в своих мечтах он все просчитал, включая холодильники и ванны, выложенные

красивой плиткой. «Кто за это заплатит?» — спросила я. Оскорбленно, почти заносчиво он ответил: «А вот это меня не касается! Архитектор должен придумать, что *надо* сделать. О деньгах пусть позаботится кто-нибудь другой!»

Такова психологическая подоплека всех «социальных реформ», и «государств всеобщего благосостояния», и «благородных начинаний», и разрушения мира.

Не желая отвечать за собственные интересы и жизнь, человек не желает думать об интересах и жизни других людей, которые должны каким-то образом обеспечить исполнение его желаний.

Если в перечень средств для достижения наших желаний мы позволим проникнуть словечку «как-нибудь», мы распишемся в «метафизическом смирении», которое, в психологическом плане, можно назвать паразитизмом. Как сказал в своей лекции Натаниэль Бранден, «как-нибудь» всегда рано или поздно сводится к «кому-нибудь».

Г) *Усилия*. Разумный человек знает, что он должен добиться исполнения своих желаний собственными силами. Для него не тайна, что ни богатства, ни работы, ни других человеческих ценностей просто нет в том ограниченном, статичном количестве, которое нужно просто разделить между всеми. Он знает, что все услуги и привилегии надо прежде всего произвести, что прибыль одного человека совсем не обязательно влечет за собой убытки другого, что человек достигает своей цели не за счет тех, кто этой цели не достиг.

Таким образом, он не считает и не может считать, что у него есть какие-то незаслуженные односторонние претензии к другому человеку, и в достижении своих целей не полагается на милость какого-то человека или определенного фактора. Ему нужны клиенты, но не кто-то определенный; ему нужна работа, но не именно эта.

Если он сталкивается с конкуренцией, он либо пытается потягаться с противниками, либо ищет другую линию. Нет такой работы, чтобы лучшее, более профессиональное ее выполнение осталось незамеченным и неоцененным, уж по крайней мере — в *свободном* обществе. Спросите у любого руководителя!

Только пассивные, паразитирующие адепты «метафизики смирения» видят в каждом конкуренте угрозу, ибо добиться положения в обществе за счет собственных достоинств им представляется невозможным. Они не так воспринимают жизнь. Себя они видят как взаимозаменяемые посредственные существа, которые не могут ничего предложить и борются в «статичной» вселенной за чье-то беспричинное расположение.

Разумный человек знает, что он не может рассчитывать только на «удачу», «шанс» или чье-то расположение. Для него нет такого понятия, как «единственный шанс»; это гарантировано ему самим существованием конкурентной борьбы. Он не считает, что какая-то определенная цель или ценность незаменима. Он знает, что незаменимы только люди, которых мы любим.

Знает он и то, что среди разумных людей нет конфликта интересов даже тогда, когда дело касается любви. Как и любая другая ценность, любовь — не какое-то статичное количество, которое надо разделить между всеми, а безграничное чувство, которое надо заслужить. Любовь к одному человеку не угрожает любви к другому, равно как и любовь ко всем членам семьи, если они ее заслуживают. Самая привилегированная форма любви, влюбленность, не имеет никакого отношения к конкуренции. Если два человека влюблены в одну и ту же женщину, то, что она испытывает к одному из них, не обусловлено тем, что она испытывает к другому. Если она выбрала одного, то «проигравший» не мог получить того, что получил «победитель».

Только среди нелогичных людей, которые руководствуются одними эмоциями, никак не связывая любовь со шкалой ценностей, бытуют случайные соперничества, конфликты и выбор наугад. Но в этих случаях победитель мало что получает. Среди тех, кем правят эмоции, ни любовь, ни любое другое чувство не имеют особой ценности.

Таковы вкратце четыре основных принципа, которыми руководствуется человек, определяя свои интересы.

Теперь вернемся к тому вопросу, который мы поставили изначально: два человека претендуют на одно и то же место. Посмотрим, каким образом он пренебрегает или противостоит этим четырем принципам.

А) *Окружающая действительность*. Само то, что два человека претендуют на одно место, совсем не доказывает, что один из них заслуживает его или имеет на него право и что его интересы будут ущемлены, если он его не получит.

Б) *Обстоятельства*. Оба претендента должны знать, что, если они хотят занять какую-то должность, их цель осуществима только при том условии, если какая-то компания может им ее предоставить. Мало того, у компании должна быть возможность рассматривать несколько (не меньше двух) кандидатур на вакансию; а другими словами, единственный претендент не получил бы места, компании пришлось бы закрыться. Таким образом, существующая конкуренция не только не вредит, но способствует их интересам, хотя одному из них и придется проиграть.

В) *Ответственность*. Ни один из претендентов не имеет нравственного права считать, что он не хочет принимать во внимание все эти соображения, ему просто нужна работа. Он не имеет права выражать какое-то желание или «интерес», не зная толком, что требуется для его осуществления.

Г) *Усилия*. Кто бы ни получил эту работу, он заслужил ее (при условии, что наниматель разумен). Это преимущество обусловлено его личными заслугами, а не тем, что «принесли в жертву» кого-то, кто и не имел законного права на эту работу. Если человек не получает того, что никогда ему и не принадлежало, вряд ли можно говорить о «принесении в жертву его интересов».

То, что здесь описано, применимо только к сфере отношений между разумными людьми в свободном обществе. В свободном обществе человеку не приходится иметь дела с нелогичными людьми. Он может просто избегать их.

В несвободном обществе никто не может добиться исполнения своих целей; в нем невозможно ничего, кроме постепенного разрушения.

Природа государства

Государство — это институт, которому принадлежит исключительная власть вводить определенные правила общественного поведения в данном географическом регионе.

Нужен ли людям такой институт и зачем?

Поскольку разум человека — его основное орудие выживания, его способ получать знание, чтобы направлять свои действия, то он не выживет без свободы думать и действовать сообразно своему разумному суждению. Это не значит, что человек должен жить один и необитаемый остров лучше всего соответствует его потребностям. Люди могут получать огромную пользу от общения друг с другом. Социальная среда наиболее благоприятна для их успешного выживания, *но только на определенных условиях.*

«В общественной жизни есть две великие ценности — знание и торговля. Человек — единственный биологический вид, способный передавать и увеличивать свой запас знаний из поколения в поколение. Потенциально доступные человеку знания гораздо больше того, что один человек может накопить за свою жизнь; каждый получает неизмеримую пользу от знаний, приобретенных другими. Второе великое преимущество — разделение труда: оно позволяет человеку отдавать свои силы конкретному виду работы и торговать [обмениваться] с теми, кто специализируется в других областях. Благодаря такому сотрудничеству все участники получают [...] больше знаний, умений и плодов, чем они могли бы получить, производит каждый из них все необходимое на необитаемом острове или на ферме с натуральным хозяйством.

Однако именно эти преимущества ограничивают и определяют тип людей, которые могут быть полезны друг другу, а также соответствующий тип общества. Это — разумные, творческие, независимые люди в разумном, продуктивном, свободном обществе» («Объективистская этика»).

Общество, которое отнимает у индивидуума плод его труда, или порабощает его, или пытается ограничить его свободу мысли, или принуждает его действовать вопреки собственному рассудку; общество, которое порождает конфликт между собственными постановлениями и требованиями человеческой природы, строго говоря — не общество, а толпа, сплоченная узаконенным правлением бандитов. Такое общество нельзя оправдать; оно уничтожает все преимущества человеческого сосуществования и представляет собой не источник благ, а смертельную угрозу. Жизнь на необитаемом острове безопаснее и несравненно предпочтительнее жизни в советской России или нацистской Германии.

Если люди собираются жить вместе в мирном, продуктивном, рациональном обществе и общаться друг с другом к обоюдной выгоде, они должны принять основной социальный принцип, без которого невозможно ни одно нравственное и цивилизованное общество, — принцип прав личности.

Признавать права личности значит признавать и принимать условия, необходимые природе человека для нормальной жизни.

Права человека могут быть нарушены только при помощи физической силы. Только посредством физического насилия один человек может лишить другого жизни, или поработить его, или ограбить, или помешать ему преследовать собственные цели, или заставить его действовать вопреки собственному мнению.

Непременное условие цивилизованного общества — исключение физического насилия из социальных отношений и, таким образом, утверждение принципа, согласно которому если люди хотят общаться друг с другом, они могут делать это только посредством *разума*, то есть посредством обсуждения, убеждения и добровольного непринудительного соглашения.

Необходимое следствие права человека на жизнь — его право на самозащиту. В цивилизованном обществе силу можно применять только для возмездия и только против тех, кто первым ее использовал. Причины, которые превращают первоначальное использование физической силы в зло, делают ее использование в целях возмездия нравственным императивом.

Если бы какое-нибудь «пацифистское» общество отказалось от ответного применения силы, оно бы стало совершенно беспомощным и было бы отдано на милость первого же разбойника, который решил пренебречь моралью. Такое общество добилось бы результатов, прямо противоположных своим ожиданиям; вместо того, чтобы уничтожить зло, оно бы его поощрило и вознаградило.

Если бы общество не обеспечивало своих членов организованной защитой от насилия, то каждый гражданин был бы вынужден ходить вооруженным, превратить свой дом в крепость, стрелять во всякого незнакомца, приближающегося к его двери, или же вступить в банду, созданную для самозащиты, и воевать с другими бандами, созданными с той же целью, в результате чего общество выродилось бы в хаотическое господство банд, то есть в господство грубой силы, в непрерывную племенную войну доисторических дикарей.

Использование физической силы, даже ответное, нельзя отдать на усмотрение отдельных граждан. Мирное сосуществование невозможно, если человек живет под постоянной угрозой того, что любой из «ближних» в любой момент может применить против него силу. Будут ли намерения ближних благими или дурными, будет ли их решение разумным или неразумным, будет ли лежать в основе их действий чувство справедливости, или невежество, или предрассудок, или злой умысел, в любом случае использование силы против одного человека нельзя отдать на произвольное усмотрение другого.

Представьте себе, например, что произойдет, если человек потеряет бумажник, решит, что его украли, будет вламываться во все дома и пристрелит первого, кто на него косо посмотрит, приняв этот взгляд за доказательство вины.

Применение силы в целях возмездия требует *объективных* правил, позволяющих доказать, что преступление совершено и кем оно совершено, а также *объективных* правил, позволяющих определить, что такое наказание и как оно осуществляется. Те, кто пытается преследовать преступников без таких правил, — толпа линчевателей. Если бы общество предоставило применение карающей силы отдельным гражданам, оно бы выродилось в охлократию, самосуд и бесконечную цепь кровавых междоусобиц.

Если физическую силу надо исключить из общественных отношений, людям нужен институт, который бы защищал их права при наличии *объективного* свода правил.

Это и есть задача государства, хорошего государства. Это его основная цель, его единственное моральное оправдание и причина, по которой оно нужно людям.

Государство — это способ поместить репрессивное использование физической силы под объективный контроль, то есть под контроль объективно определенных законов.

Основное различие между частным действием и государственным действием, которым сегодня упорно пренебрегают, заключается в том, что государство обладает монополией на легальное использование физической силы. Это необходимо, так как монополия сдерживает и ограничивает использование силы. По той же причине действия государства должны быть строго обозначены, определены и ограничены. Нельзя допускать ни намека на каприз или прихоть; государство должно уподобиться безликому роботу, чья единственная движущая сила — законы. Если общество хочет быть свободным, его государство должно находиться под контролем.

При правильном общественном устройстве частное лицо с юридической точки зрения свободно действовать, как ему угодно (до тех пор, пока не нарушает права других), а

государственный чиновник при исполнении служебных обязанностей связан законом в каждом своем поступке. Частное лицо может делать все, кроме того, что *запрещено* законом; государственный чиновник не может делать ничего, кроме того, что *разрешено* законом.

Это способ подчинить «силу» «праву». В этом заключается американская идея «правления законов, а не людей».

Понимание природы законов, подобающих свободному обществу, и источника полномочий его государства можно вывести из понимания природы и цели идеального государства. Основной принцип обеих указан в Декларации независимости: «Для обеспечения этих прав [человека] учреждены среди людей государства, облачаемые справедливой властью с согласия подданных...»

Поскольку защита прав человека — единственная надлежащая цель государства, она же окажется единственным надлежащим предметом законодательства. Все законы должны быть основаны на правах человека и нацелены на их защиту. Все законы должны быть *объективны*, (и объективно объяснимы): перед тем как они совершат то или иное действие, люди должны четко понимать, что закон запрещает им делать и почему, что считается преступлением и какое наказание их ждет, если они это преступление совершат.

Источник полномочий государства — «согласие подданных». Это значит, что государство — не властелин, а слуга или представитель граждан. Государство как таковое не имеет никаких прав, кроме тех, которые ему препоручили граждане для особой цели.

Есть только один основной принцип, который индивидуум должен принять, если он хочет жить в свободном цивилизованном обществе, — отказ от применения физической силы и передача государству своего права на физическую самозащиту, чтобы оно могло осуществлять упорядоченное, объективное, юридически определенное применение силы. Другими словами, он должен признать *разделение силы и прихоти* (любой, включая его собственную).

Что произойдет, если возникнет разногласие между двумя людьми по поводу дела, которое касается их обоих?

В свободном обществе люди не обязаны общаться друг с другом. Они делают это по добровольному соглашению или, если задействован параметр времени, по договору. Если договор расторгнут произвольным решением одного человека, это может нанести огромный финансовый ущерб другому, и жертве останется отнять собственность обидчика в качестве компенсации. Но и здесь применение силы нельзя оставить на усмотрение частных лиц. Ситуация эта подводит к одной из самых важных и самых сложных функций государства — функции арбитра, который разрешает споры между людьми в соответствии с объективными законами.

В любом мало-мальски цивилизованном обществе преступники составляют незначительное меньшинство. Однако осуществляемая гражданскими судами защита условий договоров и принуждение к их выполнению — самая насущная потребность мирного общества. Без такой защиты нельзя построить цивилизацию и сохранить ее.

В отличие от животных, люди не могут выжить, действуя в пределах текущего момента. Человек должен ставить себе цели и стремиться к ним на протяжении некоторого времени; он должен рассчитывать свои действия и планировать свою жизнь надолго вперед. Чем умнее он и чем больше знает, тем больше период, на который он планирует. Чем более развита и сложна цивилизация, тем долгосрочнее в ней планирование деятельности. Соответственно тем больше срок, на который заключаются договоры между людьми, и тем насущнее потребность обеспечить надежность таких договоров.

Даже примитивное бартерное общество не сможет функционировать, если его член договаривается обменять мешок картошки на корзину яиц, но, получив яйца, отказывается

отдать картошку. Представьте себе, к чему приведет такой своевольный поступок в индустриальном обществе, где делают поставки на миллиарды долларов в кредит, или заключают договоры на строительство многомиллионных сооружений, или подписывают арендные контракты на 99 лет вперед.

Нарушение контракта одной из сторон подразумевает косвенное использование физической силы. Заключается оно, по сути, в том, что один человек получает материальные блага, товары или услуги от другого человека, после чего отказывается за них платить и удерживает их силой (на том основании, что обладает ими), а не по праву, то есть без согласия истинного владельца. Мошенничество включает такое же косвенное применение силы: оно заключается в приобретении материальных благ без согласия хозяина с помощью ложных предлогов или ложных обещаний. Вымогательство — еще одна разновидность косвенного применения силы; оно состоит в том, чтобы приобрести материальные блага, не предоставляя в обмен других благ, а угрожая насилием, физической расправой или нанесением ущерба.

Некоторые из таких действий очевидно преступны. Другие, например одностороннее расторжение контракта, быть может, не имеют за собой преступного умысла, а вызваны безответственностью и неразумностью. Третьи могут представлять сложные случаи с претензиями на правоту обеих сторон. Но каким бы ни было дело, все подобные конфликты должен рассмотреть с позиции объективно сформулированных законов и разрешить беспристрастный арбитр, претворяющий эти законы в жизнь, то есть судья (и присяжные, если нужно).

Обратите внимание на ключевой принцип, которым руководствуется правосудие во всех этих случаях: ни один человек не может получить никаких ценностей от других людей без согласия владельцев, и, как следствие этого, права одного человека не могут быть отданы на милость одностороннего решения, случайного выбора, иррационального желания, *прихоти* другого человека.

Такова, в сущности, правильная цель государства. Оно делает существование в обществе приемлемым для людей, охраняя то благо и борясь с тем злом, которые люди могут причинить друг другу.

Надлежащие функции государства распадаются на три широкие категории, причем все они затрагивают вопросы физического насилия и защиты прав человека. Это *полиция*, защищающая граждан от преступников, *армия*, защищающая граждан от внешних врагов, и *суды*, разрешающие конфликты между гражданами в соответствии с объективными законами.

Эти три категории включают много производных и дополнительных пунктов, и реализация их на практике, в форме особого законодательства, бесконечно запутана. Все это относится к области специальной науки, философии права. В сфере реализации может быть множество ошибок и разногласий, но главное — осуществить сам принцип, согласно которому цель закона и государства состоит в защите прав личности.

Сегодня этот принцип забывают, его игнорируют, от него уклоняются. Результат — теперешнее состояние мира, когда человечество, пятясь назад, дошло до абсолютистской тирании, до первобытной жестокости и господства грубой силы.

Необдуманно протестуя против таких тенденций, некоторые поднимают вопрос о том, можно ли считать государство злом по самой его природе, а анархию — идеальным общественным строем. Анархия как политическое понятие — наивная и расплывчатая абстракция; по вышеупомянутым причинам общество без государства будет отдано на милость первого же подвернувшегося преступника, который ввергнет его в хаос междоусобной войны. Но человеческая безнравственность — не единственное препятствие для анархии; даже общество, все члены которого ведут себя совершенно разумно и безукоризненно, не сможет

функционировать без власти. Потребность в объективных законах и в арбитре для разрешения конфликтов между честными людьми неизбежно повлечет за собой учреждение государства.

Новейшая разновидность анархической теории, завладевшая умами некоторых молодых апологетов свободы, представляет собой странную бессмыслицу под названием «конкурирующие государства». Принимая основную предпосылку современных государственников, которые не видят разницы между функциями государства и функциями промышленности, между силой и производством, и защищают государственную собственность на коммерческие предприятия, сторонники теории «конкурирующих государств» выбирают другую сторону той же медали и заявляют, что, поскольку конкуренция столь полезна в бизнесе, ее нужно применить и к государству. Они считают, что вместо единственного государства-монополиста должно быть несколько разных государств в одном географическом регионе, которые бы боролись за отдельных граждан, каждый из которых волен «покупать» у того государства, которое он выберет.

Если мы вспомним, что единственная услуга, которую государство может предложить, это насильственное ограничение свободы, можно себе представить, что будет означать конкуренция в этой области.

Нельзя сказать, что эта теория противоречит сути используемых понятий, поскольку она просто не понимает понятий «конкуренция» и «государство». Нельзя назвать ее и туманной абстракцией, поскольку она лишена всякой связи с реальностью, и конкретизировать ее мы не можем даже ориентировочно и приблизительно. Достаточно привести одну иллюстрацию. Представьте, что Смит, клиент Государства А, подозревает, что Джонс, клиент Государства Б, его ограбил. Бригада полиции А направляется к дому Джонса, где ее встречают полицейские Б и заявляют, что они не считают действительной жалобу Смита и вообще не признают полномочий Государства А. Что будет дальше? Подумайте сами.

У понятия «государства» долгая извилистая история. Какой-то намек на правильную функцию государства существовал в любом организованном обществе, проявляясь в таких явлениях, как признание скрытой (а часто — даже несуществующей) разницы между государством и бандой грабителей; ореол уважения и нравственного авторитета, присущий государству как хранителю «закона и порядка»; тот факт, что даже самые дурные чиновники и правители считали нужным поддерживать некое подобие порядка и правосудия, хотя бы только на уровне повседневной жизни и традиции, и претендовали на какое-нибудь — мистическое или социальное — оправдание своей власти. Короли абсолютистской Франции использовали для этого «божественное право» монарха; современные диктаторы советской России тратят миллионы на пропаганду, призванную оправдать их правление в глазах порабощенных подданных.

Человечество очень недавно осознало истинную задачу государства. Это очень недавнее достижение, ему всего двести лет, и обязаны мы им «отцам» Американской революции. Они не только определили природу и нужды свободного общества, но и разработали способ воплотить их в жизнь. Свободное общество, как любое другое человеческое творение, не может быть создано случайно, по желанию или благодаря «добрым намерениям» лидеров. Чтобы создать свободное общество и сохранить его свободным, нужна сложная правовая система, построенная на объективно обоснованных принципах; система, не зависящая от мотивов, морального облика или намерений любого отдельно взятого чиновника; система, не оставляющая никакого шанса, никакой лазейки для возникновения тирании.

Американская система ограничений и противовесов была именно такой. Некоторые противоречия в Конституции оставили возможность для роста этатизма, но несравненным достижением была сама идея Конституции как способа определить и ограничить власть

государства.

Сейчас, когда мы так дружно стараемся забыть эти достижения, не принято слишком часто повторять, что Конституция — ограничение, налагаемое на государство, а не на частных лиц; что она предписывает, как себя вести государству, а не частным лицам; что это она не дарует полномочия государству, а гарантирует гражданам защиту от него.

Теперь подумайте о нравственной и политической извращенности доминирующего сегодня взгляда на государство. Вместо того чтобы быть защитником прав человека, государство становится их самым опасным нарушителем; вместо того, чтобы охранять свободу, государство насаждает рабство; вместо того, чтобы защищать людей от насилия, государство осуществляет насилие и принуждение, когда ему угодно; вместо того, чтобы служить источником объективности в человеческих отношениях, государство создает какое-то пещерное царство неуверенности и страха при помощи необъективных законов, толкование которых оставлено на усмотрение любого бюрократа; вместо того, чтобы защищать людей от опасной прихоти ближних, государство присваивает себе право на прихоть. Таким образом, мы быстро приближаемся к полной инверсии, когда государство будет вольно делать все что угодно, а граждане смогут действовать только по разрешению. Это будет та фаза развития, на которой человечество находилось в самые темные периоды своей истории, господство грубой силы.

Уже не раз отмечали, что, несмотря на материальный прогресс, человечество не достигло хоть сколько-нибудь похожих успехов в нравственном развитии. Обычно за этим наблюдением следует какой-нибудь пессимистический вывод о природе человека. Да, уровень нравственного развития людей позорно низок. Но если учесть чудовищную нравственную извращенность государств (допущенную альтруистско-коллективистской моралью), под властью которых люди были вынуждены жить большую часть своей истории, можно, скорее, удивляться тому, что им удалось сохранить хотя бы подобие цивилизации и что неуничтожимая крупица самоуважения помогла им остаться существами, ходящими на двух ногах.

Кроме того, можно яснее увидеть природу тех политических принципов, которые надо принять и поддержать как составную часть битвы за умственное возрождение человека.

1963

Большой бизнес — преследуемое меньшинство американского общества

Если некая маленькая группа людей всегда считается виновной стороной в случае всякого ее столкновения с любой другой группой, невзирая на реальную суть и обстоятельства конфликта, — разве это не преследование? Если эту группу всегда заставляют расплачиваться за грехи, ошибки или недостатки любой другой группы, разве это не преследование? Если эта группа вынуждена жить под пятой молчаливого террора, по особым законам, которым неподсудны все остальные люди на свете, по законам, которых обвиняемый не в силах ни понять, ни предугадать заранее, по законам, которые обвинитель может трактовать, как ему только заблагорассудится, — разве это не преследование? Если эту группу карают не за ее недостатки, но за достоинства, не за бездарность, но за способности, не за неудачи, но за успехи, и чем крупнее успех, тем суровее кара — разве это не преследование?

Если вы ответили «да» — спросите себя, какую чудовищную несправедливость вы допускаете, поддерживаете или совершаете сами. Группа, о которой я говорю, — это бизнесмены Америки.

В наши дни защита прав меньшинств практически единогласно провозглашена нравственным принципом высочайшей пробы. Но этот принцип, запрещающий дискриминацию, большинство «либеральных» интеллектуалов воплощает в жизнь дискриминационным образом: исключительно в приложении к расовым либо религиозным меньшинствам. К маленькому, эксплуатируемому, очерняемому, беззащитному меньшинству, которое состоит из бизнесменов, он не применяется.

Но все беззакония, творимые по отношению к расовым или религиозным меньшинствам, имеют свои столь же некрасивые, бесчеловечные параллели в том, чему подвергаются бизнесмены. Задумайтесь, к примеру, какая это подлость — никого не выслушав, невзирая на факты, одних людей проклинать, а других прощать. Нынешние «либералы» считают бизнесмена виновной стороной в любом конфликте с профсоюзом, без учета фактов и обстоятельств дела, и кичатся тем, что не отступят от пикетчиков «никакими правдами и неправдами». Задумайтесь, какая это подлость — судить людей по двойным стандартам и отказывать одним в правах, дарованных другим. Нынешние либералы признают право трудящихся (большинства) зарабатывать на жизнь (получать зарплату), но отказывают бизнесменам (меньшинству) также зарабатывать на жизнь (извлекать прибыль). Если рабочие борются за повышение зарплаты, это приветствуется как «общественный прогресс»; если бизнесмены стремятся повысить прибыль, это охаивается как «эгоистическая алчность». Если уровень жизни рабочих низок, «либералы» винят в этом бизнесменов; но если бизнесмены пытаются увеличить экономическую эффективность своей фирмы, расширить рынки сбыта, наращивать финансовую окупаемость своих проектов, что позволяет понизить цены и повысить зарплату, те же самые «либералы» клянут их за «торгашество». Если некоммерческий фонд — то есть, подчеркиваю, организация, которая не сама заработала свой капитал, — спонсирует какую-то телепередачу, пропагандируя свою конкретную позицию, «либералы» объявляют это «просвещением», «образованием», «искусством» и «службой на благо общества»; если же бизнесмен спонсирует телепередачу и хочет, чтобы та отражала его позицию, «либералы» вопят, что это «цензура», «давление» и «диктаторский режим». Когда три местных отделения Международного братства водителей грузовиков пятнадцать дней отказывались возить в город Нью-Йорк молоко — со стороны «либералов» не было слышно ни криков возмущения этим аморальным поступком, ни

проклятий; но только вообразите, что начнется, если поставки молока, пусть даже на час, прекратят бизнесмены — с ними быстро расправятся при помощи такой узаконенной разновидности погромов и «судов Линча», как «травовые аресты».

Сталкиваясь где бы то ни было, в любой культуре, в любую эпоху, в любом обществе с феноменом предвзятости, несправедливости, преследования и слепой, безрассудной ненависти к некому меньшинству — ищите шайку, которой эта травля приносит выгоду, ищите тех, чьим тайным интересам служит освященное жертвоприношение данных конкретных лиц. Вы непременно обнаружите, что преследуемое меньшинство служит козлом отпущения для неких сил, которые стараются не разглашать свои собственные цели. Каждое общественное движение, планирующее поработить страну, каждая диктатура или потенциальная диктатура нуждаются в меньшинстве, которое можно превратить в козла отпущения, виновного в невзгодах народа, и под этим предлогом оправдать свои собственные претензии на диктаторскую власть. В советской России таким козлом отпущения стала буржуазия; в нацистской Германии — евреи; в Америке — бизнесмены.

На этап диктатуры Америка еще не перешла. Но дорога к нему прокладывается уже не одно десятилетие — американские бизнесмены служат козлами отпущения для «государственных» движений самого разного толка: коммунистических, фашистских, сторонников «всеобщего благосостояния». За чьи грехи и злодеяния спрашивают с бизнесменов? За грехи и злодеяния чиновников.

Отождествление экономической власти с властью политической — это отравленный «комплексный обед» из идей, навязываемый нам теоретиками этатизма. Вы все знакомы с ним по таким избитым афоризмам, как «голодный человек — человек несвободный» или «рабочему без разницы, кто ему отдает приказы — бизнесмен или чиновник». Большинство людей принимает эти заблуждения за чистую монету — в то же самое время зная, что беднейший батрак в Америке пользуется куда большей свободой и безопасностью, чем богатейший комиссар в советской России. Каков же основной, фундаментальный, ключевой принцип, отличающий свободу от рабства? Это принцип добровольного действия, противопоставляемого физическому насилию или принуждению.

Разница между властью политической и всеми другими видами «власти» над обществом, между правительством и любой частной организацией, состоит в том факте, что правительству принадлежит узаконенная монополия на применение физической силы. Этот отличительный признак так важен, а его значение в наши дни так редко признается, что я просто вынуждена заострить на нем ваше внимание. Позвольте повторить: правительству принадлежит узаконенная монополия на применение физической силы.

По закону ни один индивид, ни одна группа граждан, ни одна частная организация не имеют права первыми применять физическую силу против других индивидов или групп, а также принуждать их действовать в противоречии с их собственным добровольным выбором. Такую власть имеет только правительство. Действия правительства по самой своей природе направлены на принуждение. Политическая власть по природе своей есть власть принуждать к подчинению под угрозой телесного и материального урона: угрозой экспроприации собственности, заключения под стражу или под угрозой смерти.

Туманные метафоры, наспех выдуманные образы, набросанные беспечной рукой стихи, а также заблуждения (вроде «голодный человек — человек несвободный») не меняют того факта, что властью физического насилия является исключительно политическая власть, а слово «свобода» в политическом контексте имеет лишь один смысл — отсутствие физического насилия.

Правительству свободной страны приличествует выполнять одну-единственную функцию

— осуществлять защиту прав личности, то есть, подчеркиваю, защищать индивида от физического насилия. Подобное правительство не имеет права первым применять физическую силу к кому бы то ни было — ведь индивид тоже лишен этого права и соответственно не может никому его делегировать. Но индивид наделен другим правом — правом самозащиты; его-то он и делегирует правительству, которое должно осуществлять это право в упорядоченной, детерминированной законом форме. Справедливое правительство имеет право применять физическую силу только в качестве меры воздействия и только против тех, кто применяет ее первыми. Функции справедливого правительства таковы: полиция защищает граждан от преступников; вооруженные силы — от иноземных захватчиков; судебные учреждения оберегают собственность граждан и заключенные ими договора от нарушений посредством насилия или мошенничества, а также улаживают конфликты между гражданами в соответствии с объективно сформулированными законами.

Эти-то политические принципы и стали основой Конституции США; основой, которая подразумевается, но не излагается открытым текстом. В Конституции имелись противоречия, позволившие государственнымникам найти лазейку и, расширив ее, постепенно разрушить все здание.

Государственник — это человек, считающий, что некоторые люди имеют право принуждать, подвергать насилию, порабощать, обкрадывать и убивать других людей. Чтобы воплотиться в жизнь, эта позиция должна быть укомплектована политической доктриной, признающей за правительством — государством — право первым применять физическую силу против собственных граждан. Как часто следует применять силу, против кого, до какой степени, с какой целью и в чьих интересах — это уже неважно. Фундаментальный принцип и конечные результаты всех государственных доктрин одни и те же: диктатура и разрушение. Остальное — лишь дело времени.

Теперь рассмотрим вопрос об экономической власти.

Что такое экономическая власть? Это власть производить и торговать произведенным продуктом. В свободной экономической системе, где ни один человек и ни одна группа людей не могут использовать физическое насилие против кого-либо, экономической власти можно достичь лишь добровольным путем: по добровольному выбору и согласию всех, кто участвует в процессе производства и торговли. В свободной рыночной экономике все цены, зарплата и прибыли детерминированы — не капризами богачей либо бедняков, не чьей бы то ни было «алчностью» либо нуждой — но законом спроса и предложения. Механизм свободного рынка отражает и суммирует все экономические предпочтения и решения всех участников. Люди торгуют своими товарами и услугами по обоюдному согласию к обоюдной выгоде, в соответствии со своей личной, никем не навязываемой оценкой ситуации. Человек может разбогатеть лишь в том случае, если он в состоянии предложить лучшие ценности — усовершенствованные товары или услуги по более низкой цене, чем ценности, предлагаемые другими.

В условиях свободного рынка богатство приобретает путем свободного, всеобщего, «демократического» голосования — через продажи и покупки, совершаемые каждым индивидом, который принимает участие в экономической жизни страны. Предпочитая купить данный продукт, а не какой-то иной, вы голосуете за преуспевание его производителя. При голосовании такого рода каждый голосует лишь в тех областях, о которых компетентен судить: по поводу того, что он сам предпочитает, чем интересуется, в чем нуждается. Никто не властен решать за других или подменять чужое мнение своим; никто не властен сам себя назначить «голосом народа», сделав народ безгласным и бесправным.

А теперь позвольте сообщить, чем отличается экономическая власть от политической:

экономическая власть осуществляется позитивными средствами, предлагая людям вознаграждение, стимул, плату, ценность; политическая власть осуществляется негативными средствами, зиждясь на угрозе наказания, физического вреда, заключения под стражу, умиротворения. Орудие бизнесмена — ценности; орудие чиновника — страх.

Индустриальный прогресс, которого добилась Америка за краткий полуторавековой период, стал легендой: ему нет аналогов ни в одном другом уголке Земли ни в какую другую эпоху. Американские бизнесмены как класс проявили величайшую гениальность в области производства и достигли самых блестящих успехов, какие только отмечены в экономической летописи человечества. Как же их вознаградила наша культура и ее столпы-интеллектуалы? Поставила в положение ненавистного, преследуемого меньшинства. В положение козла отпущения за злодеяния чиновников.

Чистого, нерегулируемого капитализма, верного принципу «laissez-faire», на свете не существует и еще не существовало нигде и никогда. Существовали лишь так называемые «экономические системы смешанного типа», то есть смесь, в той или иной пропорции, свободы и контроля, добровольного выбора и правительственного насилия, капитализма и этатизма. Америка была самой свободной страной на свете, но элементы этатизма присутствовали в ее экономике с самого начала. Эти элементы пошли в рост под влиянием американских интеллектуалов, в большинстве своем приверженных философии этатизма. Интеллектуалы — идеологи, интерпретаторы, оценщики событий общественной жизни — соблазнились возможностью захватить политическую власть, от которой отказались все остальные слои общества, и установить отвечающий их представлениям «хороший» общественный строй под дулом пистолета, то есть, подчеркиваю, посредством узаконенного физического насилия. Свободных бизнесменов они проклинали, видя в них образчик «эгоистичной алчности», а чиновников восславляли, провозглашая «слугами народа». Анализируя социальные проблемы, эти интеллектуалы постоянно хулили «экономическую власть» и обеляли власть политическую, тем самым сваливая бремя вины с политиков на бизнесменов.

Все злодеяния, злоупотребления и несправедливости, традиционно приписываемые бизнесменам и капитализму, имели своей причиной отнюдь не свободный рынок или нерегулируемую экономику, но вмешательство правительства в экономическую жизнь. Гиганты американской промышленности — например, Джеймс Джером Хилл, Коммодор Вандербильт, Эндрю Карнеги, Дж. П. Морган — «сделали себя сами», сколотив капитал благодаря личным способностям, а также свободному товарно-денежному обмену на свободном рынке. Но существовала и другая порода бизнесменов: плоды смешанной экономики, люди с политическими связями, которые делали деньги благодаря полученным от правительства особым привилегиям, — такова была «Большая Четверка» Центрально-Тихоокеанской железной дороги. Именно стоявшая за действиями подобных бизнесменов политическая власть — власть искусственных, незаслуженных, экономически несправедливых привилегий — вызывала неурядицы в экономике страны, трудности, спады и все усиливающиеся протесты масс. Но виновниками всего этого считались свободный рынок и свободные бизнесмены. Любое катастрофическое последствие правительственного контроля использовалось как оправдание для расширения контроля и власти правительства над экономикой.

Если бы меня попросили выбрать дату, которая знаменует роковой поворот на дорогу, ведущую к окончательной гибели американской промышленности, а также самый позорный законодательный акт, я выбрала бы 1890-й год и Закон Шермана ^[18] — этот зародыш, из которого выросла гротескная, иррациональная, злокачественная опухоль, состоящая из не имеющих исковой силы, неисполнимых, не подлежащих рассмотрению в суде противоречий под названием «антитрестовские законы» (они же — антимонопольные).

Согласно антимонопольным законам, человек становится преступником в тот же миг, как начинает заниматься бизнесом, что бы он ни делал. Если он исполняет один из этих законов, ему угрожает уголовная ответственность по нескольким другим. Например, если он устанавливает цены, которые покажутся каким-то чиновникам слишком высокими, его можно будет привлечь за монополию, а точнее, за успешное «намерение монополизировать рынок»; если установленные им цены ниже, чем у его конкурентов, его можно привлечь за «нечестную конкуренцию», или «ограничение свободы торговли»; если же он устанавливает те же цены, что и его конкуренты, его можно привлечь за «тайное соглашение», или «сговор».

Рекомендую вам ознакомиться с замечательной книгой под названием «Антитрестовские законы США», написанной Э. Д. Нилом. Это научное, беспристрастное, объективное исследование; автор, английский государственный служащий, не является приверженцем идей свободного предпринимательства; судя по всему, его скорее можно отнести к «либералам». Но он не путает факты с интерпретациями, а тщательно разделяет их; а факты, которые он излагает, — это просто роман ужасов.

Мистер Нил подчеркивает, что стержнем антимонопольных законов является запрет на «ограничение свободы торговли» — и что точно сформулировать, в чем, собственно, состоит «ограничение свободы торговли», невозможно. Соответственно никто не в силах сказать, что именно запрещает или разрешает человеку этот закон; интерпретация всецело остается на совести судебных учреждений. Чтобы уяснить для себя современный смысл этих законов хотя бы в общих чертах, бизнесмен или его поверенный должен изучить весь корпус так называемого прецедентного права — полные материалы судебных дел, прецедентов и решений; вот только завтра, на следующей неделе или в будущем году прецеденты могут быть поправлены, а решения — аннулированы. «С 1890 года суды США постоянно пытаются на примере каждого отдельного дела определить, что именно запрещает данный закон. Ни одно широкое определение, по сути, не в состоянии раскрыть смысл этого статута...» .

Это значит, что бизнесмен никак не может узнать заранее, являются ли его действия законными или противозаконными, виновен он или нет. Это значит, что бизнесмен должен жить под дамокловым мечом внезапной, непредсказуемой катастрофы, под риском потерять все имущество или быть приговоренным к тюремному заключению; его карьера, репутация, собственность, капитал, труды всей его жизни отдаются на милость любого амбициозного молодого чиновника, который по любой причине, будь то интересы общества или что-то личное, властен возбудить против бизнесмена дело.

Законы с обратной силой (или *ex post facto*) — иными словами, подчеркиваю, законы, карающие человека за деяние, которое в момент его совершения не считалось по закону преступным, — не признаны всей традицией англосаксонской юриспруденции и, более того, прямо противоречат ей. Это форма преследования, практикуемая только диктаторскими режимами и запрещенная всеми цивилизованными кодексами законов. Она особо запрещена и Конституцией США. Считается, что в Соединенных Штатах законов с обратной силой не существует и их ни к кому не применяют — ни к кому, кроме бизнесменов. Ситуация, когда человек вплоть до вынесения ему приговора не имеет способа узнать, законно или противозаконно он поступил когда-то, очевидно, является примером применения закона с обратной силой.

Рекомендую вам блестящую маленькую книжицу Гарольда Флеминга под названием «Десять тысяч заповедей». Она написана общедоступным языком и — ясно, просто, логично, с множеством подробных, документированных примеров из жизни — рисует такую яркую картину антимонопольных законов, что слово «кошмар» в применении к ним кажется слишком слабым определением.

«Одна из опасностей, — пишет мистер Флеминг, — которых должны остерегаться нынешние менеджеры по продажам, состоит в том, что некая политика, которой вы сегодня решили придерживаться по совету самых компетентных юристов, в будущем году может быть объявлена противоправной. В таком случае преступление и наказание возникают "задним числом"... Другая опасность — возможность исков о возмещении убытков в тройном размере, которые также могут быть поданы задним числом. Фирмы, которые с самыми благими намерениями нарушили закон в силу вышеописанных обстоятельств, подлежат искам о трехкратном возмещении убытков по антимонопольным законам, даже когда их преступление — это деяние, которое в момент его совершения единодушно считалось вполне законным и этичным, а противоправным оказалось лишь вследствие обновленной интерпретации закона».

Что говорят на эту тему бизнесмены? В докладе под названием «Презумпция виновности» (18 мая 1950 года) Бенджамин Ф. Фейрлесс, тогдашний президент «Юнайтед Стейтс Стил Корпорейшен», сказал:

«Джентльмены, вам и без меня известно, что в случае, если у нас сохранится существующая система законов — и если мы беспристрастно будем применять ее ко всем нарушителям, — управление практически всеми фирмами Америки, как крупными, так и мелкими, будет осуществляться на расстоянии, из Атланты, Синг-Синга, Ливенурта и Алькатраса».

Правовая оценка действий настоящих преступников значительно справедливее той, которой достаиваются действия бизнесменов. Права преступника защищены объективным законодательством, объективными процессуальными нормами, объективными нормами доказательственного права. Пока его вина не доказана, преступник наделен презумпцией невиновности. Только бизнесмены — производители, добытчики, кормильцы, атланты, несущие на своих плечах всю нашу экономику, — считаются виновными от природы; только от них требуют доказательств их невиновности в отсутствие каких бы то ни было четких критериев невиновности либо доказательств вины, только их отдадут на волю капризов, благосклонности или злого умысла любого политика, который жаждет саморекламы, любого расчетливого государственника, любой завистливой посредственности, которая, случайно пробравшись в государственный аппарат, просто пожелает развлечься борьбой с монополиями.

Лучшие или просто более-менее порядочные государственные служащие много раз протестовали против необъективного характера антимонопольных законов. В том же докладе мистер Фейрлесс цитирует заявление Лоуэлла Мейсона, тогдашнего члена Федеральной комиссии по делам торговли: «Американский деловой мир подвергается преследованиям, издевательствам и даже, можно сказать, избиениям со стороны абсурдно-лоскутной правовой системы; многие из ее законов несправедливы, непонятны и не имеют исковой силы. В законах, регулирующих торговлю между разными штатами, царит такой сумбур, что Правительство может подобрать обвинение буквально против любого концерна, который оно захочет привлечь к суду. Заявляю — эта система возмутительна» .

Далее мистер Фейрлесс цитирует письменное замечание члена верховного суда США Джексона, сделанное в тот период, когда последний возглавлял антитрестовское отделение департамента юстиции:

«Юристы не имеют возможности определить, какое деяние в сфере бизнеса будет квалифицировано судом как законное. Эта ситуация приводит в замешательство как бизнесменов, желающих подчиняться закону, так и правительственных чиновников, пытающихся исполнять закон».

Однако не все представители власти разделяют это замешательство. В книге мистера Флеминга цитируется нижеследующее заявление Эммануэля Селлера, председателя юридического комитета палаты представителей, сделанное им на симпозиуме Ассоциации

адвокатов штата Нью-Йорк в январе 1950 года:

«Я хочу открыто заявить, что буду энергично бороться против любых антитрестовских законов, для которых будет характерно подробное перечисление нарушений и замена общих принципов перечнями частных. Дабы обеспечивать динамичность общества, закон должен оставаться пластичным, как вода».

А я, в свою очередь, хочу открыто заявить, что «пластичный закон» — это эвфемизм для «произвола власти» (ведь «пластичность» — основная черта права при всякой диктатуре) и что «динамичное общество», чьи законы, пластичные как вода, выходят из берегов и затопляют всю страну, можно найти в нацистской Германии либо в советской России.

Трагическая ирония всей этой истории в том, что антимонопольные законы были созданы и доселе поддерживаются так называемыми «консерваторами», якобы защищающими свободу предпринимательства. Это прискорбное доказательство того факта, что у капитализма никогда не было истинных защитников среди философов. Отсюда также ясно, что у людей, провозглашавших себя защитниками капитализма, напрочь отсутствовали политическая принципиальность, знания об экономике и способность понимать характер политической власти. Концепция свободной конкуренции, осуществляемой по закону, — это абсурдное противоречие. Это значит: под дулом пистолета принуждать людей к свободе. Это значит: отдать защиту свободы личности в руки деспотической власти железных бюрократических циркуляров.

Каковы были исторические предпосылки, приведшие к принятию Закона Шермана? Прочитую книгу мистера Нила:

«В 70—80-е годы XIX века силы, стоявшие за движением, которое добивалось срочного принятия этих законов, все крепили и крепили... После Гражданской войны основной мишенью подозрений и враждебности стали железные дороги с их привилегиями, чартерами и субсидиями. Возникло много организаций с такими откровенными названиями, как "Национальная антимонопольная лига за удешевление грузовых железнодорожных перевозок"».

Вот красноречивый пример ситуации, когда бизнесмены становились козлом отпущения за грехи политиков. Люди бунтовали именно против привилегий, дарованных политиками: чартеров и субсидий для железных дорог; именно эти привилегии поставили железные дороги Запада вне конкуренции и наделили их монопольной властью, со всеми вытекающими из этого возможностями злоупотреблений. Но средство против этого, внесенное в свод законов республиканским конгрессом, состояло в поправке свободы бизнесменов и расширении власти политиков над экономикой.

Если вы хотите увидеть подлинную трагедию Америки, сравните идеологическую мотивировку антимонопольных законов с их реальными результатами. Вновь процитирую книгу мистера Нила:

«По-видимому, недоверие американцев ко всем носителям неограниченной власти — это и есть сокровенная, извечная причина принятия антитрестовской политики, более серьезная, чем все экономические позиции или радикальные политические тенденции. Это недоверие можно наблюдать в разных сферах жизни американцев... Оно отражено в теориях "сдержек и противовесов" и "разделения властей". В США тот факт, что некоторые люди имеют власть над действиями и капиталами других, иногда признается неизбежным, но никогда не считается чем-то положительным. Всегда существует надежда, что любой конкретный носитель власти — и политической, и экономической (курсив мой. — *A.P.*). — не защищен от угрозы посягательств со стороны других властей...

С этой фундаментальной мотивацией антитрестовского законодательства вполне согласуется его опора не на административные регулятивные механизмы, а на юридический

процесс и средства судебной защиты. Знаменитый принцип, закрепленный в Декларации прав жителей республики Массачусетс, — "это будет правление на основании закона, а не по воле людей" — этот любимый афоризм американцев представляет собой ключ к смыслу антимонопольных законов. Без него невозможно объяснить, почему, на диво всем зарубежным наблюдателям, в США так спокойно мирятся с антитрестовским курсом те же самые слои, особенно "большой бизнес", которые часто и дорогой для себя ценой попадают под его бич» .

Вот в чем трагедия. Вот к чему приводят людские намерения в отсутствие четкой философской теории, которая руководила бы их практическим осуществлением. Первое свободное общество в истории человечества уничтожило свою свободу — во имя ее защиты. Неумение отличить политическую власть от экономической позволило людям предположить, что насилие может стать подходящим «противовесом» производства, что первое и второе — действия одного порядка, могущие служить взаимными регуляторами, что «авторитет» бизнесмена и «авторитет» чиновника — взаимозаменяемые вещи, соперничающие за одну и ту же социальную роль. Стремясь к «правлению на основании закона, а не по воле людей», сторонники антитрестовских законов предали всю экономику Америки во власть самой капризной воли людей, до которой далеко любой диктатуре.

В отсутствие каких бы то ни было рациональных оценочных критериев люди пытались судить о бесконечно сложных проблемах свободного рынка, руководствуясь поверхностной идеей «большого». Это можно слышать и по сей день: «большой бизнес», «большое правительство», «большие профсоюзы» осуждаются как враги общества без учета характера, причин и функций их «большой величины», словно быть большим само по себе уже дурно. Рассуждая в таком духе, можно заключить, что «большой гений» — например, Эдисон — и «большой гангстер» — например, Сталин — злодеи одного и того же порядка: один заполонил мир бесчисленными ценностями-изобретениями, а второй — бесчисленными могилами, но оба делали свое дело в очень большом масштабе. Сомневаюсь, что найдется человек, который поставит знак равенства между Эдисоном и Сталиным, — но между ними та же разница, что и между большим бизнесом и большим правительством. Единственное средство, благодаря которому правительство может стать большим, — это физическая сила; единственное средство, благодаря которому бизнес может стать большим в условиях свободной экономики, — это успешный производительный труд.

В реальности для существования свободной конкуренции необходим один-единственный фактор: чтобы механизм свободного рынка работал беспрепятственно, не стесняемый ничем. Единственная мера, которую может принять правительство, чтобы защитить свободу конкуренции, это соблюдать принцип «Laissez-faire!» (это выражение можно вольно перевести как «Не мешайте!»). Но антимонопольные законы создали прямо противоположные условия — и дали результаты, прямо противоположные задуманным.

С помощью законов конкуренцию регулировать нельзя; нет критериев, которые позволяли бы установить, кто с кем вправе конкурировать, сколько конкурентов должно существовать в каждой данной отрасли; какова должна быть их относительная мощь или их так называемые «важнейшие рынки», какие цены они должны устанавливать, какие методы конкуренции «справедливы», а какие «несправедливы». Ни на один из этих вопросов нельзя ответить — это все вопросы того рода, на какие в силах ответить только механизм свободного рынка.

В отсутствие принципов, стандартов или критериев, которыми можно было бы руководствоваться, антимонопольное прецедентное право представляет собой летопись семидесяти лет софистики, казуистики и мелочного педантизма, нелепого, оторванного от действительности не менее, чем диспуты средневековых схоластов. Разница только одна: у схоластов было больше резонов для вопросов, которые они поднимали, да и от исхода их

диспутов не зависели жизнь и судьбы конкретных людей.

Позвольте привести несколько примеров антитрестовских судебных процессов. В деле «Ассошиэйтед-пресс против США» 1945 года агентство Ассошиэйтед-пресс было признано виновным, так как его уставные нормы ограничивали количество членов агентства и очень затрудняли процесс приема в него новоучрежденных изданий. Прочитую книгу мистера Нила:

«В защиту Ассошиэйтед пресс был высказан аргумент, что существуют и другие агентства новостей, от которых новые издания могут получать информацию... Суд решил, что... Ассошиэйтед пресс коллективно организовано таким образом, что его члены оказываются в более выгодном положении и более конкурентоспособны, чем не-члены, и, следовательно, оно тем самым ограничивает свободу торговли, хотя на не-членов и не оказывается принуждение к отказу от конкуренции. [Служба новостей «Ассошиэйтед пресс» расценивается как столь ценное учреждение, что, сделав ее услуги эксклюзивными для себя, члены ассоциации создают реальные трудности для потенциальных конкурентов (курсив здесь и далее мой. — А. Р.)... Тот факт, что члены создали это учреждение... для себя, не является оправданием; новые издания все равно должны получить возможность пользоваться им на разумных условиях, если только для них не будет эффективнее участвовать в конкурентной борьбе без пользования им».

Чьи, собственно, права тут попраны? И чей, собственно, каприз осуществляется властью закона? Что нужно для того, чтобы удостоиться статуса «потенциального конкурента»? Если завтра я вздумаю конкурировать с «Дженерал моторс», какими своими учреждениями эта компания будет вынуждена со мной поделиться, чтобы мне было «эффективно» с ними конкурировать?

В деле «Милгрэм против Лоуз» 1951 года тот факт, что некий кинотеатр типа «драйв-ин» безуспешно пытался получить от крупных дистрибьюторов кинофильмов картины из категории премьерных, был квалифицирован как доказательство сговора дистрибьюторов. Каждая из фирм, очевидно, имела веские причины для отказа кинотеатру, и защита заявила, что каждый дистрибьютор принимал свое решение самостоятельно, не зная о решениях других. Но суд постановил, что «явно схожие методы ведения дел» являются достаточным доказательством сговора и что «дополнительные доказательства существования реального соглашения между ответчиками не требуются». Апелляционный суд поддержал это решение, постановив, что такая улика, как схожие деяния, позволяет возложить заботу о доказательствах на самих ответчиков: те, дескать, должны «предоставить объяснения своих предполагаемых согласованных действий», будто они и так этих объяснений не предоставили.

Задумаемся, на какие выводы наталкивает данное дело. Если три бизнесмена независимо друг от друга приходят к одному и тому же очевидному, лежащему на поверхности решению — они, что же, должны доказывать отсутствие сговора между собой? А если два бизнесмена замечают, что третий осуществляет некую разумную идею, — должны ли они бояться ее перенять, из страха быть обвиненными в сговоре? Допустим, идею переняли — не потащат ли ее автора в суд, чтобы обвинить в сговоре на основании действий двух людей, о которых он в жизни не слыхивал? И как он должен «предоставлять объяснения» своего гипотетического проступка и доказывать свою невиновность?

В том, что касается патентов, антимонопольные законы вроде бы уважают права владельца патента — до той поры, пока он пользуется этим патентом в одиночку, ни с кем не делясь. Но если он предпочитает не ввязываться в патентную войну с конкурентом, который владеет патентами той же широкой категории — если они оба отказываются от политики «человек-человеку-волк», в которой так часто обвиняют бизнесменов, — если они решают создать патентный пул и предоставить лицензии на его использование кучке других производителей, которых выберут сами, — тогда антимонопольные законы возьмутся за них обоих. В случае

патентного пула наказание предполагает принудительное предоставление лицензий на патенты всякому, кто только пожелает, — либо решительную конфискацию патентов.

Процитирую книгу мистера Нила:

«Принудительное предоставление лицензий на патенты — даже действительные патенты, приобретенные законным образом благодаря изобретательской деятельности служащих самой этой компании, — применяется не для наказания фирм, а для того, чтобы впустить на рынок конкурирующие компании... Например, в деле "Ай-Си-Ай и Дюпон" в 1952 году судья Райан... принял решение о принудительном предоставлении лицензий на существующие патенты в отраслях, к которым относились их ограничительные соглашения, а также на патенты на улучшения, но не на новые патенты в этих отраслях. В данном случае была принята еще одна дополнительная мера, которая в последнее время получила широкое распространение: и "Ай-Си-Ай", и "Дюпону" было вменено в обязанность снабжать всех желающих по разумной цене техническими руководствами с подробным изложением методов практического использования патентов».

Обратите внимание — это не расценивается как «карательная мера»!

Чей, собственно, разум, таланты, достижения и права приносятся тут в жертву — и ради чьей незаслуженной выгоды?

Самое шокирующее решение суда в этой мрачной череде (вплоть до, но не включая, 1961 года) было вынесено — как, в сущности, и следовало ожидать — видным «консерватором», судьей Лернедом Хэндом. Его жертвой была «ALCOA». Это было дело «Соединенные штаты против Алюминий-Компани-оф-Америка» 1945 года.

По антitrustовским законам монополия как таковая еще не противоправна; противоправно «намерение монополизировать». Чтобы признать «ALCOA» виновной, судья Лернед Хэнд должен был найти доказательства того, что «ALCOA» агрессивными мерами старалась вытеснить конкурентов с рынка. Вот какие улики он нашел и взял за основу решения, которое перекрыло кислород одному из крупнейших промышленных концернов Америки. Процитирую мнение судьи Хэнда:

«Не было неизбежным фактом, что она [«ALCOA»] будет всегда предвосхищать заранее повышение спроса на металл в слитках и окажется готова удовлетворять его. Ничто не заставляло ее удваивать и учетверять свои мощности прежде, чем на рынок выйдут другие. Она настаивает, что никогда не вытесняла конкурентов; но мы не можем и помыслить о более эффективном способе вытеснения, чем постоянное стремление использовать любую новую благоприятную возможность, как только она появляется, и противопоставлять всякому новичку новые мощности, уже включенные в огромную структуру, имея на своей стороне преимущество опыта, связей с торговыми партнерами и элитарные кадры».

Здесь беззастенчиво обнажаются смысл и цели антимонопольных законов — единственный смысл и цели, какие эти законы могут иметь, каковы бы ни были намерения их авторов: наказать талант за талантливость, наказать успех за успешность и принести плодотворный гений в жертву требованиям завистливой посредственности.

Если приложить этот принцип к любой производительной деятельности, если запретить умному человеку «использовать любую новую благоприятную возможность, как только она появляется», чтобы, не дай бог, не отбить охоту у какого-нибудь дурня или труса, который вздумает с ним соперничать; это будет означать, что никто из нас, вне зависимости от его профессии, не должен вырываться вперед, совершенствоваться, расти, поскольку личное совершенствование в любой его форме — будь то повышенная скорость машинистки, лучшая картина художника, повышенный процент исцеленных у врача — может отбить охоту у новичков, которые еще не принялись за дело, но рассчитывают состязаться с лучшими.

В качестве последнего, завершающего штриха я процитирую примечание мистера Нила к его отчету о деле «ALCOA»:

«Интересно отметить, что главным доводом, на основании которого экономические обозреватели бранили алюминиевую монополию, был именно тот факт, что "ALCOA" постоянно упускала возможности для экспансии и так недооценила спрос на металл, что на заре обеих мировых войн Соединенные Штаты испытывали острую нехватку производственных мощностей».

А теперь я попрошу вас держать в голове характер, суть и реальные результаты антимонопольных законов,

пока я буду описывать кульминацию, по сравнению с которой меркнут прочие страницы этой отвратительной летописи: дело «Дженерал Электрик» от 1961 года.

Перечень обвиняемых по этому делу читается как список героев отрасли производства электротехнического оборудования: «Дженерал Электрик», «Вестингха-уз», «Оллис-Чэлмерс» и еще двадцать шесть компаний поменьше. Их преступление состояло в том, что они снабдили вас всеми незаменимыми удобствами и благами электрической эры, от тостеров до генераторов. Именно за это преступление их и покарали — поскольку они не могли снабжать нас всем этим и вообще заниматься бизнесом, не нарушая антимонопольных законов.

Против них было выдвинуто обвинение в заключении тайных соглашений по установлению цен на свою продукцию и в мошенничестве с ценами на торгах. Но в отсутствие таких соглашений крупные компании могли так сбить цены, что мелкие производители, не имея возможности с ними соперничать, разорились бы, в то время как те же самые крупные компании, согласно все тем же антимонопольным законам, угодили бы под суд по обвинению в «намерении монополизировать».

Процитирую статью Ричарда Остина Смита под названием «Невероятный электрический заговор» в журнале «Форчун» (апрель и май 1961 года): «Если "Дженерал Электрик" решит занять 50 процентов рынка, это нанесет смертельную рану даже таким сильным компаниям, как "Ай-Ти-И Секит Брейкер"». В той же статье показано, что соглашения по установлению цен не приносили выгоды «Дженерал Электрик», а напротив, наносили урон ее интересам, что, по сути, «Дженерал Электрик» оказалась в роли «дойной коровы», и ее руководство, зная об этом, хотело выйти из «заговора», но оказалось в безвыходной ситуации (из-за антитрестовских и других правительственных постановлений).

Лучшим доказательством того, что антимонопольные законы были главной причиной, вынудившей электротехническую промышленность к «сговору», стали последствия этого дела — в том, что касалось «решения суда в соответствии с заключенным сторонами мировым соглашением». Когда компания «Дженерал Электрик» объявила о своем намерении понизить цены до предела, запротестовали именно мелкие компании и правительство в лице Антитрестовского отделения.

В статье мистера Смита упомянуто, что встречи «заговорщиков» начались в результате учреждения Ведомства по ценообразованию. Во время войны цены на электрооборудование были фиксированными — их устанавливало правительство, и высшие руководители в области электротехнической промышленности устраивали совещания для обсуждений общего курса. Этот обычай удержался и после ликвидации данного ведомства.

Можно ли вообразить себе логику, по которой политика фиксированных цен является преступлением, если ее практикует бизнесмен, но заботой об обществе, если ее практикует правительство? Даже в мирное время найдется много отраслей — например, автомобильные грузоперевозки, — в которых цены фиксирует правительство. Если фиксирование цен вредит конкуренции, промышленности, производству, потребителю, экономике в целом и «интересам

общества» — как утверждают сторонники антимонопольных законов — то каким же образом эта же вредоносная политика в руках правительства оборачивается благотворной? Поскольку на этот вопрос нет рационального ответа, я советую вам усомниться в экономических познаниях, намерениях и мотивах ярых борцов с монополиями.

Электрические компании даже не пытались защищаться от обвинения в «заговоре». Они заявили о нежелании оспаривать обвинение — «nolo contendere». Дело в том, что антитрестовские законы представляют такую смертельную опасность для тех, кто пытается оправдаться, что защита становится практически невозможной. В этих законах сказано, что на компанию, признанную виновной в нарушении антитрестовских законов, может подать в суд любой ее клиент, считающий себя пострадавшим, и требовать трехкратного возмещения убытков. В случае такого крупномасштабного дела, как процесс над электротехнической промышленностью, подобные иски о возмещении убытков могут, как это легко себе представить, разорить всех ответчиков подчистую. Перед лицом подобной угрозы кто сможет или захочет защищаться в суде, где нет ни объективных законов, ни объективных критериев вины или невиновности, ни объективного способа оценить свои шансы на успех?

Попытайтесь вообразить, какие крики негодования, какие протесты раздадутся со всех сторон, если какую-либо другую группу людей, какое-либо другое меньшинство подвергнут суду, где приняты все меры, чтобы сделать защиту невозможной, — или где законы предписывают: чем серьезнее обвинение, тем опаснее защита. Очевидно, в случае с истинными преступниками верно прямо противоположное: чем серьезнее преступление, тем больше предосторожностей и мер защиты, предписанных законом, дабы предоставить ответчику шанс на оправдание за недостаточностью улик. Только бизнесмены должны являться в суд связанными и с кляпом во рту.

А с чего же началось правительственное расследование положения в электротехнической промышленности? В статье мистера Смита указано, что расследование началось из-за жалоб «Ти-Ви-Эй» и требований сенатора Кифауэра. Это было в 1959 году, при республиканской администрации Эйзенхауэра. Прочитую журнал «Тайм» от 17 февраля 1961 года:

«Сбор улик по антитрестовским делам часто дается правительству с большими трудностями, но на сей раз ему повезло. В октябре 1959 года на судебном процессе по некоему антитрестовскому делу четыре бизнесмена из Огайо были приговорены к тюремному заключению после того, как заявили nolo contendere. (Один из них по дороге в тюрьму покончил с собой.) Эта новость посеяла панику в рядах руководителей электротехнических компаний, находившихся под следствием, и некоторые из них в обмен на гарантии неприкосновенности согласились дать показания о своих коллегах. На основе улик, полученных от этих людей (которые в большинстве своем сохранили свои посты), правительство подытожило дело».

Таковыми словами здесь описывают не гангстеров, не рэкетиров, не торговцев наркотиками — а бизнесменов, производителей, творцов, умелых и компетентных членов общества. Однако теперь антитрестовские законы, на этом новом этапе, явно стараются превратить деловой мир в мир криминала, с осведомителями, подсадными утками, провокаторами, особыми «сделками»... в общем, все как в сериале «Неприкасаемые» о борьбе ФБР с мафией.

Семь руководителей электротехнических компаний были приговорены к тюремному заключению. Мы никогда не узнаем, что происходило за кулисами этого судебного процесса или на переговорах компаний с правительством. Были ли эти семеро ответственны за гипотетический «заговор»? Если они и виновны, то действительно ли их вина тяжелее, чем у других? Кто на них «настучал» — и за что? Может быть, их оклеветали? Может быть, они поддались на провокацию? На алтарь чьих интересов, амбиций, целей их принесли в жертву? Мы не знаем. В ситуации, созданной антитрестовскими законами, этого никак не узнать.

Когда эти семеро, не имевшие возможности защищаться, явились в суд, чтобы выслушать приговор, их адвокаты обратились к судье с ходатайством о помиловании. Прочитав тот же отчет в «Тайм»: «Первым выступил адвокат ... вице-президента компании "Вестингхауз", с ходатайством о помиловании. Его клиент, сообщил адвокат, является членом приходского управления епископальной церкви Св. Иоанна в Шэроне, штат Пенсильвания, и жертвует на благотворительные учреждения для детей-инвалидов». Адвокат другого ответчика подчеркнул, что его клиент — «директор клуба для мальчиков в Скенектади, штат Нью-Йорк, и председатель комитета по сбору средств на постройку новой иезуитской семинарии в Ленноксе, штат Массачусетс».

Итак, адвокаты этих людей нашли нужным сослаться не на их достижения, не на их таланты в области индустрии, не на их ум и даже не на их права — но на их альтруистичное «служение» «благосостоянию нуждающихся». Значит, нуждающиеся имеют право на благосостояние — но те, кто это благосостояние обеспечивает, такого права не имеют. Благосостояние и права производителей не были сочтены заслуживающими признания и учета. Вот самый страшный обвинительный акт против нынешнего состояния нашей культуры.

Последним штрихом всего этого отвратительного фарса стало заключение судьи Гейни. Он сказал: «Тут поставлено на кон не что иное, как дальнейшее существование той экономики, благодаря которой Америка стала великой державой, системы свободного предпринимательства». С этими словами он нанес системе свободного предпринимательства самый сокрушительный удар за всю ее историю, отправив в тюрьму семерых из ее лучших представителей и тем самым провозгласив, что к тем же самым людям, которые сделали Америку великой, — бизнесменам — теперь в силу самой их натуры и профессии следует относиться как к преступникам.

В лице этих семерых он вынес приговор системе свободного предпринимательства.

Эти семеро стали мучениками. С ними обошлись, как с жертвенными животными — по сути, то было человеческое жертвоприношение, воистину более жестокое, чем человеческие жертвы, которые приносили доисторические дикари в джунглях.

Если вас волнует справедливое отношение к меньшинствам, помните, что бизнесмены — небольшое меньшинство, очень небольшое по сравнению со всеми бескультурными ордами нашей планеты. Помните, сколь многим вы обязаны этому меньшинству — и какому позорному преследованию оно подвергается. Помните также, что самое маленькое меньшинство на свете — это отдельный человек. Те, кто отказывают отдельному человеку в правах, не могут претендовать на звание защитников меньшинств.

Что нам следует делать в этой связи? Нам следует потребовать пересмотра и переработки всего вопроса об антитрестовской деятельности. Нам следует оспорить его философскую, политическую, экономическую и нравственную базу. Нужно создать Союз гражданских свобод для бизнесменов. Нашей конечной целью должна стать отмена антитрестовских законов; это потребует долгой борьбы на интеллектуальном и политическом фронте; но тем временем и в качестве первого шага мы должны потребовать отменить положения этих законов о наказании тюремным заключением. И без того дурно, что к людям применяют штрафы и другие финансовые санкции по законам, которые единодушно считаются необъективными, противоречивыми и не способными сформулировать состав преступления, поскольку нет двух юристов, которые одинаково трактовали бы их смысл и применение; в таких двусмысленных законов просто непристойно далее упоминать о санкциях в форме тюремного заключения. Следует положить конец возмутительному обычаю сажать в тюрьму людей за то, что они нарушают невразумительные законы, не нарушить которые просто невозможно.

Бизнесмены — это единственная категория людей, отличающая капитализм и

американский образ жизни от тоталитарного этатизма, который постепенно подминает под себя весь остальной мир. Все другие слои общества — рабочие, фермеры, профессионалы, ученые, солдаты — существуют и при диктатурах, хотя и прозябают в страхе, в цепях, в нищете, в условиях прогрессирующего саморазрушения. Но при диктатуре такая категория, как бизнесмены, отсутствует. Их место занимают вооруженные бандиты: чиновники и комиссары. Бизнесмены — символ свободного общества, символ Америки. Если они погибнут, в тот миг, когда они погибнут, с ними погибнет цивилизация. Но если вы хотите бороться за свободу, вы должны начать с борьбы за ее обойденных наградами, непризнанных, негласных, но лучших представителей — американских бизнесменов.

1962

Не мешайте!

Сегодня, когда «экономический рост» страны под угрозой и нынешняя президентская администрация обещает «стимулировать» его, а именно добиться всеобщего благосостояния, еще больше регулируя экономику и тем самым растрачивая непроеденный национальный продукт, мне хочется спросить: многие ли знают, как возникло выражение «laissez-faire»^[19]?

В XVII столетии Франция была абсолютной монархией. Ее государственное устройство характеризовали как «абсолютизм, ограниченный хаосом». Король имел полную власть над жизнью, работой и имуществом любого подданного, и лишь благодаря тому, что чиновники брали взятки, французы могли выгадать себе хотя бы жалкую толику неофициальной свободы.

Людовик XIV был наитипичнейшим деспотом — претенциозной посредственностью с грандиозными амбициями. Его правление принято считать одной из самых блестящих страниц французской истории: он дал стране «национальную миссию» в форме длительных и победоносных войн; он превратил Францию в великую державу и культурную столицу Европы. Но «национальные миссии» стоят денег. Финансовая политика его правительства повлекла за собой хронический экономический кризис. Чтобы избавиться от него, прибегли к старинному проверенному средству — непрерывному повышению налогов. Таким образом, из страны высасывали все соки.

Кольбер, главный советник Людовика XIV, был одним из первых этактистов Нового времени. Он полагал, что процветания страны можно достичь при помощи правительственных циркуляров, а единственный способ увеличить доходы казны от налогообложения — «экономический рост». Исходя из этого, Кольбер посвятил себя «повышению общего уровня благосостояния путем поощрения промышленности». Это поощрение состояло в скрупулезной регламентации и бессчетных чиновничьих запретах, душивших предпринимательскую деятельность. Результаты были самые плачевные.

Кольбер не был врагом предпринимателей; во всяком случае, он относился к ним не хуже, чем наша нынешняя администрация. Напротив, он прилагал все усилия, чтобы раскормить на убой этих жертвенных животных, — и как-то раз (этому было суждено войти в историю), создав фабрикантов, попросил у них совета — чем он может помочь промышленности. Тогда один из фабрикантов, некто Лежандр, ответил: «Laissez-nous faire!» («Не мешайте нам!»)

Судя по всему, французские предприниматели XVII столетия были куда отважнее, чем их американские коллеги XX, да и в экономике разбирались лучше. Они знали: «помощь» бизнесу со стороны властей не менее пагубна, чем гонения, и единственное, что власть в силах сделать для экономического процветания нации, — это решиться на бездействие.

Говорить, что истины XVII века сегодня уже не соответствуют действительности, поскольку тогда путешествовали на лошадях, а теперь — в реактивном самолете, равносильно утверждению, что мы, в отличие от наших предков, не нуждаемся в пище, так как носим пиджаки и джинсы, а не парики и кринолины. Из-за недалекновидного увлечения конкретными деталями (а может быть, из-за неумения вычленять и провидеть принципы, отличая существенное от несущественного) люди не замечают, что экономический кризис нашего времени — самый древний и самый застарелый в истории.

Сосредоточимся на главном. В прединдустриальную эпоху государственное регулирование не смогло привести ни к чему, кроме паралича экономики, массового голода и разрухи. Что произойдет, если навязать такое регулирование высокоиндустриализированной экономике? Что легче регламентировать — работу на ручных ткацких станках и в примитивных кузницах или работу сталелитейных домен, авиационных заводов и концернов по производству электроники?

Кто скорее согласится работать под принуждением — стадо забитых людей, занятых неквалифицированным ручным трудом, или бесчисленные мириады творческих личностей, залог возникновения и дальнейшего существования индустриальной цивилизации? И если государственное регулирование не может принудить к работе даже первых, какова же слепота современных этактистов, надеющихся подчинить вторых?

Эпистемологический метод этактистов состоит в том, чтобы бесконечно спорить о частных, специфических, вырванных из контекста, сиюминутных вопросах, никогда не допуская их обобщения, не упоминая об исходных принципах или конечных последствиях и тем самым обрекая своих последователей на своеобразное расщепление рассудка. Этот словесный туман они нагоняют, чтобы утаить два основополагающих факта: а) производство и благосостояние — плоды человеческого разума; и б) государственная власть принуждает посредством физической силы.

Стоит признать истинность этих двух положений, как сам собой напрашивается неизбежный вывод: нельзя насильно принудить разум к мышлению. Человеческий мозг не будет работать под дулом револьвера.

Вот в чем суть. Из нее и надо исходить, а все остальное по сравнению с ней — лишь мелкие подробности.

Конкретные экономические особенности разных стран так же несхожи между собой, как все множество существовавших и ныне существующих на Земле культур и социумов. Тем не менее вся история человечества — это, несмотря на пестроту внешних форм, наглядное проявление одного и того же основополагающего принципа: уровень экономического процветания, достижений и развития народа прямо пропорционален уровню политической свободы и, более того, обусловлен им. Примером служат Древняя Греция, Возрождение, XIX век.

В наше время разница между Западной и Восточной Германией так красноречиво доказывает эффективность свободной экономики по сравнению с подконтрольной государству, что прочие аргументы излишни. Невозможно воспринимать всерьез ни одного теоретика, который замалчивает существование этого контраста между двумя типами экономики, оставляя вытекающие из него проблемы неразрешенными, его причины — невыясненными, а преподанные им уроки — неусвоенными.

А теперь рассмотрим судьбу Англии, этого «мирного социалистического эксперимента», страны, которая совершила самоубийство способом демократического голосования. Там обошлось без насилия, без кровопролития, без террора, просто постепенно удушали страну «демократически» навязанным государственным регулированием. Но вслушайтесь в нынешние сетования на «утечку мозгов», на то, что лучшие и способнейшие, в особенности ученые и инженеры, покидают Англию и ищут приюта в тех уголках мира, где еще остается малая толика свободы.

Не забывайте, что Берлинскую стену воздвигли, чтобы пресечь «утечку мозгов» из Восточной Германии; вспомните, что спустя сорок пять лет тотального регулирования экономики советская Россия, располагающая чуть ли не самыми плодородными землями в мире, не может прокормить свое население и вынуждена импортировать пшеницу из полукапиталистической Америки; прочтите книгу Вернера Келлера «Восток минус Запад равняется нулю», где приведены красноречивые (и неопровержимые) доказательства неспособности советской экономики, — и *только после этого* решайте, что лучше, свобода или регулирование.

Неважно, на какие цели человек намеревается использовать свое богатство; сперва его нужно произвести. В том, что касается экономики, нет никаких отличий между мотивами

Кольбера и президента Джонсона. Цель обоих — повысить благосостояние нации. Для ее экономической производительности совершенно неважно, становятся ли деньги, вымогаемые при помощи налогового ведомства, незаслуженным подарком Людовику XIV или незаслуженным подарком «обездоленным». Если вас заковали, неважно, зачем это сделали — в «высоких» целях или в низких, во благо бедных или богатых, из-за чьей-то «нужды» или чьей-то «алчности». Тот, кто закован, производить не может.

Конечная судьба всех закованных в цепи экономических систем одинакова, какими бы гипотетическими доводами ни оправдывали их порабощение.

Рассмотрим некоторые из оправданий:

Создание «потребительского спроса»? Интересно подсчитать, сколько домохозяек, живущих на социальное пособие, сумеют обеспечить тот же «спрос», который создавался благодаря капризам мадам де Ментенон и ее многочисленных соратниц.

«Справедливое» распределение богатства? Привилегированные фавориты Людовика XIV не обладали таким несправедливым преимуществом над простым народом, как наши «околополитические аристократы», уже состоявшиеся и еще не развернувшиеся продолжатели Билли Сол-Эстеса и Бобби Бейкера^[20].

«Национальные интересы»? Если существует некий «национальный интерес», на алтарь которого надо приносить в жертву права и интересы отдельных граждан, то лучшим его блюстителем был как раз Людовик XIV. Его мотовство в большинстве случаев не было «эгоистичным»; он и впрямь превратил Францию в мировую державу, одновременно разрушив ее экономику. (Это значит, что он завоевал «престилс» в кругах других тоталитарных правителей — ценой благосостояния, будущего и даже гибели собственных подданных.)

Забота о нашем «культурном» или «духовном» прогрессе? Сомнительно, чтобы субсидируемый государством театр когда-либо сравнился по уровню с тем созвездием гениев (Корнель, Расин, Мольер), которое в качестве «меценатов» поддерживали Людовик XIV и его двор. Но никто никогда не сможет счесть, сколько гениев умирает при таких режимах, даже не родившись, или гибнет, не желая учиться искусству лизоблюдства, которое обязательно при общении с любым «меценатом» от политической власти. (Почитайте «Си-рано де Бержерака».)

Дело в том, что факты не зависят от мотивов. Первостепенная предпосылка производительной способности и благосостояния нации — это свобода. Под контролем и принуждением люди не могут — и не желают — производить.

В сегодняшних экономических проблемах нет ничего нового или мистического. Подобно Кольберу, президент Джонсон обращается к различным экономическим слоям населения за советом, спрашивая, чем он может им помочь. Если он не хочет остаться в истории таким же, как Кольбер, он должен бы прислушаться к голосу современного Лежандра (если таковой найдется), который даст ему все тот же бессмертный лаконичный совет: «Не мешайте!»

Новый фашизм (господство консенсуса)

Начну с одной очень непопулярной вещи, которая не соответствует сегодняшним интеллектуальным стандартам и тем самым оказывается «антиконсенсусной», — определю свои термины, чтобы вы понимали, о чем говорю.

Позвольте мне привести словарные определения трех политических терминов — социализм, фашизм и этатизм:

Социализм — теория или система общественной организации, наделяющая общество в целом правом собственности на средства производства, капитал, землю и т.п. и контролем над ними.

Фашизм — форма правления с сильной централизованной властью, не допускающей никакой критики или оппозиции и контролирующей в стране все сферы деятельности (промышленность, торговлю и т.д.)...

Этатизм — принцип или политика, позволяющая сосредоточить полный контроль над экономикой, политической жизнью и смежными сферами в руках государства за счет личной свободы^[21].

Очевидно, что «этатизм» — это более широкий, родовой термин, а два других — его разновидности. Очевидно также, что этатизм — господствующее политическое направление наших дней. Какая же из двух разновидностей определяет суть нынешнего этатизма?

Заметьте, и «социализм», и «фашизм» связаны с правами собственности. Право на собственность — это право пользоваться ею и распоряжаться. Обратите внимание, что две теории по-разному к этому подходят: социализм отрицает частную собственность вообще, наделяя «*правом собственности и контролем*» общество в целом, то есть государство; фашизм оставляет *право собственности* отдельным лицам, но передает правительству *контроль* над собственностью.

Собственность без контроля — абсурд, полная нелепость; это — «собственность» без права пользоваться или распоряжаться ею. Другими словами, граждане несут ответственность за владение собственностью, не имея никакой выгоды, а правительство получает всю выгоду, не неся никакой ответственности.

В этом отношении социализм честнее. Я говорю «честнее», а не «лучше», так как *на практике* между ним и фашизмом разницы нет. Оба исходят из коллективистско-этатистского принципа, оба отрицают права личности и подчиняют личность коллективу, оба отдают средства к существованию и саму жизнь граждан во власть всемогущего государства, и различия между ними — только вопрос времени, степени и поверхностных деталей, например выбора лозунгов, которыми правители вводят в заблуждение своих поработанных подданных.

К какому из двух вариантов этатизма мы направляемся — к социализму или к фашизму?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо для начала спросить, какое идеологическое направление господствует в современной культуре?

Постыдный и пугающий ответ — сейчас нет никакого идеологического направления. Нет идеологии. Нет политических принципов, теорий, идеалов, нет философии. Нет ни направления, ни цели, ни компаса, ни взгляда в будущее, ни доминирующих интеллектуальных факторов. Есть ли какие-либо *эмоциональные* факторы, управляющие современной культурой? Есть. Один.

Страх.

Страна без политической философии подобна кораблю, дрейфующему в океане, отданному на милость случайного ветра, волн или течения; кораблю, чьи пассажиры с криком: «Тонем!» — забиваются в свои каюты, боясь обнаружить, что капитанский мостик пуст.

Ясно, что такой корабль обречен, и уж лучше раскачать его посильнее, вдруг он сможет снова лечь на курс. Но чтобы это понять, надо быстро воспринимать факты, реальность, принципы действия, а кроме того — заглядывать вперед. Именно этого изо всех сил стараются избежать те, кто кричит: «Не раскачивайте!»

Невротик полагает, что реальные факты исчезнут, если он откажется их признать; точно так же невроз культуры подсказывает людям, что их насущная потребность в политических принципах и концепциях исчезнет, если они сумеют их забыть. Поскольку ни человек, ни нация не могут существовать без какой-нибудь идеологии, эта *анти-идеология* стала официальной и открытой, она господствует в нашей обанкротившейся культуре.

У нее есть новое, очень уродливое имя. Она называется «властью консенсуса».

Представим себе, что демагог предложил нам такое кредо: правду должна заменить статистика, принципы — подсчет голосов, права — числа, мораль — опросы общественного мнения; критерием интересов страны должна быть практическая, сегодняшняя выгода, а критерием истинности или ложности той или иной идеи — число последователей; любое желание в какой бы то ни было области нужно принимать как правомерное требование, если его высказывает достаточное количество людей; большинство может делать с меньшинством все что угодно; короче говоря, все подчиняется власти группы и власти толпы. Если бы какой-нибудь демагог все это предложил, он бы не имел успеха. Однако именно это содержится — и скрывается — в понятии «власть консенсуса» .

Это понятие сейчас используется, но не как идеология, а как *анти-идеология*; не как принцип, а как способ избавиться от принципов; не как довод, а как вербальный ритуал или магическая формула, призванная успокоить национальный невроз, как таблетка или наркотик для испуганных пассажиров судна, давая прочим возможность разгуляться вовсю.

Наше летаргическое презрение к словам политических и идеологических лидеров не дает людям осознать смысл, подтексты и последствия «власти консенсуса». Все вы нередко слышали это выражение и, подозреваю, выбрасывали из головы как ненужную политическую риторичку, не задумываясь об его истинном смысле. Именно об *этом* я и призываю вас задуматься.

Важную подсказку здесь дает статья Тома Уиккера в «Нью-Йорк Таймс» (за 11 октября 1965 года). Описывая то, что «Нельсон Рокфеллер называл "господствующей тенденцией в американской мысли"», Уиккер пишет:

Эта господствующая тенденция — то, что политики-теоретики много лет проектировали как «национальный консенсус», а Уолтер Липпман удачно назвал «жизненным центром». ...В основе этого консенсуса, почти по определению, лежит политическая умеренность. Речь идет о том, что консенсус, как правило, распространяется на все приемлемые политические взгляды, то есть на все идеи, которые прямо не угрожают большей части населения и не вызывают у нее явной неприязни. Следовательно, приемлемые политические идеи должны учитывать взгляды других; именно это и подразумевается под политической умеренностью.

Разберемся теперь, что это значит. «Консенсус, как правило, распространяется на все *приемлемые* политические взгляды...» Приемлемые — для кого? Для консенсуса. Поскольку правительство должно руководствоваться консенсусом, это означает, что политические взгляды

надо поделить на «приемлемые» и «неприемлемые» для правительства. Что же будет критерием «приемлемости»? Уиккер называет этот критерий. Обратите внимание, что он не связан с разумом, это не вопрос истинности или ложности. Не связан он и с этикой, то есть с тем, справедливы или несправедливы эти взгляды. Этот критерий — *эмоциональный*: вызывают ли взгляды «неприязнь». У кого? У «большой части населения». Есть и дополнительное условие: взгляды не должны «прямо угрожать» этой части.

А как быть с *малыми* частями населения? Приемлемы ли взгляды, угрожающие им? А как быть с *наименьшей* частью, с индивидуумом? Очевидно, индивидуум и меньшинства в расчет не берутся. Не имеет значения, что идея может быть в высшей степени неприятна человеку и нести серьезную угрозу его жизни, работе, будущему. Его не заметят или принесут в жертву всемогущему консенсусу, если нет группы, и *большой* группы, которая его поддержит.

Что же конкретно означает «прямая угроза» части населения? В условиях смешанной экономики любое действие правительства прямо угрожает кому-то и косвенно — всем. Любое государственное вмешательство в экономику в том и состоит, что одним предоставляется незаслуженное преимущество за счет других. Каким же критерием справедливости должно руководствоваться «правительство консенсуса»? Тем, насколько велика группа, поддерживающая потерпевших.

Перейдем к последней фразе Уиккера: «Следовательно, приемлемые политические идеи должны учитывать взгляды других; именно это и подразумевается под политической умеренностью». Что же здесь подразумевается под «взглядами других»? Кого именно? Поскольку это не взгляды индивидуумов и не взгляды меньшинств, можно сделать только один вывод: каждая «большая часть населения» должна учитывать взгляды других «больших частей». Но представьте себе, что группа социалистов хочет национализировать все заводы, а группа промышленников хочет удержать свою собственность. Как может каждая из этих групп «учитывать» взгляды другой? В чем проявится «умеренность»? Где эта «умеренность» в конфликте между группой людей, требующих государственных дотаций, и группой налогоплательщиков, которые могут найти для своих денег иное применение, или в конфликте между представителем меньшинства, скажем — негром в южных штатах, который считает, что у него есть неотъемлемое право на справедливое судебное разбирательство, и представителями большинства — расистами, уверенными, что «общее благо» общины позволяет им его линчевать? Какова «умеренная позиция» в конфликте между мной и коммунистом (или между нашими последователями), если я убеждена, что у меня есть неотъемлемое право на жизнь, свободу и счастье, а он убежден, что «общее благо» государства позволяет ему ограбить меня, поработить и убить?

Между *противоположными принципами* не может быть никакой «золотой середины», никакого компромисса. В области разума или нравственности нет места такому понятию, как «умеренность». Но именно разум и нравственность — те категории, которые отменила идеология, именуемая «властью консенсуса».

Защитники ее ответят, что любая идея, не допускающая компромисса, это «экстремизм», или разновидность «экстремизма»; что любая бескомпромиссная позиция — это зло; что консенсус «распространяется» только на те идеи, которые допускают «умеренность», а «умеренность» — высшая добродетель, заменяющая разум и нравственность.

Вот вам ключ к пониманию сущности, лейтмотива, истинного смысла обсуждаемой доктрины. Это — культ *компромисса*. Смешанная экономика просто не может без него существовать. Доктрина «консенсуса» представляет собой попытку преобразить грубые факты такой экономики в идеологическую — или анти-идеологическую — систему и снабдить их хоть каким-то обоснованием.

Смешанная экономика смешивает свободу и регулирование без каких-либо принципов, правил или теорий. Поскольку регулирование предполагает и влечет за собой усиление контроля, смесь оказывается взрывоопасной, и в конечном счете приходится либо отказаться от регулирования, либо превратиться в диктатуру. У смешанной экономики нет принципов, которые бы определяли ее стратегии, задачи и законы или ограничивали власть правительства. Единственный принцип, который непременно должен оставаться неназванным и непризнанным, заключается в том, что ничьи интересы не защищены. Интересы выставлены на аукцион, и все что угодно отойдет тому, кто сможет удрать с добычей. Такая система или, точнее, анти-система делит страну на постоянно растущее число враждебных лагерей. Экономические группы воюют друг с другом за самосохранение, чередуя *защиту* и *нападение*, как и требует закон джунглей. В *политическом* плане смешанная экономика сохраняет видимость организованного общества с подобием закона и порядка, в *экономическом* же равнозначна хаосу, столетиями царившему в Китае, когда банды разбойников грабили страну, истощая ее производительные силы.

Смешанная экономика — это правление влиятельных групп, оказывающих давление на политику. Это безнравственная и узаконенная гражданская война особых интересов и лобби, стремящихся заполучить кратковременный контроль над законодательным аппаратом и урвать себе какую-нибудь привилегию за счет всех остальных, сделав это государственной властью, *то есть силой*. Там, где нет прав личности и каких бы то ни было моральных и правовых принципов, единственной надеждой смешанной экономики сохранить слабое подобие порядка, обуздать беспощадные, безгранично алчные группировки, порожденные ею же самой, и помешать тому, чтобы узаконенное воровство превратилось в противозаконный грабеж, когда все грабят всех, становится *компромисс*, по всем вопросам, во всех сферах — материальной, духовной, интеллектуальной. Предполагается, что именно он не дает ни одной группировке зайти слишком далеко в своих требованиях и развалить всю подгнившую структуру. Если эта игра продолжится, ничто не сможет остаться прочным, непоколебимым, абсолютным, неприкосновенным; всё и все должны будут стать гибкими, податливыми, неопределенными, приблизительными. Чем же будут они руководствоваться в своих действиях? Выгодой текущего момента.

Опасность для смешанной экономики представляет только одно — любая ценность, добродетель или идея, не идущая на компромисс. Угрожает ей только непреклонный человек, непреклонная группа, непреклонное движение. Враждебна ей только честность.

Стоит ли говорить, кто всегда будет победителем, а кто — побежденным в такой игре?

Понятно, какое единство (консенсус) здесь требуется. Это — единство молчаливого согласия на то, что *все* покупается, *все* продается (или «участвует в деле»), а то, что продать нельзя, попадает в дебри эксплуатации, манипуляции, лоббирования, обмена, рекламы, взаимных уступок, вымогательства, взяточничества, предательства, то есть слепого случая, как на войне, где стремятся получить привилегию законно убивать законно обезоруженных жертв.

Заметим, стремление это наделяет всех игроков общим и основным свойством. Все заинтересованы в правительстве с безграничной властью, достаточно сильным, чтобы нынешние и будущие победители смогли получить все, что они хотят, и выйти при этом сухими из воды. Такое правительство не связано никакой политикой или идеологией; оно накапливает власть ради власти, то есть ради любой «большой» группы, которая на время к власти придет, чтобы навязать обществу нужные ей законы. Поэтому «компромисс» и «умеренность» применимы к чему угодно, кроме одного — любой попытки ограничить государственную власть.

Вспомните, какие потоки брани, проклятий, истеричной ненависти обрушивают «умеренные» на защитников свободы, т.е. капитализма. Вспомните, что определения

«экстремальный центрист» или «воинствующий центрист» используются всерьез и без колебаний. Вспомните необузданно злобную клеветническую кампанию против сенатора Голдуотера, в которой звучали нотки паники, охватившей «умеренных», «центристов», «популистов», когда они испугались, что реальное прокапиталистическое движение положит конец их игре. Движения этого, между прочим, пока что нет, Голдуотер не защищал капитализма, а его бессмысленная, нефилософская, неинтеллектуальная кампания только помогла сторонникам «консенсуса» укрепить свои позиции. Но здесь важна сама паника; она позволяет оценить их хваленую «умеренность», их «демократичное» уважение к свободе выбора, их терпимость к несогласным.

В письме в «Нью-Йорк Таймс» (от 23 июня 1964 года) один профессор-политолог, опасаясь, что кандидатуру Голдуотера выставят на выборах, говорит:

Настоящая опасность — в разногласиях, которые вызовет его кандидатура. ...Если ее выставят, результатом будет разрозненный и ожесточенный электорат. ...Чтобы действовать эффективно, американскому правительству требуется высокая степень консенсуса и согласие обеих партий по базовым вопросам.

Когда и кто счел этатизм основным принципом Америки? Кто решил, что его следует ставить выше дискуссии и расхождений во мнениях, чтобы самые главные вопросы никогда уже не поднимались? Не похоже ли это на однопартийное правительство? Профессор не уточняет.

Автор другого письма в «Нью-Йорк Таймс» (от 24 июня 1964 года), подписавшийся «Либеральный демократ», пошел немного дальше:

Пусть американский народ сделает свой выбор в ноябре. Если подавляющее большинство проголосует за Линдона Джонсона и демократов, то Федеральное правительство сможет, не нуждаясь ни в каких предлогах, продолжать политику, которой ожидают от него миллионы негров, безработных, пожилых, больных и людей с иными проблемами и недугами, не говоря уже о наших международных обязательствах.

Если нация выберет Голдуотера, то возникнет вопрос, стоит ли дальше заботиться о такой нации. Вудро Вильсон однажды сказал, что можно быть слишком гордым, чтобы драться; сам он тогда был вынужден воевать. Давайте же раз и навсегда выясним этот вопрос, пока еще мы можем сражаться избирательными бюллетенями, а не пулями.

Имел ли в виду этот джентльмен, что, если мы не проголосуем так, как он хочет, он будет стрелять? Здесь я знаю не больше вашего.

Газета «Нью-Йорк Таймс», которая была открытым сторонником «власти консенсуса», любопытным образом прокомментировала победу президента Джонсона. Редакционная статья от 8 ноября 1964 года гласит:

Неважно, насколько грандиозной была победа на выборах — а она была грандиозной. Правительство не может просто плыть на гребне народной волны, в море банальных обобщений и восторженных обещаний. ...Теперь, когда оно получило широкую народную поддержку, у него есть и моральный, и политический долг не пытаться быть всем для всех, а приступить к жесткому, определенному, целенаправленному курсу действий.

Куда этот курс направлен? Если избирателям не предлагали ничего, кроме «банальных обобщений и восторженных обещаний», как можно называть результаты голосования «широкой народной поддержкой»? Что «поддерживал народ» — *неназванный* политический курс, политический карт-бланш? Если Джонсон одержал грандиозную победу, пытаясь «быть всем для всех», чем же он должен быть сейчас и для кого, каких избирателей он должен разочаровать и предать и что останется от широкого общественного консенсуса?

С моральной и философской точки зрения эта статья в высшей степени неоднозначна и противоречива, но она становится понятной и последовательной в контексте нашей анти-идеологии. Эта идеология не ждет от президента особой программы или политического курса. Он просит у избирателей только *карт-бланш на власть*. Дальнейшее зависит от игры влиятельных группировок, которую все должны понимать и поддерживать, но не упоминать. Чем будет президент и для кого, зависит от случайностей игры и от «больших частей населения». Его дело — удерживать власть и раздавать блага.

В 1930-е годы у «либералов» была программа широких социальных реформ и боевой дух. Они выступали за плановое общество, рассуждали об абстрактных принципах, выдвигали теории, преимущественно социалистического толка, и очень огорчались, если их обвиняли в том, что они увеличивают полномочия власти. Почти все они уверяли оппонентов, что правительственная власть — только временное средство для достижения «благородной цели», освобождения индивидуума от рабства материальных потребностей.

Сегодня в «либеральном» лагере никто уже не говорит о плановом обществе; долгосрочные проекты, теории, принципы, абстракции и «благородные цели» нынче не в моде. Современные «либералы» высмеивают политиков, которые мыслят такими масштабными категориями, как общество или экономика в целом. Сами они занимаются единичными, конкретными, ограниченными во времени проектами и потребностями, не думая о цене, сопутствующих обстоятельствах и последствиях. Когда их просят определить свою позицию, они всегда определяют ее как «прагматическую», а не «идеалистическую». Они крайне враждебно относятся к политической философии; они бранят политические концепции, называя их «ярлыками», «этикетками», «мифами», «иллюзиями», и сопротивляются любой попытке «навесить ярлык» на них, то есть как-то определить их собственные взгляды. Они агрессивно противятся теориям, и, хотя еще можно еле-еле разглядеть на них мантию интеллектуальности, противятся они и разуму. Единственный остаток былого «идеализма» заключается в том, что они устало, цинично, ритуально повторяют потрепанные «гуманистические» лозунги, когда требуют обстоятельства.

Цинизм, неуверенность и страх стали отличительными чертами той культуры, которой эти «либералы» управляют до сих пор за неимением лучших кандидатов. Единственный компонент их идеологического инструментария, не покрывшийся ржавчиной, а наоборот, становящийся грубее и очевиднее с каждым годом, — страсть к авторитарной, даже тоталитарной государственной власти. Это не горение борца за идею и не страсть фанатика-миссионера, а, скорее, тусклый отсвет в остекленевших глазах безумца. Оцепенелое отчаяние давно заглушило его воспоминания о цели, но он цепляется за свое тайное оружие, упорно веря, что «должен же быть какой-то закон» и все будет хорошо, как только кто-нибудь закон примет, а любую проблему можно решить волшебной властью грубой силы.

Таковы теперь интеллектуальное состояние и идеологическая направленность нашей культуры.

А сейчас я предлагаю вернуться к вопросу, поставленному мной в начале дискуссии. К какой из двух разновидностей этатизма мы движемся, к социализму или к фашизму?

Для ответа позвольте мне представить на ваше рассмотрение отрывок из редакционной

статьи из «Вашингтон Стар» (за октябрь 1964 года). Эта красноречивая смесь правды и дезинформации — типичный образчик современной политической мысли:

Социализм — это просто государственная собственность на средства производства. Ничего подобного не предлагал ни один кандидат в президенты, и не предлагает сейчас Линдон Джонсон. *[Верно.]*

Однако в американском законодательстве есть целый ряд актов, которые увеличивают либо государственное регулирование частного бизнеса, либо государственную ответственность за благосостояние граждан. *[Верно.]*

Именно они вызывают предостерегающие возгласы «Социализм!».

Помимо положения Конституции о федеральном регулировании торговли между штатами, такое «вторжение» правительства в область рыночных отношений начинается с антitrustовского законодательства. *[Очень верно.]* Именно ему мы обязаны тем, что еще существует капитализм свободной конкуренции, а картельного капитализма у нас нет. *[Неверно.]* Поскольку социализм, так или иначе, порождается картельным капитализмом *[неверно]*, можно с уверенностью полагать, что правительственное вмешательство в сферу бизнеса фактически предотвратило социализм. *[Хуже чем неверно.]*

Что касается законодательства о социальном обеспечении, то оно — за много световых лет от контроля над человеком «от колыбели до гроба», свойственного современному социализму. *[Не совсем верно.]* Оно скорее похоже на простое человеческое участие к ближнему, чем на идеологическую программу. *[Вторая половина этой фразы верна, это не идеологическая программа. Что до первой, простое участие обычно не выражается в виде пистолета, направленного на бумажник и сбережения ближнего.]*

В статье не упомянуто, конечно, что система, при которой государство не национализирует средства производства, но захватывает полный контроль над экономикой, называется фашизмом.

Да, сторонники социального обеспечения — не социалисты, они никогда не стремились к социализации частной собственности, а хотели «сохранить» частную собственность с государственным контролем над ее использованием и переходом от владельца к владельцу. Но это и есть основная характеристика фашизма.

Перед нами еще один источник. Он не столь наивен, как предыдущий, его неправда изощренней. Это фрагмент из письма в «Нью-Йорк Таймс» (от 1 ноября 1964 года), написанного профессором-экономистом:

Какой бы критерий ни взять, Соединенные Штаты сегодня теснее связаны с частным предпринимательством, чем, наверно, любая другая индустриальная держава, и даже отдаленно не напоминают социалистическую систему. В понимании ученых, занимающихся сравнительным исследованием экономических систем, социализм отождествляется с глобальной национализацией, доминированием государственного сектора, сильным кооперативным движением, уравнительным распределением доходов, тотальным социальным обеспечением и центральным планированием.

В Соединенных Штатах не было национализации, мало того — все заботы правительства всегда были обращены к частному предпринимательству...

Распределение доходов в нашей стране — одно из самых несправедливых среди других развитых стран; всевозможные уклонения от уплаты налогов притупили умеренную прогрессивность нашей налоговой системы. Прошло тридцать лет после «Нового курса», и социальное обеспечение в США находится на очень невысоком

уровне, если сравнивать с всеобъемлющей системой социальной защиты и планами государственного жилищного строительства во многих европейских странах.

Никакой полет фантазии не позволит представить проблему этой кампании как альтернативу между капитализмом и социализмом или между свободной и плановой экономикой. Вопрос — в выборе между двумя различными концепциями роли государства в рамках сугубо частного предпринимательства.

Роль государства в системе частного предпринимательства сродни роли полицейского, который защищает права личности (включая право на собственность), защищая людей от физического насилия. В условиях свободной экономики правительство не должно ни контролировать, ни регулировать, ни принуждать граждан, ни вмешиваться в их экономическую деятельность.

Мне неизвестно, каких политических взглядов придерживается автор данного письма; он может называть себя «либералом» или сторонником капитализма. Если верно последнее, я должна сказать, что его взгляды, разделяемые, кстати, многими «консерваторами», больше вредят идее капитализма, чем взгляды ее открытых противников.

Такие «консерваторы» рассматривают капитализм как систему, совместимую с государственным регулированием, что способствует самым опасным недоразумениям. Чистого капитализма при полном государственном невмешательстве еще нигде не было; толике (ненужного) правительственного контроля позволили разбавить исходную американскую систему (скорее по ошибке, чем по теоретическому замыслу) — и все же такой контроль был незначительной помехой, смешанная экономика в XIX веке была преимущественно свободной, и эта беспрецедентная свобода привела к беспрецедентному прогрессу. Как наглядно показала история двух предшествующих столетий, принципы, теория и реальная практика капитализма основаны на свободном, нерегулируемом рынке. Ни один защитник капитализма не позволит себе обойти точное значение термина «laissez-faire», а также точное значение термина «смешанная экономика», в котором явственно видны два противоположных элемента, входящих в эту смесь, — экономическая свобода, то есть капитализм, и правительственный контроль, то есть этатизм.

На протяжении многих лет нам упорно навязывали марксистскую концепцию, согласно которой все правительства — орудия классовых экономических интересов и капитализм — не свободная экономика, а система правительственного контроля на службе привилегированного класса. Эту концепцию внедряли, чтобы деформировать экономику, переписать историю и стереть из памяти саму возможность свободной страны, где экономику не контролируют. Поскольку система, допускающая номинальную частную собственность под тотальным правительственным контролем, это не капитализм, а *фашизм*, то забвение свободной экономики предоставит нам выбор между фашизмом и социализмом (или коммунизмом). Все этатисты мира, самых разных видов и мастей, изо всех сил стараются убедить нас, что другой альтернативы нет. (Их общая цель — уничтожить свободу, а потом уж они смогут бороться друг с другом за власть.)

Таким образом, взгляды профессора экономики и многих «консерваторов» льют воду на мельницу пагубной левой пропаганды, которая приравнивает капитализм к фашизму.

Но в логике событий есть горькая справедливость. Эта пропаганда привела к результату, быть может, выгодному для коммунистов, но прямо обратному ожиданиям «либералов», апологетов «государства всеобщего благоденствия» и социалистов, которые разделяют вину за ее распространение. Левая пропаганда не дискредитировала капитализм, но обелила и замаскировала фашизм.

Мало кто готов у нас поддерживать, защищать или хотя бы понимать капитализм; и все же еще меньше тех, кто готов отказаться от его преимуществ. Если нам скажут, что капитализм совместим с конкретным регулированием, которое служит нашим конкретным интересам (идет ли речь о правительственных подачках, или о прожиточном минимуме, или о поддержке цен, или о субсидиях, или об антимонопольных законах, или о цензуре на порнофильмы), мы поддержим эти программы, убеждая себя, что получим всего лишь «модифицированный» капитализм. По вине невежества, замешательства, увливания, нравственной трусости и умственного банкротства страна, питающая к фашизму истинное отвращение, незаметными шажками движется не к социализму или еще какому-либо альтруистическому идеалу, но к неприкрытому, жестокому, хищническому, жадному до власти строю, который *de facto* и есть фашизм.

Нет, мы еще не достигли этой стадии, но совершенно очевидно, что мы давно уже не «система сугубо частного предпринимательства». Сейчас мы представляем собой распадающуюся, больную, опасно нестабильную смешанную экономику, беспорядочную смесь социалистических схем, коммунистических влияний, фашистского контроля и тающих остатков капитализма, который все еще платит по всем счетам; и весь этот клубок катится к фашистскому государству.

Посмотрим на теперешнее правительство. Я думаю, меня не обвинят в пристрастности, если я скажу, что президент Джонсон — не философ. Конечно, он не фашист, не социалист и не сторонник капитализма. Идеологически он — никто. На основании его биографии и единодушия его сторонников можно сказать, что само понятие *идеологии* к нему неприменимо. Он — политик, что очень опасно, но весьма характерно для сегодняшней ситуации. Он — почти литературное, архетипическое воплощение идеального лидера в стране со смешанной экономикой: правитель, любящий власть ради власти, прекрасно манипулирующий влиятельными группировками, стравливающий их между собой, раздающий улыбки, хмурые взгляды, милости, особенно милости *неожиданные*, и не глядящий дальше следующих выборов.

Ни президент Джонсон, ни какая-либо из влиятельных группировок не будут поддерживать социализацию промышленности. Как и его предшественники в Белом Доме, Джонсон понимает, что предприниматели — дойные коровы смешанной экономики, и не хочет их уничтожать. Наоборот, он хочет, чтобы они процветали и

финансировали его программы социального обеспечения (которые нужны для победы на следующих выборах), а сами ели у него из рук, что им, кстати сказать, очень нравится. Лобби бизнесменов несомненно получит причитающуюся ему долю влияния и признания, равно как и лобби трудовиков, или фермеров, или любой другой «большой части населения», но на тех условиях, какие поставит президент. Особенно преуспеет он в воспитании и поддержке того типа предпринимателей, который я называю «аристократией по протекции». Это — не социалистическая модель, а модель, типичная для фашизма.

Политический, интеллектуальный и *моральный* аспект политики Джонсона по отношению к предпринимателям выразительно обобщены в одной статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» (от 4 января 1965 года):

Упорно ухаживая за деловыми кругами, мистер Джонсон показал, что он — отъявленный кейнсианец. В отличие от президента Рузвельта, который наслаждался борьбой с предпринимателями, пока Вторая мировая война не вынудила его пойти на перемирие, и президента Кеннеди, который тоже вызывал враждебность у деловых кругов, президент Джонсон долго и упорно стремился к тому, чтобы бизнесмены пополнили ряды его сторонников и поддержали его проекты.

Кампания по сближению с предпринимателями может вызвать неудовольствие у многих кейнсианцев, и тем не менее это Кейнс чистой воды. Ведь именно лорд Кейнс, которого американские бизнесмены поначалу считали макиавеллистом и вообще фигурой опасной, предложил несколько мер, нормализующих отношения между президентом и деловыми кругами.

Свои взгляды он изложил в письме к президенту Рузвельту, на которого снова напали предприниматели из-за экономического спада, произошедшего годом раньше (1937).

Лорд Кейнс, всегда искавший пути, на которых можно преобразить капитализм ради его спасения, признал, что доверие деловых кругов очень важно, и постарался убедить в этом Рузвельта.

Он объяснял президенту, что бизнесмены — не политики и относиться к ним нужно соответственно. «Они гораздо мягче политиков, — писал он, — их можно в одно и то же время очаровать и напугать перспективой известности, их легко убедить стать "патриотами". Они смущены, ошеломлены, напуганы, но изо всех сил стараются бодро выглядеть. Они тщеславны, но совсем не уверены в себе и трогательно отзывчивы на доброе слово...»

Лорд Кейнс был уверен, что Рузвельт сможет их приручить и подчинить, если будет следовать простым кейнсианским правилам.

«Вы сможете делать с ними все что угодно, — продолжал он, — если будете обращаться даже с самыми крупными из них не как с волками и тиграми, а как с домашними животными, хотя и плохо воспитанными и не выдрессированными так, как Вам бы хотелось».

Президент Рузвельт не откликнулся на совет Кейнса, равно как и президент Кеннеди. А президент Джонсон, по всей видимости, принял его к сведению. ...Ласковыми словами и одобрительными похлопываниями по плечу ему удалось приручить деловые круги.

Надо думать, Джонсон согласен с лордом Кейнсом в том, что вражда с предпринимателями ни к чему не приведет. Как писал Кейнс, «если Вы доведете их до угрюмого, упрямого, запуганного состояния, свойственного домашним животным, с которыми неправильно обращаются, рынок не поможет нести бремя нации, и в конце концов общественное мнение склонится на мл: сторону».

Мнение, согласно которому предприниматели сродни «домашним животным», несущим «бремя нации» и «приручаемым» президентом, совершенно несовместимо с идеологией капитализма. Неприменимо оно и к социализму, поскольку в социалистическом государстве нет предпринимателей. Зато оно выражает самую суть фашистской экономики, то есть отношений между миром бизнеса и правительством в фашистском государстве.

В какие бы слова это ни обряжать, именно таков истинный смысл любой разновидности «преобразованного» («модифицированного», «модернизированного», «гуманизированного») капитализма. Согласно этим доктринам, «гуманизация» состоит в превращении определенных (самых полезных) членов общества во вьючных животных.

Формулу обмана и укрощения жертвенных животных повторяют сегодня все чаще и настойчивей; а гласит она, что предприниматели должны смотреть на правительство не как на врага, но как на «партнера». Понятие «партнерства» между частной группой и должностными лицами, между миром бизнеса и правительством, между производством и принуждением — лингвистическая ложь («анти-концепт»), типичная для фашистской идеологии, которая считает

силу сущностью и высшим судьей любых человеческих отношений.

«Партнерство» — это неприличный эвфемизм, обозначающий «правительственный контроль». Не бывает партнерства между вооруженными бюрократами и беззащитными частными лицами, у которых нет иного выбора, кроме подчинения. Какие могут быть шансы в конфликте с «партнером», *любое* слово которого — закон? Возможно, он выслушает вас (если ваша группа поддержки достаточно представительна), но потом обратит свою благосклонность на кого-нибудь другого и пожертвует вашими интересами. За ним — последнее слово и законное «право» заставить вас подчиниться под дулом пистолета, так как ваша собственность, работа, будущее, сама ваша жизнь находятся в его власти. В *этом* ли смысл «партнерства»?^[22]

Однако и среди бизнесменов, и в любой другой профессиональной группе находятся люди, которым такая перспектива нравится. Они боятся конкуренции свободного рынка и с радостью приветствуют всемогущего «партнера», который лишит их более способного конкурента всех преимуществ; они хотят делать карьеру не по заслугам, а по протекции, жить не по праву, а по милости. Такие бизнесмены ответственны за то, что у нас принимают антимонопольные законы и до сих пор их поддерживают.

Немало бизнесменов-республиканцев на последних выборах переметнулось на сторону президента Джонсона. Вот несколько любопытных наблюдений из опроса, проведенного «Нью-Йорк Таймс» (от 16 сентября 1964 года):

Результаты опросов в пяти городах на промышленном северо-востоке и Среднем западе обнаруживают разительные расхождения в политических взглядах между представителями крупных корпораций и мелкими и средними предпринимателями. ...Среди бизнесменов, собирающихся впервые в жизни проголосовать за демократа, большинство работает в крупных корпорациях. ...Наибольшую поддержку президенту Джонсону выражают 40— 50-летние бизнесмены. ...Многие бизнесмены этого возраста говорят, что не видят, чтобы улучшилось отношение к Джонсону более молодых коллег. Опросы 30-летних подтвердили это наблюдение. ...Сами молодые сотрудники компаний с гордостью говорят о том, что их поколение первым пресекло и повернуло вспять тенденцию к либерализации молодежи. ...Разногласия между мелкими и крупными предпринимателями проявились особенно явно в вопросе о дефиците бюджета. Представители гигантских корпораций гораздо более склонны согласиться с тем, что дефицит бюджета иногда необходим и даже желателен. Типичный же представитель мелкого бизнеса относится к дефицитному расходованию с особым презрением.

Эти данные позволяют нам понять, чьи интересы учитывает смешанная экономика и что она делает с начинающими и молодыми бизнесменами.

Важный аспект предрасположенности к социализму состоит в желании стереть границу между заработанным и незаработанным и, следовательно, не видеть разницы между такими бизнесменами, как Хэнк Риордан и Оррен Бойл. Для ограниченной, близорукой, примитивной социалистической ментальности, которая требует «перераспределения богатств», не думая об их происхождении, враги — это все богачи, независимо от того, как они разбогатели. Стареющие, седеющие «либералы», которые были «идеалистами» в 30-х годах, цепляются за иллюзию, будто мы движемся к какому-то социалистическому государству, враждебному к богатым и благосклонному к бедным, отчаянно стараясь не видеть, *каких* богачей мы искореняем и *какие*

остаются и процветают в системе, которую они же сами и создали. Над ними жестоко пошутили — их «идеалы» вымостили дорогу не к социализму, а к фашизму. Все их усилия помогли не беспомощно и безмозгло добродетельному «маленькому человеку», герою их убогого воображения и изношенной фантазии, а худшему представителю хищных богачей, разбогатевшему благодаря политическим привилегиям, который всегда рад нажиться на коллективном «благородном начинании». При капитализме у такого богача никаких шансов нет.

Любая форма этатизма — социализм, коммунизм, фашизм — уничтожает создателя капиталов, Хэнка Риордана, а паразиты, Оррены Бойлы, становятся привилегированной «элитой» и получают максимальную прибыль при этатизме, в особенности при фашизме. (Когда речь идет о социализме, это Джеймсы Таггарты; когда речь идет о коммунизме — Флойды Феррайзы.) То же самое относится к их психологическим двойникам среди бедноты и промежуточных слоев населения.

Особая форма экономической организации, проявляющаяся все более явно в нашей стране как следствие господства влиятельных группировок, это одна из худших разновидностей этатизма — *гильдейский социализм*. Он лишает будущего талантливую молодежь, замораживая людей в профессиональных кастах под гнетом суровых правил. Это — открытое воплощение главной идеи большинства этатистов (хотя они предпочитают в ней не признаваться): поддерживать и защищать посредственность от более способных конкурентов, сковывать более талантливых, низводить их до среднего уровня. Такая теория не слишком популярна среди социалистов (хотя у нее есть сторонники); самый известный пример ее широкого воплощения в жизнь — фашистская Италия.

В 1930-х годах некоторые проницательные люди говорили, что «Новый курс» Рузвельта представляет собой разновидность гильдейского социализма и больше всего похож на режим Муссолини. Тогда на эти слова не обратили внимания. Сегодня симптомы очевидны.

Говорили и о том, что если фашизм когда-нибудь придет в Соединенные Штаты, то придет он под маской социализма. Советую прочитать или перечитать «У нас это невозможно» Синклера Льюиса, обратив особое внимание на характер, образ жизни и идеологию фашистского лидера Берзелиуса Уиндрипа.

А теперь позвольте мне перечислить (и опровергнуть) несколько стандартных возражений, с помощью которых сегодняшние «либералы» пытаются отмежеваться от фашизма и замаскировать истинную природу поддерживаемой ими системы.

«*Фашизм требует однопартийной системы*». А к чему приводит на практике «власть консенсуса»?

«*Цель фашизма — завоевать весь мир*». А чего хотят глобально ориентированные, двухпартийные лидеры ООН? И если они достигнут своего, какие позиции они думают занять во властной структуре «Единого мира»?

«*Фашизм проповедует расизм*». Не всегда. Германия при Гитлере стала расистской, Италия при Муссолини — не стала.

«*Фашизм — против государства всеобщего благосостояния*». Проверьте ваши исходные посылки и почитайте учебники истории. Идею такого государства предложил Бисмарк, политический предок Гитлера. Именно он попробовал купить лояльность одних групп населения с помощью денег, полученных от других групп. Позвольте напомнить, что полное название нацистской партии — «Национал-социалистическая рабочая партия Германии».

Позвольте также привести несколько отрывков из политической программы этой партии, принятой в Мюнхене 24 февраля 1920 года:

Мы требуем, чтобы правительство взяло на себя обязательство прежде всего прочего обеспечить гражданам возможность устроиться на работу и зарабатывать на жизнь.

Нельзя допускать, чтобы действия индивидуума вступали в противоречие с интересами общества. Деятельность индивидуума должна ограничиваться интересами общества и служить всеобщему благу. В связи с этим мы требуем ... положить *конец власти материальных интересов*.

Мы требуем участия в прибылях на крупных предприятиях.

Мы требуем значительного расширения программ по уходу за пожилыми людьми.

Мы требуем ... максимально возможного учета интересов мелких предпринимателей при закупках для центральных, земельных и муниципальных властей. Чтобы дать возможность каждому способному и трудолюбивому [гражданину] получить высшее образование и добиться руководящей должности, правительство должно всесторонне расширить нашу систему государственного образования.... Мы требуем, чтобы талантливые дети из бедных семей могли получать образование за государственный счет. ...

Правительство должно усовершенствовать систему здравоохранения, взять под защиту матерей и детей, запретить детский труд,... максимально поддерживать все организации, нацеленные на физическое развитие молодежи. [Мы] боремся с меркантильным духом внутри и снаружи и убеждены в том, что успешное возрождение нашего народа возможно только изнутри и только на основе принципа: *общее благо прежде личного блага*^[23].

Есть, однако, одно отличие того фашизма, к которому мы движемся, от того, который разрушил Европу: наш фашизм — не воинствующий. Это не организованное движение крикливых демагогов, кровавых головорезов, третьесортных интеллектуалов и малолетних преступников. У нас он — усталый, изношенный, циничный и напоминает не бушующую стихию, а, скорее, тихое истощение тела в летаргическом сне, гибель от внутреннего разложения.

Много других цитат подобного рода, показывающих альтруистско-коллективистские основы нацистской и фашистской идеологии, можно найти в моей работе *The Fascist New Frontier*.

Было ли это неизбежно? Нет, не было. Можно ли еще это предотвратить? Да, можно.

Если вы сомневаетесь в том, что философия способна задавать направления и формировать судьбы человеческих сообществ, посмотрите на нашу смешанную экономику, буквальное воплощение *прагматизма*, прямое порождение этой доктрины и тех, кто вырос под ее влиянием. Прагматизм утверждает, что нет объективной реальности и вечной истины, абсолютных принципов, осмысленных абстракций и устойчивых концепций. Все можно произвольно менять, объективность состоит из коллективной субъективности, истина — то, что люди хотят считать истиной; и то, что мы хотим видеть в реальности, реально существует, если только *консенсус так решит*.

Хотите избежать окончательной катастрофы? Распознайте и отвергните именно этот тип мышления, каждую из его посылок в отдельности и все их вместе. Тогда вы осознаете связь философии с политикой и с вашей повседневной жизнью. Тогда вы поймете и заучите, что ни одно общество не может быть лучше своих философских истоков. И тогда, перефразируя Джона Галта, вы будете готовы не *вернуться* к капитализму, а *открыть* его.

Расизм — это самая низкая, самая грубая и примитивная форма коллективизма. Он является принципом, по которому нравственная, социальная или политическая значимость человека приписывается его происхождению; принцип, гласящий, что интеллектуальные свойства и черты характера порождаются и передаются внутренней телесной структурой. На практике это означает, что человека судят не по его поступкам и его уникальным свойствам, а по свойствам и поступкам совокупности его предков.

Расизм утверждает, что содержание человеческого разума (не познавательная часть, а *содержание*) переходит по наследству, а убеждения, ценности и характер определяются еще до рождения неподвластными нам физическими факторами. Это первобытный вариант учения о врожденных идеях, или унаследованных знаниях, который основательно опровергнут философией и наукой. Расизм — доктрина, созданная дикарями, исповедуемая ими и для них пригодная. Это — присущая быдлу или скотам разновидность коллективизма, подходящая для тех, кто разделяет не животных и людей, а разные породы животных.

Как всякая форма детерминизма, расизм отрицает то особое свойство, которое отличает человека от всех живых существ, — его способность мыслить. Он игнорирует два аспекта человеческой жизни, разум и выбор, иначе говоря, сознание и нравственность, заменяя их телесной предопределенностью.

Приличная семья всячески поддерживает никчемных родственников или покрывает их преступления, чтобы «защитить наше доброе имя» (как будто моральное положение одного человека может пострадать из-за действий другого); бродяга бахвалится, что его прадед был одним из создателей империи; провинциальная старая дева хвастает тем, что дядя ее матери был сенатором штата, а ее троюродная сестра выступала в Карнеги-холл (как будто достижения одного человека могут восполнить бездарность другого); родители невесты исследуют генеалогическое древо потенциального зятя; некая знаменитость начинает свою автобиографию с подробного отчета об истории своей семьи. Все это — примеры расизма, остаточные проявления теории, которая полностью выражается в межплеменных столкновениях доисторических дикарей, массовых убийствах нацистской Германии или чудовищных злодеяниях нынешних «возрождающихся народов».

Теория, которая для оценки нравственности и разума использует понятия «голубой» или «дурной» крови, может привести лишь к кровопролитию. Грубая сила — единственное поле деятельности для тех, кто считает себя бездумной массой телесных свойств.

Современные расисты пытаются доказать превосходство или неполноценность какой-либо расы, используя в качестве довода исторические достижения какого-нибудь ее представителя. Нередкий в истории случай, когда великий первопроходец при жизни подвергался насмешкам, осуждению и гонениям своих сограждан, а потом, после смерти, возводился в ранг национальной святыни и служил доказательством величия немецкого (французского, итальянского, камбоджийского и т.д.) народа, — такая же отвратительная коллективистская экспроприация, совершаемая расистами, как экспроприация собственности, совершаемая коммунистами.

Нет коллективного или расового сознания, нет и коллективных или расовых достижений. Есть только личное сознание и личные достижения; а любая культура — не безымянный плод безымянных масс, но сумма достижений конкретных людей.

Даже если бы доказали (а это до сих пор не доказано), что среди представителей какой-то нации больше людей с потенциально высокими умственными способностями, это никак не

определяло бы конкретного человека и никак не помогло бы оценить его личность. Гений есть гений, независимо от того, сколько дураков среди его соплеменников, а дурак есть дурак, сколько бы гениев среди них ни было. Трудно сказать, в каком случае мы сталкиваемся с более вопиющей несправедливостью: когда американские южане требуют, чтобы мы считали неполноценным гениального негра, потому что его раса «дала миру» дикарей, или же когда немец считает себя сверхчеловеком, потому что его нация «дала миру» Гете, Шиллера и Брамса.

Разумеется, между этими двумя примерами нет принципиальной разницы, это лишь два воплощения одной и той же предпосылки. Дело не в том, идет ли речь о превосходстве или неполноценности той или иной расы или нации; у расизма одна психологическая основа — чувство неполноценности самого расиста.

Как и любая форма коллективизма, расизм стремится получить что-то без труда. Он хочет автоматически обрести знание, автоматически оценивать людей, избегая при этом ответственности за разумное и нравственное решение, а больше всего он хочет *автоматически утвердить себя* (хотя бы и без оснований).

Приписывая достоинства человека его происхождению, мы фактически расписываемся в полном незнании того, как этих достоинств достигают, а весьма нередко — и в том, что мы сами их не достигли. Подавляющее большинство расистов — это те, кто так и не смог стать полноценной личностью; у них нет личных достижений или заслуг, и они стремятся к иллюзорному «самоуважению члена племени», утверждая неполноценность каких-нибудь других племен. Достаточно вспомнить истеричную ярость американских южан или то, что расизмом гораздо чаще страдают опустившиеся люди, а не лучшие из интеллектуалов.

В историческом плане уровень расизма всегда возрастал или падал вместе с ростом или падением коллективизма. Коллективизм утверждает, что у отдельного человека нет прав, что его жизнь и труд принадлежат определенной группе («обществу», племени, государству, стране, народу) и что группа по своей прихоти может принести его в жертву. Воплотить подобную теорию можно лишь грубой силой, и *государственность* всегда была политическим следствием коллективизма.

Абсолютное государство — лишь узаконенная форма бандитского правления, независимо от того, какая именно банда захватит власть. Поскольку подобному правлению не было, нет и никогда не будет разумного оправдания, мистика расы играет ключевую роль во всех абсолютистских государствах. Связь здесь взаимная: государственность вырастает из первобытной межплеменной вражды, основанной на том, что члены одного племени — естественная добыча другого, и устанавливает собственные подкатегории, систему каст, определяемых рождением человека, — например, дворянские титулы или потомственное рабство.

У расизма нацистской Германии, где люди должны были заполнять анкеты о целых поколениях предков, чтобы доказать их *арийское* происхождение, был двойник в Советском Союзе, где люди заполняли такие же анкеты, чтобы доказать, что у их предков не было собственности и тем самым они — *потомственные пролетарии*. Советская идеология основана на постулате, согласно которому людей можно *генетически* подготовить к коммунизму; иначе говоря, подготовленные диктатурой поколения передадут коммунистическую идеологию своим потомкам, которые с самого рождения будут коммунистами. Преследование национальных меньшинств в Советском Союзе по прихоти того или иного комиссара — зарегистрированный факт. Особенно свирепствует антисемитизм; правда, официальные погромы теперь называют «проработкой».

От расизма есть только одно противоядие — философия индивидуализма и ее политико-экономическое следствие, свободный капитализм.

Индивидуализм рассматривает человека — *каждого* человека — как независимую, самостоятельную личность, обладающую неотъемлемым правом на жизнь, исходящим из самой его природы как разумного существа. Индивидуализм утверждает, что цивилизованное общество либо иную форму ассоциации, сотрудничества или мирного сосуществования людей можно построить только в том случае, если мы признаем личные права, и что у группы как таковой нет иных прав, кроме личных прав ее членов.

В условиях свободного рынка не имеют значения ни происхождение человека, ни его родственники, ни гены, ни телесные особенности. Важно лишь одно человеческое свойство — способность производительно трудиться. Капитализм оценивает (и соответственно вознаграждает) человека только по его личным способностям и устремлениям.

Ни одна политическая система не может установить повсеместную разумность простым законом (или силой). Однако капитализм — это единственная система, в которой разум вознаграждается, а все виды внеразумного, включая расизм, наказываются.

Подлинно свободной капиталистической системы пока еще нигде не было. Однако в полусвободной экономике XIX века связь расизма и политических рычагов управления значила очень много. Преследования национальных и/или религиозных меньшинств были обратно пропорциональны степени свободы в стране. Расизм был заметнее всего в странах с самой регулируемой экономикой, например — в России и Германии, и слабее всего в Англии, самой свободной европейской стране того времени.

Именно капитализм впервые подтолкнул человечество на путь свободы и разумной жизни. Именно капитализм с помощью свободной торговли разрушил национальные и расовые барьеры. Именно капитализм избавил все цивилизованные страны мира от крепостного права и рабства. Именно капиталистический Север уничтожил рабство аграрно-феодалного Юга в США.

В таком направлении человечество развивалось недолго, около ста пятидесяти лет. Красноречивые итоги и достижения не требуют доказательств.

Подъем коллективизма обратил это движение вспять.

Когда людям снова стали внушать, что у отдельной личности нет прав; что верховенство, выработка нравственных принципов и неограниченная власть — прерогативы группы; что вне группы человек ничего не значит, то, естественно, люди стали тянуться к той или иной группе из самосохранения, растерянности и подсознательного страха. Проще всего присоединиться и легче всего себя отнести (особенно людям ограниченным) к наименее требовательной форме «общности» и «коллектива» — *нации* или *расе*.

Так теоретики коллективизма, «человеколюбивые» защитники «благожелательного» и всесильного государства в XX веке, способствовали возрождению и новому, стремительному росту расизма.

В свою великую капиталистическую эпоху Соединенные Штаты Америки были самой свободной страной в мире и самым лучшим опровержением расистских теорий. В Америку прибывали люди всех рас и национальностей, часто — из захудалых, слаборазвитых стран, и добивались поразительных успехов, которых никогда не добились бы на своей несвободной родине. Представители разных народов, веками убивавших друг друга, научились жить вместе, в согласии, мирно сотрудничая. Америку не напрасно называли «плавильным котлом». Однако мало кто понимал, что люди отнюдь не переплавлялись в серую массу коллектива. Страна объединяла их тем, что защищала их право на индивидуальность.

Главными жертвами расовых предрассудков, существовавших в Америке, были негры. Эта проблема родилась на некапиталистическом Юге и подпитывалась им, хотя и не ограничивалась его пределами. Дискриминация негров на Юге была и осталась истинным позором Америки.

Однако на остальной территории страны, где люди были свободны, даже эта проблема постепенно отступала под напором просвещения и экономических интересов белых граждан.

Сегодня она, как и любая форма расизма, обретает угрожающие масштабы. Америка стала относиться к расовым проблемам так, как в XIX веке к ним относились в худшие свои времена самые отсталые европейские страны. Причина все та же — рост коллективизма и государственности.

Вопреки шумным требованиям равноправия наций и рас, которые уже несколько десятилетий выдвигают «либералы», Бюро переписей сообщило недавно о том, что «экономическое положение темнокожего населения в сравнении с положением белых за последние 20 лет не улучшилось». Оно улучшалось в более свободные годы нашей «смешанной экономики» и ухудшалось по мере расширения государства «либералов», «государства всеобщего благосостояния».

Рост расизма в стране со «смешанной экономикой» идет нога в ногу с ростом правительственного контроля. «Смешанная экономика» делит страну, ввергая ее в оформившуюся гражданскую войну агрессивных групп, каждая из которых борется за законодательные поправки и особые привилегии за счет других.

Сегодня открыто и цинично признается существование таких групп и их политических лобби. С общественно-политической сцены стремительно исчезают даже намеки на какую-либо политическую философию, принципы, идеалы или долгосрочные цели; мы фактически признаем, что страна плывет без руля и ветрил, отдавшись на милость тех, кто играет вслепую. Она поддалась недолгой демонстрации силы, этим разнообразным кланам статистов, каждый из которых стремится получить законодательное оружие ради сиюминутного преимущества.

Когда нет последовательной политической философии, каждая экономическая группа разрушает себя, разменивая собственное будущее на мелкие сиюминутные выгоды. В этом смысле самой самоубийственной некоторое время была политика деловых кругов, однако ее превзошла современная политика негритянских лидеров.

Пока они боролись с официально насаждаемой дискриминацией, справедливость и нравственное превосходство были на их стороне. Но теперь борьба стала иной. Недоразумения и противоречия вокруг проблемы расизма достигли небывалого размаха.

Настало время прояснить связанные с этим принципы.

Политика южных штатов по отношению к неграм нарушала и нарушает основополагающие принципы

США. Законодательно оформленная и законно осуществляемая расовая дискриминация так явно и беспардонно попирает права личности, что расистские законодательные акты южных штатов уже давно следовало бы объявить антиконституционными.

Заявления расистов Юга о «правах штатов» являют собой терминологическое противоречие: «право» одних людей нарушать права других — это абсурд. Конституционное понятие «права штатов» относится к разделению власти между местными и федеральными органами власти и призвано защищать штаты от федерального правительства; но никак не наделяет правительство штата неограниченной, произвольной властью над гражданами или правом аннулировать их личные права.

Известно, что федеральное правительство использовало расовую проблему, чтобы расширить свою власть и создать прецедент вторжения в законные права штатов, действуя без необходимости и антиконституционно. Однако это означает лишь то, что не правы оба правительства, и никак не оправдывает политику расистов.

Одно из худших противоречий в данном контексте — позиция многих «консерваторов» (отнюдь не только южан), считающих себя защитниками свободы, капитализма, права на

частную собственность и Конституции и при этом проповедующих расизм. По-видимому, их не слишком заботят принципы, иначе они бы осознали, что рубят сук, на котором сидят. Тот, кто отрицает права личности, не может утверждать, защищать или поддерживать какие-либо права вообще. Именно такие «сторонники капитализма» способствуют его дискредитации и разрушению.

«Либералы» страдают тем же, но в иной форме. Они считают, что права личности нужно принести в жертву неограниченному праву большинства, но при этом защищают права меньшинств. Однако самое малочисленное меньшинство на свете — отдельный человек. Тот, кто отрицает права личности, права меньшинств защищать не может.

Эта гремучая смесь противоречий, недалёковидного прагматизма, циничного презрения к принципам и неслыханной неразумности достигла пика в новых требованиях негритянских лидеров.

Вместо того чтобы бороться с расовой дискриминацией, они требуют ее узаконить и осуществлять. Вместо того чтобы бороться с расизмом, они требуют установить расовые квоты. Вместо того чтобы бороться за равноправие рас в социальных и экономических вопросах, они заявляют, что равноправие — это зло и что цвет кожи должен стать определяющим фактором. Вместо того чтобы бороться за равные права, они требуют особых расовых привилегий.

Они требуют установления расовых квот при приеме на работу и распределения рабочих мест на расовой основе, пропорционально процентному представительству данной расы среди местного населения. Например, негры составляют четверть населения Нью-Йорка, а потому негритянские лидеры требуют отдать им четверть рабочих мест на каждом предприятии и в каждой организации.

Расовые квоты всегда были одним из самых отвратительных проявлений расизма в странах с соответствующим режимом. Они существовали в университетах царской России, в крупных российских городах. Среди прочего, американских расистов обвиняют в том, что в некоторых школах есть тайная система этих квот. Когда из анкет для приема на работу исключили вопросы о национальной принадлежности или вероисповедании, это считалось победой поборников справедливости.

Однако сейчас установления расовых квот требуют не угнетатели, а само угнетаемое меньшинство!

Это требование переполнило чашу терпения даже «либералов». Многие из них возмутились и, вполне справедливо, гневно осудили его.

Вот что 23 июля 1963 года писала «Нью-Йорк Таймс»: «Манипулируя цифрами, демонстранты следуют поистине недостойному принципу. Требование предоставить 25% (как и любой другой процент) рабочих мест неграм (как и любой другой группе населения) несправедливо по одной простой причине: оно связано с "системой квот", которая по сути своей дискриминационна... Наша газета долгое время боролась против религиозных квот при назначении судей; равным образом мы отвергаем расовые квоты при распределении рабочих мест, будь то самые высокие должности или низкооплачиваемый ручной труд».

Неприкрытый расизм этого требования говорит сам за себя, но некоторые негритянские лидеры пошли еще дальше. Исполнительный директор Национальной городской лиги Уитни М. Янг-младший сделал такое заявление («Нью-Йорк Таймс» от 1 августа):

«Белые лидеры должны найти в себе мужество признать, что на протяжении многих лет развития в нашей стране существовала особая привилегированная группа граждан, пользовавшаяся определенными преимуществами. Это — белые граждане. А теперь мы заявляем: если на какое-либо рабочее место претендуют в равной степени квалифицированные белый и негр, то взять на работу надо негра».

Рассмотрим последствия таких заявлений. Оно не просто требует особых расовых привилегий; оно требует, чтобы белых наказали за *грехи их предков*. Нельзя брать на работу белого кандидата, потому что его дед, возможно, осуществлял расовую дискриминацию. А если нет, может быть, он вообще жил в другой стране? Эти подробности никого не интересуют, и на белого кандидата возлагается *коллективная расовая вина*, которая заключается лишь в том, что у него белая кожа.

Но ведь в *этом* и состоит принцип самого ярого расиста, который возлагает на всех негров коллективную вину за любое преступление, совершенное конкретным негром, и считает всех темнокожих низшей расой, поскольку их предки были дикарями.

На такие требования можно ответить одно: «По какому праву?», «На каких основаниях?», «По какому принципу?»

Эта абсурдная и несправедливая политика разрушает нравственные основы той борьбы темнокожих, которая основывалась на уважении прав личности. Требуя нарушить права других, они отрицают и теряют собственные права. Тогда им можно ответить так же, как расистам-южанам: ни у кого нет и не может быть «права» нарушать чужие права.

Однако пока политика негритянских лидеров развивается именно в этом направлении. Например, они требуют установить расовые квоты в школах, предлагая заставить сотни белых и темнокожих детей ходить в дальние школы — для «расового равновесия». Опять-таки это чистой воды расизм. Как указывали противники такого требования, распределять детей по расовому признаку несправедливо и если их разделяют, и если их объединяют. А сама идея использовать детей как заложников в политических играх должна возмутить родителей независимо от их национальности, вероисповедания или цвета кожи.

Законопроект о «гражданских правах», который рассматривают в Конгрессе, — еще один пример грубого нарушения прав личности. Запрет на все виды дискриминации в государственных учреждениях и на государственных предприятиях вполне уместен; правительство не имеет права ущемлять интересы граждан. Но, следуя тому же принципу, правительство не имеет права ущемлять интересы одних граждан *ради* интересов других. У него нет права нарушать право частной собственности, вводя запрет на дискриминацию в частных учреждениях и на частных предприятиях.

Ни один человек, будь то негр или белый, не может претендовать на собственность другого человека. Права конкретного человека не нарушаются, если некое частное лицо отказывается иметь с ним дело. Расизм — это пагубная, иррациональная и нравственно ущербная теория, но теории невозможно законодательно запретить или предписать. Подобно тому как мы вынуждены защищать свободу слова для коммунистов, хотя их теории пагубны, мы вынуждены защищать и право расистов распоряжаться своей собственностью. Расизм частного лица — это не юридическая, а нравственная проблема, и решать ее можно только соответствующими средствами, скажем экономическим бойкотом или общественным остракизмом.

Разумеется, если законопроект о «гражданских правах» будет утвержден, это станет самым серьезным покушением на права собственников в прискорбном списке подобных действий в американской истории. [Законопроект был утвержден в 1964 году, включая разделы, нарушающие права собственников.]

Парадоксальным свидетельством философского безумия нынешней эпохи и, как следствие, ее самоубийственного развития служит то, что в первых рядах разрушителей прав личности находятся как раз те люди, которые больше всего в них нуждаются, — темнокожие граждане.

Здесь следует напомнить о том, что нельзя становиться жертвами все тех же расистов, уступая расизму; нельзя упрекать всех темнокожих в отвратительных бессмыслицах, проповедуемых некоторыми негритянскими лидерами. В наши дни ни у одной группы нет

надлежащих интеллектуальных лидеров или надлежащего представительства.

В заключение процитирую потрясающий отрывок из редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» от 4 августа — потрясающий, поскольку такие идеи нетипичны для нашего времени:

«Вопрос не в том, имеет ли та или иная группа, определяемая цветом кожи, внешностью или культурой, права как группа. Вопрос должен стоять иначе: не ущемляются ли права какого-либо американского гражданина независимо от его цвета кожи, внешности или культуры как американского гражданина. Если отдельный человек пользуется всеми правами и привилегиями, гарантируемыми ему законами и Конституцией, то волноваться о группах и массах нет необходимости — они вообще-то существуют лишь как образное выражение».

1963

Говорят, атомное оружие навело на людей такой страх, что отныне никто не может даже помыслить о том, чтобы затеять войну. Но в то же самое время все народы мира, трепеща от ужаса и беспомощности, не могут отделаться от предчувствия атомной войны.

Подавляющее большинство жителей Земли — те, кто погибает на полях сражений или страдает от голода и угасает среди руин, — войны не хочет. Так было всегда. Но не было ни одного столетия, которое обошлось бы без войн — через всю историю отмечая проделанный человечеством путь, тянется длинный кровавый след.

Люди опасаются возможной войны, так как, осознанно или подсознательно, знают, что пока еще не отказались от доктрины, которая приводит к войнам. Она приводила к войнам в прошлом и способна на это в будущем. Эта доктрина гласит, что добиваться своих целей при помощи *физической силы* (применяя силу *первыми* против других людей) справедливо или целесообразно или необходимо, а также может быть оправдано некими «благими намерениями». Согласно этой доктрине, сила — легитимный или, как минимум, неизбежный элемент человеческой жизни и человеческих сообществ.

Рассмотрим одну из самых неприглядных черт современности — совмещение рьяных приготовлений к войне с истеричной пропагандой миролюбия. В действительности у этих двух явлений — *один и тот же источник*, одно и то же политико-философское учение. *Этатизм* — вот имя политической философии нашего века, которая, расписавшись в своей несостоятельности, все же не утратила господствующих позиций.

Посмотрим, что представляет собой по своей природе так называемое «движение борцов за мир». Проповедуя любовь, высказывая тревогу о дальнейшем существовании человечества, они неустанно вопят, что гонку ядерных вооружений нужно остановить, урегулирование международных конфликтов путем вооруженной интервенции — запретить, а войну — от имени всего человечества поставить вне закона. Но в то же самое время эти организации друзей мира не борются против диктатур; их активисты исповедуют этатизм всех возможных оттенков, от доктрины общества всеобщего благосостояния до социализма, фашизма и коммунизма. Иначе говоря, они протестуют, когда одно государство к чему-то принуждает другое, но ничего не имеют против того, чтобы государство в лице правительства к чему-то принуждало своих собственных граждан. Итак, эти люди не одобряют применение силы против *вооруженного* противника, зато вполне санкционируют принятие подобных мер к противнику *безоружному*.

Задумайтесь о грабежах, разрушениях, голоде, зверствах, трудовых лагерях с их подневольными рабами, застенках, массовых бойнях — всех злодеяниях диктатур. Вот что готовы пропагандировать или терпеть — во имя любви к человечеству — современные «борцы за мир»!

Истоки идеологии этатизма (иначе говоря, коллективизма), несомненно, следует искать в аксиомах первобытных дикарей, чьи незрелые умы еще не выработали понятия «права личности». Поэтому дикари верили, что племя — высшая, всемогущая власть, собственник жизни своих членов, имеющий право приносить их в жертву по собственному капризу во имя того, что провозгласит «благом». Не способные вообразить себе какие-либо принципы устройства общества, кроме права грубой силы, дикари полагали, что желания племени ограничены лишь его физическими возможностями, а другие племена предназначены ему природой в качестве добычи. Другие племена следовало подчинять силой, грабить, обращать в рабство или истреблять. История всех первобытных народов — это череда межплеменных войн и геноцида. Тот факт, что эту дикарскую идеологию теперь исповедуют нации, обладающие

ядерным оружием, заставит задуматься любого, кому небезразлично дальнейшее существование человечества.

Этатизм — это система институционализованного насилия и перманентной гражданской войны. Он не оставляет людям другого выбора, кроме жестокой борьбы за политическую власть — грабить или быть ограбленным, убивать или быть убитым. Когда грубая сила — единственный критерий общественного поведения, а покорное непотворение палачу — единственная альтернатива, даже самый забитый из людей, даже животное, загнанная в угол крыса, будет сопротивляться. В государстве рабов мир невозможен.

Самыми кровавыми конфликтами, которые только знает история, были не войны между разными народами, но *гражданские войны* между соотечественниками, которым не удавалось урегулировать свои разногласия мирным путем, апеллируя к правосудию, общечеловеческим принципам или справедливости. Обратите внимание, что история всех абсолютистских государств испещрена кровавыми пятнами восстаний — яростными вспышками слепого отчаяния, не имеющими ни идеологии, ни программ, ни целей; восстаний, которые обычно подавляли, безжалостно истребляя их участников.

При абсолютистском диктаторском режиме хроническая «холодная» гражданская война, характерная для этатизма, принимает форму кровавых чисток — одна банда свергает другую. Так было в нацистской Германии или советской России. В государстве со смешанной экономикой эта война принимает форму ожесточенной борьбы между разными «лобби»: каждая группа добивается законодательных мер, которые позволили бы вымогать у всех других групп выгодные ей уступки.

Чем ближе политическое устройство какого-либо государства к этатизму, тем сильнее его разобщающий эффект. Режим сам дробит страну на враждующие банды и натравливает людей друг на друга. Когда права личности отменены, нет никакой возможности установить, кто на что вправе претендовать; невозможно проверить правомочность чьих бы то ни было притязаний, желаний или интересов. Соответственно не остается других критериев, кроме чисто дикарского принципа: если его банда достаточно сильна, человек может делать все, что только заблагорассудится. Чтобы выжить при таких порядках, люди могут только опасаться, ненавидеть и уничтожать друг друга. Это — общество подпольных козней, тайных сговоров, сделок, фаворитизма, предательств и внезапных кровавых переворотов.

Оно не способствует духу братства, безопасности, сотрудничества и мира.

Этатизм и в теории, и на практике — всего лишь власть банды. Диктатура — это банда, существующая для того, чтобы отнимать у трудящихся граждан собственной страны плоды их усилий. После того как правитель-этатист истощает ресурсы своей страны, он нападает на соседние. Для него это единственный способ оттянуть крах внутри страны и удержаться у власти. Страна, не считающаяся с правами собственных граждан, не будет уважать и права соседей. Те, кто не признает прав личности, не признают и прав наций; ведь нация — лишь множество личностей.

Этатизм *нуждается* в войне, свободная страна — нет. Этатизм живет грабежом, а свободная страна — производством.

Обратите внимание, что величайшие войны в истории человечества начинали те страны, где контроль государства над экономикой был наиболее сильным. Их агрессия была направлена против других, относительно свободных стран. Первую мировую войну начали монархистская Германия и царская Россия, втянувшие в нее своих относительно свободных союзников. Вторая мировая война началась с альянса нацистской Германии и советской России и их совместного нападения на Польшу.

Обратите внимание, что во время Второй мировой войны и Германия, и Россия

захватывали, демонтировали и транспортировали из завоеванных стран на свою территорию целые заводы, а самое свободное из государств со смешанной экономикой, полукапиталистические Соединенные Штаты, прислало по программам ленд-лиза своим союзникам массу техники и оборудования на миллиарды долларов, включая опять же целые заводы^[24].

Германии и России война была нужна; Соединенные Штаты, которым война была не нужна, в результате нее ничего не приобрели. (США, формально выиграв войну, в экономическом отношении фактически ее проиграли: государственный долг был огромен, а теперь вырос еще больше, поскольку по сей день практикуется нелепая и безрезультативная политика финансовой помощи бывшим союзникам и противникам.) Однако с капитализмом современные сторонники мира борются, а этатизм проповедуют, во имя мира.

Единственный общественный строй, который зиждется на признании прав личности, — и соответственно единственный, при котором из социальных взаимодействий исключено принуждение, — это капитализм типа «laissez-faire», то есть такой, где государство не вмешивается в экономику. Одновременно, в силу своих основополагающих принципов и интересов, это — единственный общественный строй, который не приемлет войны.

Те, кто волен производить, не имеют причин для мародерства; в случае войны они ничего не приобретут, но очень многое потеряют. В идеологическом аспекте принцип прав личности не допускает, чтобы люди добывали себе пропитание штыком ни внутри родной страны, ни за ее пределами. В экономическом плане войны стоят денег; в свободной экономике, где имущество принадлежит частным лицам, война оплачивается из кармана граждан, — непомерно раздутой государственной казны, наличие которой могло бы заглушать этот факт, не существует, а гражданам не свойственно надеяться на то, что, победив в войне, они возместят свои личные убытки (например, дополнительные налоговые отчисления, потери в связи с эвакуацией фабрики или утратой имущества). Значит, сохранение мира — в личных экономических интересах гражданина.

При этатистском экономическом строе, где имущество «в общественной собственности», у гражданина (ведь он лишь капля воды в коммунальном ведре) нет экономических интересов, которые он мог бы отстаивать, борясь за мир. К тому же война вселяет в него надежду (обманчивую) на более щедрые подачки хозяина. В идеологическом плане он приучен относиться к людям как к жертвенным животным — да он и сам такое животное; ему ни за что не уразуметь, почему на том же общественном алтаре, во благо того же самого государства, нельзя приносить в жертву иностранцев.

На протяжении всей истории человечества торговец и воин были заклятыми врагами. На полях брани не процветает торговля, под бомбежкой заводы ничего не производят, руины не приносят дохода. Капитализм — общество *торговцев*. За это его и ругает всякий начинающий террорист, считающий коммерцию «эгоистичным» делом, а завоевания — «благородным».

Тем, кто действительно печется о мире, напомним, что *капитализм даровал человечеству самый долгий в истории период мирного сосуществования* — период, обошедшийся без войн, которые охватывали бы весь цивилизованный мир, — с 1815 года, когда окончилась война с Наполеоном, по 1914-й, когда началась Первая мировая.

Не нужно забывать, что XIX век не знал чисто капиталистического устройства общества, только смешанное. Элементы свободы, однако, преобладали; именно этот век и можно назвать «столетием капитализма», самого близкого к идеалу. Но элементы этатизма развивались на протяжении XIX века, пока, наконец, в 1914 году не взорвали весь мир, причем к этому моменту правительства участвующих в войне государств проводили преимущественно этатистскую политику.

Точно так же как на внутривладеполитической арене вина за все зло, причиняемое этатизмом и ограничительными мерами правительства, возлагалась на капитализм и свободный рынок, так и в международных отношениях все отрицательные последствия этатистской политики приписывали капитализму. Такие мифы, как «капиталистический империализм» и «спекулянты, наживающиеся на войне», а также идея, будто капитализм должен завоевывать «рынки», свидетельствуют то ли о недалекости, то ли о беспринципности историков и мыслителей, стоящих на позициях этатизма.

Стержень внешней политики капитализма — *свобода торговли*. Речь идет об отмене торговых ограничений, протекционистских таможенных пошлин, особых привилегий, то есть о том, чтобы открыть торговые пути всего мира для свободного международного товарообмена и конкуренции, осуществляемых напрямую между частными лицами, гражданами всех стран. В XIX веке именно свободная торговля раскрепостила мир, сокрушив пережитки феодализма и этатистской тирании абсолютистских монархий.

«Как и в случае с Римом, мир принял Британскую империю благодаря тому, что она открыла мировые энергетические каналы для коммерции в самых широких рамках. Правда, режим, навязанный Ирландии, в значительной мере был все еще полицейским (по статусу), что имело крайне негативные последствия. Но, за этим исключением, если рассматривать целостную картину, право и свободная торговля являли собой нематериальный экспорт Великобритании. В практическом плане это выглядело так: пока Британия правила морями, любой человек любой национальности мог безопасно добраться куда угодно, а также довести свои товары и деньги в целостности и сохранности»^[25].

Как и в случае Древнего Рима, после того как полицейские элементы смешанной экономики в Великобритании разрослись и, возобладав в политике, привели к победе этатистского режима, развалилась и империя, так как она опиралась совсем не на военную силу.

Капитализм завоевывает и удерживает свои рынки, как внутренние, так и зарубежные, в свободной конкуренции. Рынок, завоеванный в результате войны, выгоден (и то на время) только тем приверженцам смешанной экономики, которые стремятся закрыть его для международной конкуренции, навязать ограничения и тем самым насильно добиться для себя особых привилегий. Бизнесмены, стремящиеся завоевать особые преимущества за счет внутривладеполитических мер и решений правительства, ничем не отличаются от тех, которые стремятся занять некие конкретные рынки благодаря внешнеполитическим действиям правительства. Кто же платит за эти преимущества? Платит за них большинство бизнесменов, внося налоги и тем самым финансируя предприятия, которые не приносят им никакого дохода. Кто же логически обосновывает подобную политику и внушает обществу, что она хороша? Интеллектуалы-этатисты, выдумавшие доктрины «интересов общества», «престижа нации», «неоспоримой миссии».

Во всех государствах со смешанной экономикой на войне люди со связями в политических кругах, во время или по окончании войны сколачивающие при благосклонном попустительстве государства *капиталы*, о которых на свободном рынке им не пришлось бы даже мечтать.

Помните, что частные лица — ни богачи, ни бедняки, ни бизнесмены, ни рабочие — не вольны начать войну. Это полномочие — исключительная прерогатива правительства. Какое же правительство скорее склонно ввязать страну в войну — правительство с ограниченной властью, скованное конституционными нормами, или правительство с неограниченной властью, подверженное давлению любой группы с промилитаристскими интересами или идеологией, которое вправе отправить армию в поход по капризу одного-единственного высокого начальника?

Однако нынешние борцы за мир проповедуют отнюдь не ограничение исполнительной власти.

(Излишне говорить, что односторонний пацифизм — лишь приглашение к агрессии. Свободная страна, как и всякий отдельный человек, имеет право на самозащиту. Но это не дает ее правительству права призывать граждан на военную службу. Военная повинность — самое откровенно эгалитарское нарушение права человека распоряжаться своей жизнью. Нравственность тут не вступает в противоречие с прагматичностью: укомплектованная на добровольной основе армия, по свидетельству многих авторитетов военного дела, наиболее эффективна. Ни одна свободная страна, подвергшаяся нападению зарубежного агрессора, никогда не имела недостатка в добровольцах. Но мало нашлось бы добровольцев участвовать в таких кампаниях, как Вьетнам или Корея. Без армий, сформированных из призывников, внешняя политика эгалитарских государств или государств со смешанной экономикой была бы неосуществима.)

Пока страна свободна хотя бы отчасти, спекулянты, паразитирующие на ее смешанной экономике, не диктуют ей милитаристскую политику и не вовлекают ее в войну. Они — лишь политические стервятники, наживающиеся на общественной тенденции. А изначальная пружина этой тенденции — интеллектуалы, приверженные смешанной экономике.

Рассмотрим, как связаны эгалитаризм и милитаризм в истории идей XIX—XX веков. Точно так же как крах капитализма и развитие тоталитарного государства были вызваны не экономическими причинами, не действиями бизнесменов или трудящихся, но победой эгалитарской идеологии в кругах интеллектуалов, возрождение доктрин, проповедующих завоевание и крестовые походы во имя политических «идеалов», выросло на почве убежденности тех же самых интеллектуалов в том, что «благо» надо добывать силой.

Подъем националистически-империалистических настроений в Соединенных Штатах начался не справа, а слева, не с лобби большого бизнеса, а с реформаторов-коллективистов, вдохновлявших политику Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона. Об истории влияния коллективистов можно прочесть в книге Артура Э. Экерча-мл. «Упадок американского либерализма»^[26]. «Такие явления, — пишет профессор Экерч, — как все возрастающее одобрение обязательной военной подготовки и "бремени белых" в кругах прогрессистов, недвусмысленно напоминали о преимущественно патерналистском характере принимаемых ими законодательных мер в поддержку экономической реформы. Империализм, по словам современного исследователя американской внешней политики, был мятежом против очень многих идеалов традиционного либерализма. "Дух империализма означал, что обязанности ставились выше прав, благосостояние коллектива — выше личных интересов индивида, героические идеалы противопоставлялись материальной заинтересованности, действие — логике, инстинктивный порыв — художничеству размышлению"»^[27].

По поводу Вудро Вильсона профессор Экерч пишет: «Вильсон, несомненно, предпочел бы, чтобы объемы торговли Соединенных Штатов с другими странами увеличивались благодаря свободной международной конкуренции, но затем обнаружил, что его представления о долге и нравственности — отличное оправдание такого способа защиты национальных интересов, как прямая американская интервенция»^[28].

И еще: «По-видимому, он [Вильсон] полагал, что миссия Соединенных Штатов состоит в насаждении своих институций — которые он считал либеральными и демократическими — в других, прозябающих во мраке невежества регионах мира»^[29]. И вовсе не приверженцы капитализма помогали Вильсону разжигать у миролюбивой, не желавшей конфликтов нации истерию милитаристского крестового похода — а «либеральный» журнал «Нью рипаблик». Вот один из аргументов его редактора Герберта Кроули: «Американская нация нуждается в

тонизирующем средстве — в серьезном высоконравственном приключении».

Вильсон, реформатор-«либерал», втянул Соединенные Штаты в Первую мировую войну, чтобы «сделать мир безопасным для демократии»; точно так же Франклин Д. Рузвельт, другой реформатор-«либерал», втянул США во Вторую мировую войну во имя «четырёх свобод». В обоих случаях «консерваторы» — и крупный бизнес — чрезвычайно энергично протестовали против войны, но им заткнули рот. Во время Второй мировой войны они удостоились таких кличек, как «изоляционисты», «реакционеры» и «думающие лишь об Америке».

Первая мировая война привела отнюдь не к победе «демократии» — напротив, появились три диктаторских режима — советская Россия, фашистская Италия и нацистская Германия. Вторая мировая война привела отнюдь не к победе «четырёх свобод», напротив, треть населения планеты попала в коммунистическое рабство.

Если бы целью сегодняшних интеллектуалов был мир, столь масштабная неудача — и фактические доказательства неописуемых страданий такого множества людей — заставили бы их задуматься и повнимательнее присмотреться к этатистским предпосылкам своих выкладок. Вместо этого, слепые ко всему, кроме собственной ненависти к капитализму, они утверждают, что «войны порождаются бедностью» (а также оправдывают войну, сочувствуя соответствующей тяге к обладанию материальными благами). Но вопрос в ином: *чем порождается бедность?* Взглянув на сегодняшний мир, а затем припомнив историю, вы сами найдете ответ: степень процветания страны равняется степени ее свободы.

Другая модная крылатая фраза — это жалоба, что народы мира делятся на «имущих» и «неимущих». Обратите внимание, «имущие» — это те, кто свободен, а у «неимущих» как раз свободы и нет.

Если люди хотят протестовать против войны, то им следует протестовать против *этатизма*. Пока они придерживаются первобытно-племенных аксиом, гласящих, что отдельный человек — лишь жертвенное «пушечное мясо» коллектива; что некоторые люди имеют право насильно управлять другими; что все это можно оправдать неким (каким угодно) гипотетическим «благом», — недостижим ни мир *внутри* народа, ни мир между народами.

Не спорю, благодаря ядерному оружию потенциальные агрессоры теперь остерегаются даже задумываться о войне. Но убитому все равно, что его убило — атомная бомба, динамитная или вообще старая добрая дубинка. Ему все равно и то, сколько еще жертв, каковы масштабы разрушений. Есть что-то непристойное в позиции тех, кто обращает внимание на количественную сторону ужасных событий и ради племени готов послать горстку юношей на смерть, но громогласно протестует против угрозы самому племени; или, хуже того, в позиции людей, готовых смотреть сквозь пальцы на убийство беззащитных жертв, но устраивающих марши протеста против войн между вооруженными до зубов противниками.

Пока людей держат в подчинении силой, они будут давать сдачи, хватаясь за любое доступное им оружие. Если человека ведут в нацистскую газовую камеру или ставят к стенке в советской тюрьме и никто не подает голоса в его защиту, останется ли в его душе хотя бы капля любви к человечеству или беспокойства о его дальнейшем существовании? Выть может, он скорее почувствует, что каннибалы, мирящиеся с диктатурами, не заслуживают права на жизнь.

Если ядерное оружие таит в себе ужасающую угрозу, если для человечества войны — отныне непозволительная роскошь, тогда и этатизм — непозволительная роскошь. Пусть ни один человек доброй воли не берет на себя ответственность за пропаганду насильственных методов управления ни за пределами, ни *внутри* своей страны. Пусть все те, кого действительно волнует сохранение мира, — те, кто воистину любит *человечество*, кому небезразлично, чтобы оно продолжало жить, — поймут, что запретить войну будет возможно, в конечном итоге лишь запретив *применение силы*.

Культ нравственной серости

Один из самых красноречивых симптомов нравственного упадка современной культуры — определенное и весьма популярное отношение к нравственным вопросам. Лучше всего его отражает фраза «Нет ни черного, ни белого, все серое». Применяется она к людям, действиям, нормам поведения и нравственности в целом. «Черное и белое» в данном контексте означают «добро и зло» (с психологической точки зрения интересно отметить обратный порядок слов).

Однако с какой бы стороны вы ни подошли к анализу этой фразы, ее противоречия очевидны (прежде всего, к ним относится ложный вывод «украденного понятия»). Если нет ни белого, ни черного, то не может быть и серого, ибо серый — результат смешения этих двух цветов.

Прежде чем назвать что-то «серым», нужно определить, что белое, что — черное. С точки зрения нравственности это значит, что прежде всего надо определить для себя, что добро, а что — зло. Если человек это определил, у него нет никаких причин считать все серым.

Если нравственные нормы (например, альтруизм) выполнять в жизни невозможно, то их нужно осуждать как «черные», а не называть их жертв «серыми». Если нравственные нормы подразумевают неразрешимые противоречия (например, если, избирая с одной стороны добро, человек принимает зло с другой), то именно от них и нужно отказаться, как от «черных». Если нравственные нормы не имеют никакого отношения к реальности, если они сводятся к спорным, беспочвенным, невыполнимым предписаниям и заповедям, которые надо принимать на веру и выполнять автоматически, следуя им слепо, словно догме, то их последователей нельзя назвать ни «белыми», ни «черными», ни даже «серыми». Нравственные нормы, которые запрещают и парализуют нравственное суждение, по своей сути противоречат сами себе.

Если при разрешении сложной нравственной дилеммы человеку приходится бороться, чтобы понять, какое решение правильно, и он не может сделать правильный выбор или же честно ошибается, то человека этого нельзя назвать «серым»; с нравственной точки зрения он «белый». Ошибки, допущенные нашим разумом, не могут пробить броню нравственности — истинные нравственные нормы не могут требовать всеведения или непогрешимости суждений.

Однако если для того, чтобы избежать ответственности за нравственное суждение, человек закрывает глаза и выключает свой разум, если он уклоняется от фактов и стремится оставаться в неведении, то его нельзя назвать «серым»; с нравственной точки зрения он оказывается «черным», как только сталкивается с реальностью лицом к лицу.

Многие формы заблуждений, неуверенности и эпистемологической небрежности помогают скрыть противоречия и затемнить истинный смысл нравственной серости.

Некоторые считают, что это — просто повторение таких избитых банальностей, как «Нет в мире совершенства», другими словами, в каждом из нас есть и доброе, и злое начало, а значит, с нравственной точки зрения все мы — «серые». Большинство людей, с которыми мы сталкиваемся, действительно подходят под это определение, а потому принимают его как некий вполне логичный факт, не особенно задумываясь. Они забывают о том, что нравственность имеет дело только с вопросами, предполагающими собственный выбор (другими словами, свободную волю), и, таким образом, к ней неприменимо статистическое обобщение.

Если человек «сер» по своей природе, к нему не применимы никакие нравственные понятия, включая и «серость», равно как и само понятие нравственности. Если же он обладает свободной волей, то сам факт, что десять (или десять миллионов) человек сделали неправильный выбор, совсем не обязательно должен повлечь за собой согласие одиннадцатого. Их выбор не имеет никакого влияния на выбор отдельного человека и ничего не доказывает.

Можно назвать множество причин, из-за которых большинство людей нравственно несовершенно, то есть основываются на смешанных, противоречивых предпосылках и ценностях (одна из них — альтруистическая нравственность); но дело не в этом. Независимо от причин, обусловивших их выбор, то, что большинство людей — «серые» с нравственной точки зрения, не отменяет нравственности и «белизны»; мало того, это свидетельствует об их необходимости. И уж тем более не гарантирует «комплексной сделки», которая сводится к тому, чтобы отменить проблему, наделив всех «нравственной серостью», и, таким образом, снять с себя ответственность за нравственное суждение. Пока человек не готов окончательно распрощаться с нравственной нормой и уравнивать мелкого мошенника с убийцей, ему постоянно приходится выявлять и оценивать бесчисленные оттенки «серого», которые встречаются ему в окружающих людях. (А единственно возможный способ судить их сводится к четкому определению «черного» и «белого».)

Такое же убеждение, ведущее к тем же ошибкам, разделяют и те, кто считает, что доктрина нравственной серости — лишь отголосок утверждения «У каждого вопроса две стороны», которое, на их взгляд, подтверждает мысль, что никто не может быть абсолютно правым или абсолютно не правым. Однако они делают ложные выводы. На самом деле утверждение это означает только одно: судя о чем-нибудь, человек должен учесть и выслушать обе стороны. Это отнюдь не означает, что претензии каждой из них в равной степени законны, обоснованны или справедливы. Чаще случается так, что справедлива только одна, а противостоят ей необоснованные претензии (если не хуже).

Конечно, встречаются и сложные ситуации, в которых каждая из сторон в чем-то права, в чем-то не права; однако именно в этом случае «комплексная сделка» — признание обеих сторон «серыми» — абсолютно недопустима. Именно такие вопросы требуют, чтобы мы строго определили критерии нравственной оценки, чтобы опознать и оценить разные аспекты, так или иначе с ними связанные. А это возможно только в том случае, если мы скрупулезно отделим «черное» от «белого».

Для всех этих заблуждений характерна одна и та же ошибка: их сторонники забывают, что нравственность имеет отношение только к вещам, которые человек выбирает добровольно. Другими словами, они забывают о различии между добром и злом.

Однако не все согласились бы с ним, если бы додумались до того, что они тайно пронесли в наше сознание: «Люди *не хотят* быть абсолютно правыми или абсолютно не правыми».

Человек, посмеивший проповедовать эту истину, прежде всего услышал бы: «Говори за себя одного, приятель!»

Именно это он и делает. Сознательно или неосознанно, намеренно или случайно заявляя «Нет ни черных, ни белых», человек, в сущности, признается: «Я не хочу быть абсолютно хорошим. Но, пожалуйста, не считайте меня абсолютно плохим!»

Как и в эпистемологии, где культ сомнения — это мятеж против разума, так и в этике культ нравственной серости — мятеж против нравственных ценностей. И то и другое — восстание против абсолютной власти реальности.

Культ сомнения не мог бы добиться успеха, открыто восставая против разума, и потому ему пришлось поднять отрицание разума до уровня их доводов. Точно так же культ нравственной серости не мог бы одержать верх, бунтуя открыто, и потому всячески стремится превратить отрицание нравственности в сверхдобродетель.

Посмотрите, в какой форме эту доктрину обычно преподносят. Она редко предстает в виде позитива, этической теории или темы для обсуждений. Большею частью мы знакомимся с ней в негативном виде, в форме резкого замечания или упрека, который произносится таким тоном, словно мы нарушили очевидный закон, который и не нуждается в обсуждении. Тон может

варьироваться от удивления до сарказма, гнева, истеричной ненависти, с которыми эту доктрину выплескивают на вас, словно обвиняя: «Надеюсь, вы не думаете категориями "черное — белое"?!»

Большинство людей теряются, смущаются, ощущают свою беспомощность и боятся хоть как-либо затрагивать нравственные темы, а потому торопятся виновато ответить: «Нет, конечно», даже не разобрав, в чем, собственно, их обвиняют. Они не дают себе и минуты, за которую могли бы понять, что истинный смысл обвинения сводится к таким мыслям: «Вы же не настолько несправедливы, чтобы различать добро и зло!», «Ну вы же не настолько злы, чтобы искать добра!» или «Разве вы так безнравственны, что верите в нравственность?»

Чувство нравственной вины, боязнь принять на себя ответственность за нравственное суждение и мольба о прощении читаются в этом популярном высказывании настолько явно, что даже мимолетного взгляда на реальность будет достаточно, чтобы понять, какое уродливое признание они бормочут. Однако бегство от реальности — и необходимое условие, и цель обсуждаемого культа.

С философской точки зрения этот культ отрицает нравственность, а вот с психологической его приверженцы стремятся совсем не к этому. На самом деле они стремятся не к безнравственности, а к нравственности, только более иррациональной — неабсолютной, изменчивой, эластичной, приемлемой для всех. Они не встают «над добром и злом», а просто пытаются сохранить преимущества обоих. Они не бросают вызов нравственности и уж никак не похожи на высокомерных сатанистов Средневековья. Пикантный, современный привкус — именно в том, что они не собираются продать душу дьяволу. Напротив, они предлагают разрезать ее на кусочки и продавать по частям каждому, кто участвует в торгах.

Сторонники этой доктрины не образуют никакой философской школы. В том-то и дело, что их философия не выполнила обязательств. Интеллектуальное банкротство породило иррационализм в эпистемологии, нравственный вакуум в этике, смешанную экономику в политике. Смешанная экономика сводится к борьбе влиятельных политических групп, начисто лишенной каких-либо принципов, ценностей или справедливости; борьбе, в которой самое главное оружие — грубая сила, с виду похожая на компромисс. Культ нравственной серости, замена нравственности, позволил возникнуть такой политике, и люди теперь его придерживаются, чтобы хоть как-то оправдаться.

Если же приглядеться, станет ясно: основной подтекст — не крестовый поход «за белых», а навязчивый страх перед тем, что тебя (не без веских оснований) сочтут «черным». Смотрите, как защищают нравственность, которая считает компромисс нормой ценностей, позволяя, таким образом, измерять добродетель, подсчитывая те ценности, которые ты готов предать.

Последствия и принципы этой доктрины видны повсюду.

Например, в политике термин «экстремизм» стал синонимом зла, независимо от того, к чему он относится (зло — не в том, в чем вы проявляете свой экстремизм, а в том, что вы его проявляете, в вашей последовательности). Посмотрите на так называемых сторонников нейтралитета в ООН. Мало того что они не принимают ничью сторону в противостоянии между Соединенными Штатами и советской Россией. Они принципиально стремятся не делать различий между сторонами, никогда не рассматривая вопрос по существу, но всегда пытаясь достигнуть компромисса в любом конфликте — например, между страной-агрессором и захваченной страной.

А в литературе? Как вам нравится появление антигероя, отличающегося именно тем, что у него нет никаких отличий — ни добродетелей, ни ценностей, ни целей, ни характера, ни значения? Однако в романах и пьесах он занимает то место, которое раньше по праву принадлежало герою, и действие всей книги разворачивается вокруг его действий, даже если он

ничего не делает и ничего не добивается. Обратите внимание, слова «хороший человек» и «плохой человек» звучат теперь иронически. А как вы относитесь к борьбе против счастливых концов, в особенности на телевидении; к требованиям, чтобы у «плохих» были равные шансы и равное количество побед с «хорошими»?

Как и смешанную экономику, людей, действующих согласно смешанным принципам, можно назвать и «серыми». Однако и в том и в другом случае эта смесь вряд ли останется серой надолго. «Серый» — всего лишь прелюдия к «черному». Люди могут быть «серыми», нравственные принципы — нет. Нравственность — это черно-белая система ценностей. Если люди идут на компромисс, всегда предельно ясно, какая из сторон непременно проиграет, какая — непременно выиграет.

Именно поэтому, когда у нас спрашивают: «Надеюсь, вы не думаете категориями "черное — белое"?!» — мы должны отвечать (пусть не в такой форме, но с тем же смыслом): «Думаю, черт меня побери!»

1964

Реквием по человеку

Как яркая сторонница капитализма, я много лет твердила, что капитализм не совместим ни с альтруизмом, ни с мистикой. Совсем недавно те, кто еще сомневался в отсутствии альтернативы, получили подтверждение из уст высочайшего представителя власти наших противников — самого папы Павла VI.

Энциклика «*Populorum Progressio*» («О развитии народов») — необычный документ. Когда читаешь ее, создается ощущение, что давно сдерживаемые эмоции наконец вырвались наружу под натиском многовекового молчания, перехлестывая, затапливая дамбу выверенных, просчитанных с удивительной точностью фраз. Фразы эти противоречат друг другу; чувства поражают своей постоянностью.

Эта энциклика — манифест бесстрастной ненависти к капитализму; но зло, которое она заключает в себе, неизмеримо глубже, и направлено оно не только на политику. Она основана на мистическом и альтруистическом «смысле жизни». Смысл жизни для нее — неосознанный эквивалент метафизики; предвзятого, эмоционально целостного восхваления человеческой природы и ее отношения к бытию. Мистический и альтруистический смысл жизни всегда выражается приблизительно и расплывчато, отсюда и тот уклончивый тон, которым написана энциклика. Однако в ней с удивительным красноречием открывается сущность того, о чем автор пытается умолчать.

В том, что касается капитализма, позиция его выражена с предельной ясностью. Вот что он говорит об индустриальной революции: «Однако к несчастью, в этих новых условиях была создана система, которая рассматривает прибыль как основной стимул экономического прогресса, конкуренцию — как первейший закон экономики, а частную собственность средств производства — как абсолютное право, которое не приемлет ни ограничений, ни долга перед обществом... не имеет ограничений и не подразумевает общественных обязанностей... Но если один из видов капитализма действительно породил чрезмерные страдания, несправедливости и братоубийственные войны, чьи последствия все еще в силе, мы не вправе приписывать самой индустриализации те изъяны, которые таит в себе злокозненная система, идущая с ней рука об руку» (абзац 26).

Ватикан — не редакция третьесортной марксистской газетенки. Он учитывает перспективы, открываемые столетиями, фундаментальные знания и вневременные философские размышления. Дело совсем не в необразованности. Даже сторонники левых партий знают, что совпали не по «несчастной случайности» капитализм и индустриализация, без капитализма индустриализации бы не было.

Какие «чрезмерные страдания, несправедливости и братоубийственные конфликты» вызвал к жизни капитализм? Энциклика на этот вопрос не отвечает. Какая социальная система, былая или будущая, не содержит зародышей того зла, которое можно приписать капитализму? Феодализм Средних веков? Абсолютная монархия? Социализм или фашизм? Ответа нет. А если уж говорить о «чрезмерных страданиях, несправедливости и братоубийственных конфликтах», разве может капитализм сравниться с террором и всеобщей резней в нацистской

Германии или советской России? Ответа нет. Если капитализм не порождает прогресса и благополучия, почему уровень жизни так высок именно в тех странах, чьи системы предусматривают самый высокий уровень экономической независимости, характерной для капитализма? Ответа нет.

Поскольку энциклика затрагивает историю и основные политические принципы, но из всех социальных устройств обсуждает и осуждает исключительно капитализм, напрашивается вывод,

что все другие социальные порядки совместимы с ее политической философией. Эта мысль подкрепляется тем, что энциклика осуждает капитализм, и не за какие-то незначительные свойства, а за самую его суть, которая и отличает его от всех других систем, — прибыли, конкуренцию и частное владение средствами производства.

Из каких же нравственных принципов исходит энциклика, осуждая социальное устройство капитализма? Самое конкретное обвинение гласит: «Желание удовлетворить свои потребности вполне законно, и труд, который стремится удовлетворить их, — долг человека. "Кто не работает, тот не ест". Но стремление приобрести временные блага может привести к корыстолюбию, неутолимому желанию получать все больше и больше, и превратить возрастающее могущество в соблазнительную цель. Отдельные люди, семьи и целые нации, равно богатые и бедные, могут стать жертвами алчности и удушающего материализма» (18).

С незапамятных доиндустриальных времен невежды, которые не могли понять, как разбогатели и чего хотят те, кто добивается благополучия, бросали им обвинение в «жадности». Однако процитированные строки написал отнюдь не невежда.

Слыша слова «жадность» и «скупость», мы мысленно рисуем две карикатуры: толстого и тонкого. Один наслаждается бессмысленным обжорством, другой чахнет над сундуками с золотом. И тот и другой — символы накопления богатства во имя богатства. Это ли движущая сила капитализма?

Если бы все деньги, которые уходят на личные нужды всех богатых людей Соединенных Штатов Америки, были экспроприированы и распределены среди населения, их как раз хватило бы по доллару на человека. (Подумайте, а если распределить их среди населения всего земного шара?) Оставшаяся часть американского богатства инвестируется в производство. Именно постоянно растущие инвестиции повышают уровень жизни в Америке, повышая производительность труда. Это первый закон экономической теории, который папа Павел VI, без сомнения, знает.

Чтобы выявить все эпистемологические манипуляции, обратимся еще раз к процитированному отрывку. Какие образы рождаются в голове за декорациями «жадности» и «скупости»? Нетрудно обнаружить, что изобличаемое зло таится в словах «неутолимое желание получать все больше и больше». Чего же? «Взросшего могущества». Какого могущества? В отрывке нет прямого ответа, но вся энциклика отвечает на этот вопрос, прибегнув к умолчанию: никак не разделяется *экономическое* и *политическое* могущество (производство и сила); в одних отрывках они взаимозаменяемы, в других — явно приравнены друг к другу. Если же посмотреть на реальные факты, можно заметить, что за «возросшим могуществом», которого богачи ищут при капитализме, скрывается право свободно производить, «неутолимо» стремиться к повышению производительности. Так вот что осуждает энциклика! Зло — не в труде, а в таком труде, который хочет чего-то достигнуть.

Этот подтекст подтверждает и мягко подчеркивает отрывок, показывающий, как понимает автор энциклики «менее гуманные» условия общественного существования: «Отсутствие материальных нужд у тех, кто не обладает средствами, минимально необходимыми для поддержания жизни, моральная неполноценность тех, кто искалечен эгоизмом.... общественные формации, подавляющие как за счет злоупотребления правом собственности, так и злоупотреблением властью...» А «более гуманные» условия — это «переход от нищеты к обладанию предметами первой необходимости...» (21).

Что за «предметы первой необходимости» обеспечивают «средства, минимально необходимые для поддержания жизни»? *Какой* жизни? Физического выживания? Если да, то на какой срок? Никакого ответа на эти вопросы нет; но общее положение энциклики определено достаточно ясно: только те, кто не может подняться выше уровня «минимально необходимого

для поддержания жизни», вправе обладать материальными благами, и это право превышает все права других людей, включая их право на жизнь. Об этом в энциклике говорится недвусмысленно:

«С первых же страниц Писание учит нас, что все сотворенное — для человека, и он должен развивать все это разумными усилиями и совершенствовать своим трудом, так сказать, в свою пользу. Если мир сотворен для того, чтобы предоставить каждому человеку средства к существованию и орудия, дающие возможность развиваться, то у каждого человека есть право обрести в мире то, что ему необходимо. Об этом напоминает последний Собор: "Бог предназначил землю и все, что на ней, для каждого человека и каждого народа. Тем самым, если все следуют правде и милости, они должны иметь в разумном изобилии сотворенные блага". Все другие права, включая и право на собственность, и право свободной торговли, должны подчиняться этому принципу» (22).

Посмотрите, чего не хватает в этой картине мира, какое право человека считается несущественным и несуществующим? Более подробно я обращусь к этому чуть позднее. Сейчас я хотела бы обратить ваше внимание на то, в каком значении используется слово «человек» (какой человек?) и термин «сотворенные блага». Кем сотворенные? Неизвестно.

Такие умолчания просто поражают в следующей отрывке энциклики: «Хорошо известно, к каким резким словам прибегали отцы церкви, чтобы описать истинное отношение людей, обладающих благами, к людям, терпящим нужду. Можно процитировать святого Амвросия: "Вы не даруете своих богатств нищим. Вы отдаете им то, что принадлежит им по праву, ибо то, что было даровано всем на равных условиях, вы присвоили себе. Мир дарован всем, а не только богатым". Это значит, что никто не имеет безусловного и полного права на частную собственность, ни у кого нет оснований присваивать в свое исключительное пользование то, что превышает его нужды, когда другие терпят недостаток в самом необходимом...» (23)

Святой Амвросий жил в IV в., поэтому такие взгляды на собственность вполне можно объяснить, и даже оправдать. Однако с XIX века положение изменилось.

Как предлагает энциклика разрешить проблемы современного мира? «Личная инициатива и свободная игра в конкуренции никогда не могли обеспечить успешного развития. Мы должны, по мере возможности, стремиться не допускать еще большего обогащения богатых и главенства сильных, когда нищие остаются в нищете, а угнетенные — в рабстве. Таким образом, необходимо разрабатывать программы, чтобы "поощрять, стимулировать, координировать, дополнять и объединять" усилия разных людей и посреднических сил. Органы государственной власти должны выбирать, верней даже, определять цели, к которым нужно стремиться, задачи, которых нужно достичь, и соответствующие способы. Именно они должны стимулировать все силы, вовлеченные в общую деятельность» (33).

Общество, в котором правительство («органы государственной власти») избирает и определяет цели, к которым нужно стремиться, задачи, которых нужно достичь, и соответствующие способы, — это тоталитарное государство. Поэтому следующая фраза вызывает нравственное потрясение:

«Пусть они привлекут к этой работе личную инициативу и посреднические организации. Таким образом, им удастся избежать полной коллективизации или деспотического планирования, которые за счет отрицания свободы будут мешать осуществлению основных прав человека» (33).

Каковы же «основные права человека» (которые, заметим, энциклика не определяет) в государстве, в котором «все другие права... должны подчиняться этому принципу («праву» на средства, минимально необходимые для поддержания жизни)»? (22) В чем заключается «свобода» или «личная инициатива» там, где правительство устанавливает задачи и присваивает

средства? Что такое *неполная* коллективизация?

Трудно поверить, что у примиренцев, к которым обращен этот отрывок, дар обходить самое существенное настолько велик, чтобы они приняли эти слова за панегирик смешанной экономике. Смешанная экономика включает элементы и капитализма, и этатизма. Если принципы и установки капитализма порицаются и уничтожаются в корне, предотвратить *полную* коллективизацию, контролируруемую государством?

(Когда поймешь, что автор считает упомянутый дар бесконечным, испытываешь истинный шок. Однако, учитывая отклики, которые получила энциклика, он не ошибается.)

Я всегда полагала, что каждая политическая теория основана на каком-то этическом кодексе. Энциклика подтверждает мое мнение, хотя ее нравственный кодекс противоположен моему. «Тот же долг солидарности, который есть у каждого человека в отдельности, есть и у наций: "Развитые страны обязаны помогать развивающимся народам". Этот принцип должен быть претворен в жизнь. Хотя вполне естественно, что те дары, которые Провидение посылает нации в награду за труд отдельных ее представителей, прежде всего должны облагодетельствовать именно саму нацию, ни одно государство не должно претендовать на то, чтобы его богатство принадлежало ему одному» (48).

Что ж, достаточно ясно. Однако автор энциклики берет на себя труд это разъяснить, чтобы его не поняли превратно. «Другими словами, правило свободной торговли само по себе больше не может управлять международными отношениями... Вы должны признать, что основной принцип либерализма, в качестве правила коммерческого обмена, подвергается здесь сомнению» (58).

«Мы повторяем еще раз, что избыточное богатство должно быть предоставлено бедным нациям, и та заповедь, которая раньше требовала от нас идти с добром к нашим ближним, теперь должна включить в себя всех нуждающихся мира» (49).

Если нужда, всеобщая нужда — критерий нравственности, а минимальные средства, обеспечивающие выживание (то есть уровень жизни самых неразвитых дикарей), — критерий прав на собственность, то каждая новая рубашка, каждая порция мороженого, каждый автомобиль, холодильник, телевизор становятся «излишним богатством».

Помните, что «богатство» — понятие весьма относительное. Рабочие в США несусветно богаты по сравнению с рабочими в Азии или Африке. Тем не менее энциклика считает «несправедливой» свободную торговлю среди стран, находящихся на разных этапах развития, на том основании, что «промышленно развитые страны» большей частью экспортируют промышленные товары, в то время как в странах с менее развитой экономикой есть только продукты питания, ткани и сырье на продажу» (57). Исходя из предположения, что это увековечивает бедность неразвитых стран, энциклика требует, чтобы международная торговля регулировалась не законами свободного рынка, но *нуждой* самых нуждающихся ее участников.

Как это выглядит на практике, показывается весьма определенно: «Это требует от богатого человека большой щедрости, огромного самопожертвования и не-смолкающего голоса совести, совести, чье послание меняется вместе со временем.... Готов ли он платить более высокие налоги, чтобы органы государственной власти могли сплотиться во имя развития? Готов ли он платить более высокую цену за импортированные товары, чтобы их производитель получал заслуженную награду?» (47)

Но ведь налоги платят не только богатые; большая часть налогового бремени США ложится на плечи среднего и низшего класса. Товары или сырье ввозятся не только для личного потребления богатых. Цена на продукты питания не очень волнует богатых, больше всего она влияет на бедных. Поскольку *продукты питания* в основном производят неразвитые страны, подумайте, что будет, если последовать советам энциклики. Американской домохозяйке

придется покупать овощи и зерно, выращенные людьми, которые ковыряют почву руками или ручными плугами, и платить за них такую цену, за которую от американских фермеров, использующих механизированные орудия труда, она получила бы в сто или даже тысячу раз больше. Какими частями семейного бюджета ей придется пожертвовать, чтобы производители из неразвитых стран «получали заслуженную награду»? Придется ли ей покупать меньше одежды? Но часть семейного бюджета, отведенная на ее покупку, сократится таким же образом, ибо ей придется «заслуженно вознаграждать» производителей тканей и другого сырья. И так далее. Что же случится с ее уровнем жизни? Что случится с американскими фермерами и производителями сырья? Чтобы конкурировать не в рамках продуктивной конкуренции, а в рамках *нужды*, им придется остановить свое развитие и вернуться к ручному плугу. Что же тогда случится с уровнем жизни во всем мире?

Нет, нельзя и предположить, чтобы папа Павел VI настолько не разбирался в экономике и настолько не мог рассмотреть в деталях собственные теории, что выдвинул свое предложение во имя «гуманности», не понимая, какую невыразимую и бесчеловечную жестокость они повлекут за собой.

Однако в основе таких мыслей лежит определенная предпосылка, которая что-то объяснит. Она может примирить противоречия энциклики — оговорки, увиливания, умолчания, вопросы без ответа — и выстроить из них четкую структуру. Чтобы понять эту предпосылку, стоит спросить: Как рассматривается в энциклике природа человека?

Те, кто разделяет такую точку зрения, предпочитают ее скрывать или не определять полностью. Обусловлено это не столько сознательной философской системой, сколько чувством, которое диктуется «смыслом жизни». Сознательная философия тех, кто разделяет его, в основном заключается в попытках ее рационализировать. Чтобы понять эту позицию, обратимся к ее истокам (то есть к явлению, которое ее породило, исходя из смысла жизни).

Представьте себе лицо ребенка, когда он, наконец, нашел ответ на мучавший его вопрос. Оно светится радостью, если не триумфом, неосознанно отражая уверенность в себе, и его сияние распространяется в двух направлениях — вовне, озаряя мир, и внутрь, высекая искру, которая потом разгорится в заслуженную гордость. Те, кто это видел, или сам испытал, непременно поймут: если есть на свете что-то «священное», то есть самое лучшее, высшее из доступного человеку, то это выражение лица — священо. Его нельзя предать, им нельзя пожертвовать ради чего бы то ни было.

Бывает оно не только у детей. В комиксах его обычно изображают, помещая над головой персонажа, которому внезапно в голову пришла идея, зажженную лампочку. Лампочка, которая зажглась в душе человека, — символ, соответствующий этому выражению лица.

Именно ее ровный, уверенный свет вы ищете на лицах взрослых, особенно тех, кому вы доверяете самое дорогое для вас. Вы ищете его в глазах хирурга, который оперирует любимого вами человека. Вы ищете его в глазах пилота, ведущего самолет, на котором вы летите; и если вы последовательны, вы ищете его в глазах того человека, с которым собираетесь связать жизнь.

Просветленное лицо — вспышка человеческого разума в действии, внешнее проявление мыслительных способностей, сигнал и символ нашего *разума*. В зависимости от того, насколько вы человечны, оно вовлечено во все, чего вы ищете, чему радуетесь, что цените и любите.

Теперь представим себе, что это выражение, мелькнувшее на лице ребенка или взрослого, нисколько не восхищает вас. А что, если оно вызывает смутный, неназванный страх? Всю свою жизнь и все философские способности вы потратите на то, чтобы так и не найти имени этому страху. Вы будете отыскивать объяснения, позволяющие вам его спрятать. Вы скажете, что лицо выражает «эгоизм», «дерзость» или «наглость», и все это будет верно, однако отнюдь не в той степени, какую вы хотите показать. Вы сочтете, что это выражение лица — ваш злейший,

коварнейший, опаснейший враг, и желание стереть его возобладает над логикой, последовательностью, реальностью. Желая его уничтожить, вы стремитесь, в сущности, сломить дух человека.

И тогда вы и станете относиться к жизни так, что сможете написать энциклику «*Populorum Progressio*». Она продиктована «смыслом жизни» не отдельной личности, но некоей организацией.

Доминантный аккорд такого мировоззрения — ненависть к человеческому разуму. Отсюда вытекает ненависть к самому человеку и к жизни, из нее — ненависть ко всей земле, ненависть к радости, а уж отсюда — ненависть к единственному общественному строю, который позволяет наслаждаться всеми этими ценностями.

Докажу это на одном-единственном примере. Представьте, что будет, если мы обречем американцев на вечный, монотонный, принудительный труд без всякого вознаграждения, заставим их работать на пределе сил или даже больше, не пообещав взамен ничего, кроме средств, минимально необходимых для поддержания жизни, — и все затем, чтобы дикари пользовались плодами их усилий. Что бы вы подумали, услышав такое предложение? Я вижу молодых людей, вступающих в жизнь с уверенностью в своих силах и готовностью к труду, которые корпят над книгами, посвятив всего себя будущему и ожидая его с радостью, без жалоб. Как важны для них новый костюм, новый ковер, старая машина, купленная по дешевке, или билет в кино! Все это словно подпитывает их храбрость в схватке с миром. Тот, кто этого не видит, мечтая избавиться от «плода их трудов» и полагая, что человеческие усилия — недостаточная причина для того, чтобы человек сам распоряжался их плодами, может прикрываться любыми рассуждениями. Ясно одно — людей он не любит.

Я могла бы остановиться на этом примере, но не хочу. Энциклика не только излагает некий смысл жизни, но дает ему конкретное, сознательное философское обоснование.

Заметьте, она направлена не на то, чтобы уничтожить разум человека. Ей нужен медленный и более мучительный результат — порабощение.

Ключ к пониманию социальных теорий, содержащихся в энциклике, вы найдете в словах Джона Галта: «Я тот, с кем ваши недомолвки позволяли вам не считаться. Я тот, кому вы не давали ни жить, ни умереть. Вы не хотели, чтобы я жил, ибо сознавали и боялись, что я несущий на своих плечах ту ответственность, которую вы с себя сбросили, и ваша жизнь от меня зависит. Вы не хотели, чтобы я умер, потому что вы знали об этом» («Атлант расправил плечи»).

Энциклика не признает и не подтверждает существования человеческого разума: она обращается с ним, как с не имеющим отношения к делу свойством, которое учитывать не нужно. Вот основное и фактически единственное упоминание о роли разума в человеческой жизни: «Появление индустрии — необходимое условие экономического роста и человеческого прогресса. Можно расценивать его и как признак развития, способствующий ему. За счет настойчивого труда и использования собственных интеллектуальных способностей человек постепенно вырывает у природы ее секреты и находит лучшее применение ее богатствам. Развивая в себе самообладание, он развивает и вкус к исследованиям и открытиям, способность идти на обдуманый риск, бесстрашие в своих начинаниях, щедрость и размах в своих действиях и чувство ответственности» (25).

Обратите внимание: о творческих способностях человеческого разума (его основном средстве выживания, той отличительной черте, которая выделяет его из мира животных) в энциклике говорится как о приобретенном «вкусе», будто речь идет о любви к оливкам или какой-то моде. Даже это жалкое утверждение не остается без уточнений; рядом с принимаемыми в качестве ценности «исследованиями и открытиями» появляются такие неуместные понятия, как «щедрость».

То же самое происходит и с понятием «труд». Энциклика предупреждает, что «ему (труду) иногда придают слишком большое значение», однако признает, что труд — творческий процесс, не преминув добавить, что «когда работа сделана сообща, когда люди разделили надежду, трудности и радость от свершенного... они становятся братьями» (27). И далее: «Труд, конечно, может оказывать противоположное действие, т.к. он обещает деньги, наслаждение и власть, развивая в одних эгоизм, а в других — бунтарство...» (28)

Это значит, что наслаждение, которое нам дарит продуктивная работа, зло; экономическая власть, которую нам дарит продуктивная работа, — зло; и деньги, которые так пылко выпрашивают на протяжении всей энциклики, тоже зло, если они у тех, кто их заработал.

Вы можете представить себе Джона Галта, который работает «сообща», делит «надежду, трудности, амбиции, радость от свершенного» с Джеймсом Таггартом, Уэсли Мауч и доктором Флойдом Феррайзом? Вы скажете, это только герои книг. Что ж, может быть. Вспомните Пастера, Колумба, Галилея — что стало с ним, когда он попытался разделить свои «надежду, трудности, радость от свершенного» с католической церковью?

Нет, энциклика не отрицает, что есть и гениальные люди, иначе она бы не молила так о всеобщем объединении. Если бы каждого было можно заменить, если бы разные возможности не имели никакого значения и всякий производил бы одинаковое количество продуктов, никто бы не получил от объединения никакой выгоды. Энциклика допускает, что некие неназванные, непризнанные первоисточники богатства каким-то образом продолжали бы работать, и тем не менее создает такие условия, в которых работа этих первоисточников попросту невозможна.

Разум — не монополия гения; он есть у всех людей. Разница только в разных возможностях. Если условия разрушительны для гения, они разрушительны для любого человека, в соответствии с его интеллектуальными способностями. Если гений карается законом, то таким же образом караются и интеллектуальные способности каждого человека. Разница только в том, что обычный человек, в отличие от гения, не сможет противостоять этому гнету со спокойной уверенностью в себе. Он сломается гораздо быстрее, в безнадежной растерянности откажется от разума при первых же признаках давления.

В мире, который мечтает построить энциклика, нет места человеческому разуму, нет места и человеку. Населяют его бесчувственные роботы, используемые для исполнения предписанных заданий в гигантской машине племени; роботы, лишённые выбора, права суждения, ценностей, убеждений и, прежде всего, самооценки.

«Вы не даруете своих богатств нищим. Вы отдаете им то, что принадлежит им по праву» (23). Разве богатство, нажитое Томасом А. Эдисоном, принадлежит бушменам, которые его не наживали? Разве ваша плата за неделю принадлежит хиппи из соседней квартиры, которые ничего не заработали? Человек никогда не сможет принять подобную логику; а вот робот сможет. Человек будет гордиться тем, чего он достиг; именно эту гордость за достигнутое и нужно уничтожить в роботах будущего.

«Ибо то, что было даровано всем для общего использования, вы присвоили себе» (23). «Бог предназначил землю и все, что на ней, для каждого человека и каждого народа» (22). Вы тоже находитесь на земле, значит — и вы предназначены для «каждого человека и каждого народа»? Автору энциклики ответ ясен — да, ибо идеальный мир, который показан в ней, основан на этой предпосылке.

Но человек никогда не сможет ее принять. Человек, подобный Джону Галту, скажет: «Вы так и не открыли индустриальную эпоху, потому и цепляетесь за мораль варварских времен, когда жалкое существование обеспечивал физический труд рабов. Каждый мистик всегда мечтал о рабах, чтобы защититься от материальной реальности, наводящей на него ужас. Но вы, нелепые мелкие атависты, слепо смотрите на небоскребы и трубы вокруг вас, мечтая о том, как

поработить тех, кто обеспечивает вам материальные блага, — ученых, изобретателей, промышленников. Когда вы защищаете общественное владение средствами производства, вы защищаете общественное владение разумом» («Атлант расправил плечи»).

Робот никогда так не скажет. Робота запрограммируют, чтобы он не думал об источнике богатства и не узнал, что источник этот — человеческий разум.

Слыша сентенции вроде «Все созданное отдано человеку» (22) и «Мир дарован всем» (23), человек сразу поймет, что это отговорки, отвлекающие от мыслей о том, как же использовать природные ресурсы. Он знает, что ему ничего не даровали.. Чтобы преобразовать сырье в то, что необходимо человеку, нужен умственный и физический труд, на который одни люди способны, а другие — нет, и что по справедливости никто не обладает изначально правом на блага, созданные умственным и духовным трудом других людей. Робот не будет протестовать и не видит разницы между собой и сырьем; он воспринимает свои действия как данность.

Человек, который любит свою работу и знает, какой колоссальной силы, какой дисциплины мысли, энергии, цели, преданности, она требует, взбунтуется, только подумав, что плодами ее будут пользоваться те, кто не ценит ее и презирает. Энциклика же так и дышит презрением к материальному производству. «Менее обеспеченные люди никогда не смогут устоять перед искушением, которое несут им богатые нации». Искушает их прежде всего «образ действий, который изначально направлен на обладание материальным благосостоянием» (41). Проповедуя «диалог» между разными цивилизациями, энциклика подчеркивает, что он должен быть «основан на человеке, а не на товарах или технических навыках...» (73). Это означает, что технические навыки — какая-то мелочь, ерунда, и для обладания ими не нужно иметь никаких особых достоинств, а способность производить товары не требует признания и входит в понятие «человек».

Таким образом, требуя плоды индустриального процветания, автор энциклики пренебрежительно и безразлично относится к их источнику. Энциклика признает существование следствий, однако игнорирует причину; она претендует на то, что ведет речь о возвышенных и нравственных материях, однако исключает процесс материального производства из сферы нравственных вопросов, словно это — деятельность низшего порядка, которая не включает и не требует никаких моральных принципов.

Приведу отрывок из книги «Атлант расправил плечи»: «Промышленник? [...] Такого человека нет. Фабрика— "природный ресурс", как дерево, скала или лужа [...] Кто решил проблему производства? Человечество, отвечают вам. Что это дало? Вот, пожалуйста, товары. Откуда они взялись? Да так как-то. В чем их причина? У вещей нет причин». (Последняя фраза к данному случаю не подходит, энциклика дает другой ответ — «Провидение».)

Процесс производства контролируется и направляется человеческим разумом. Это не какая-то неопределенная способность; для того, чтобы разум действовал, требуются определенные условия, и одно из ключевых слов тут — свобода. Энциклика на удивление красноречиво избегает и намек на условия, необходимые для работы разума, словно считает, что человеческая мысль может идти в любом направлении при любых условиях, при любом давлении, или словно намеревается остановить ее стремительный бег.

Если бы человеком двигателя забота о бедных или страждущих, он бы непременно попытался доискаться до причин их положения. Он бы сразу спросил: почему одни нации развиваются, а другие — нет? Почему одни нации достигли материального изобилия, а другие погрязли в нужде, недостойной человека? История и, в особенности, беспрецедентный рост благополучия в XIX веке подсказали бы ему ответ: капитализм — единственная система, которая позволяет людям достичь производственного изобилия, а ключ к капитализму — личная свобода.

Несомненно, политическая система оказывает воздействие на экономику общества,

защищая продуктивную деятельность человека или препятствуя ей. Но именно этого энциклика никогда не признает и не позволит признать. Именно взаимоотношения политики и экономики она яростно игнорирует и отрицает, определенно давая понять, что их просто нет.

Рисуя картины будущего мира, в котором цивилизованные страны возьмут на себя бремя помощи нецивилизованным странам, энциклика утверждает: «Страны, получающие помощь, имеют право требовать, чтобы в их политическую жизнь или общественный строй никто не вмешивался. Как суверенные государства, они имеют право сами вести свои дела, выбирать свой политический курс и свободно двигаться в сторону того типа общества, который они выбирают» (54).

А что, если в том типе общества, который они выберут, производство, развитие и прогресс невозможны? Что, если они — сторонники коммунизма, как советская Россия; или проповедуют истребление меньшинств, как нацистская Германия; или устанавливают кастовую систему, как Индия; или склоняются к кочевой, антииндустриальной форме существования, как какая-нибудь из арабских стран; или просто состоят из племен, управляемых жестокой силой, как одна из новых стран Африки? С молчаливого согласия энциклики все это решает суверенное государство, а мы должны уважать «различные культуры», и цивилизованным нациям каким-то образом придется покрыть дефицит.

Некоторые аспекты такого мировоззрения так прямо высказаны в энциклике. «Учитывая растущие потребности развивающихся стран, вполне естественно, что развитые страны должны выделять часть своего производства на выполнение этих нужд, а также обучать преподавателей, инженеров, техников и ученых, чтобы они предоставляли свои знания и умения в распоряжение менее удачливых народов» (48).

Энциклика содержит предельно жесткие инструкции для таких посланников: «Они должны вести себя не свысока, как господа, но как помощники и коллеги. Люди быстро понимают, пришли ли им помогать от чистого сердца или нет... и помощь их молено отвергнуть, если она не будет даром братской любви» (71). Они должны быть полностью лишены «националистической гордости»; они должны «понимать, что их компетентность не дает им превосходства в какой бы то ни было сфере». Они должны сознавать, что «их цивилизация не единственная и что она не обладает монополией на какие-то ценности». Они должны стремиться открывать историю и культурное богатство той страны, которая их принимает. Тогда между ними установится взаимопонимание, которое послужит обогащению обеих культур» (72).

И это говорится цивилизованным людям, которые отправляются в страны, где люди откармливают священных коров, когда их собственные дети мрут с голода, где младенцев женского пола убивают или бросают, где люди слепнут от того, что их религия запрещает лечиться, где женщин уродуют, чтобы обеспечить их верность, где участника церемоний подвергают жесточайшим пыткам, где попросту едят людей! Эти ли «культурные ценности» западный человек должен приветствовать «с братской любовью»? Этими ли «ценностями» он должен восхищаться? В этих ли «сферах» он не должен чувствовать свое превосходство? Когда он откроет, что все население страны гниет заживо, должен ли он с гордостью признать достижения своей нации и своей культуры и поблагодарить людей, которые их создали, оставив ему на сохранение достойное наследство?

Энциклика ответила бы «нет». Он должен не судить, не подвергать сомнению, не осуждать, но только любить, беспричинно, без разбора, не ставя условий, наперекор собственным ценностям, стандартам или убеждениям.

(На самом деле, единственная помощь, которую западная цивилизация может оказать неразвитым странам, сводится к тому, чтобы рассказать им о сущности капитализма и помочь им построить его у себя. Однако это вступает в противоречие с местными «культурными

традициями»; индустриализация не приветается на почве суеверной внеразумности; возможно либо одно, либо другое. К тому же это знание потерял и сам Запад, и именно его прокликает энциклика.)

Требую какого-то непривередливого релятивизма по отношению к культурным ценностям примитивных культур и подчеркивая необходимость уважать их право на собственный уклад, западной цивилизации она этого не позволяет. Говоря о западных предпринимателях, ведущих дела со странами, «недавно открывшими для себя индустриализацию», энциклика вопрошает: «Почему же они возвращаются к негуманным принципам индивидуализма, когда действуют в менее развитых странах?» (70)

Ужасы племенного существования в этих неразвитых странах не вызывают в энциклике осуждения. Она порицает только индивидуализм. Принцип, который вытаскил человечество из болота, назван «негуманным».

В свете этих слов заметнее презрение к концептуальной цельности, когда энциклика проповедует «создание лучшего мира, который бы глубже уважал права и призвание индивидуума» (65). Какие права могут быть у индивидуума в мире, в котором индивидуализм считается «негуманным»? Ответа нет.

В энциклике есть и еще одна отсылка к западной цивилизации. «Мы рады узнать, что в некоторых странах "военная обязанность" частично заменяется "общественными обязанностями", "службой в чистом виде"» (74).

Возможный источник идеи такой замены — слова о том, что американская молодежь обязана посвятить своей стране несколько лет «рабства в чистом виде», на самом деле это ошибочное понятие, более ужасное, чем воинская повинность, противоречит всем основным американским принципам.

Именно философия, которая лежит в основе Соединенных Штатов, — тот враг энциклики, которого она стремится уничтожить. Случайное упоминание, направленное вроде бы против Латинской Америки, — не более чем уловка, мина-ловушка для тех, кто готов пойти на компромисс, лазейка, которой они с удовольствием и пользуются. В энциклике говорится: «Если какая-то земельная собственность препятствует общему процветанию, т.к. слишком велика, или не используется, или используется неэффективно... иногда во имя общих целей приходится требовать ее экспроприации» (24).

Какие бы грехи ни числились за Латинской Америкой, капитализм к ним не относится. Капитализма — системы, основанной на признании и защите частных прав, — никогда там не было. И раньше, и в наши дни Латинской Америкой управляет примитивная форма фашизма — неорганизованные, неструктурированные военные банды, которые приходят к власти при помощи военного переворота, другими словами, при помощи физической силы. Это дает номинальный предлог для экспроприации частной собственности любой военной группировке, находящейся у власти (что и обуславливает Латинской Америке экономический застой).

Основная цель энциклики — помощь неразвитым странам во всем мире. Латинская Америка занимает не последнее место в списке этих стран; ведь она не может прокормить собственное население. Может ли кто-нибудь представить себе, что она обеспечивает нужды всего мира? Только Соединенные Штаты Америки, созданные на принципах индивидуализма, — самый свободный образец капитализма за всю историю человечества, первая и последняя страна, которая выполняет Права Человека, — могли бы взять на себя эту роль, что равносильно самоубийству.

Следует отметить, что энциклику не волнует человек, личность, индивидуум. «Единица», которой она оперирует, — это племя. Нации, страны, народы обсуждаются так, словно они обладают тоталитарным правом избавиться от своих граждан, а личность, индивидуум сам по

себе не имеет никакого значения. В этом и заключается стратегия энциклики: самое значительное достижение западной цивилизации за то тысячелетие, в течение которого она борется за индивидуализм, также за последние смутные годы, — Соединенные Штаты Америки. С исчезновением США, то есть капитализма, на всей земле ничего не останется, кроме коллективизированных племен. Чтобы ускорить пришествие этого дня, энциклика рассуждает о нем как о свершившемся факте и разбирает взаимоотношения между племенами.

Смотрите-ка, ведь именно эту мораль — этику самоуничтожения, которую на протяжении столетий требовали от индивидуума, теперь предъявляют как основную ценность цивилизованным нациям. Кредо самопожертвования — изначальное оружие, созданное для того, чтобы наказать человека за успех, которого он добился, подорвать его уверенность в себе, искалечить его независимость, отравить наслаждение жизнью, кастрировать гордость, остановить самоуважение и парализовать мозг, — теперь идет в ход для того, чтобы сокрушить цивилизованный мир и цивилизацию как таковую.

Привожу слова Джона Галта: «Вы достигли тупика того предательства, которое вы совершили, признав, что у вас нет права на существование. Однажды вы поверили, что это "только компромисс"; вы признали, что жить ради себя — зло, а жить ради своих детей — высоконравственно. Затем вы согласились, что жить во имя детей эгоистично, а жить во имя сообщества — высоконравственно. Затем вы пришли к выводу, что жить во имя своего сообщества эгоистично, а высоконравственно — жить во имя страны. Теперь вы позволяете любому подонку из какого-нибудь уголка земли поглотить величайшую из стран, пока вы принимаете на веру, что жить во имя своей страны — тоже эгоистично, и ваш моральный долг — жить во имя всего земного шара. У человека, который отдал право на жизнь, нет права и на какие-либо ценности, и он никогда не сохранит их» («Атлант расправил плечи»).

Права — условия существования, которые требует природа человека, чтобы он сохранился как человек, другими словами — как разумное существо. С альтруизмом они несовместимы.

Душа человека, его дух — сознание; движущая сила этого сознания — разум. Лишите его свободы, другими словами, лишите его права использовать свой разум, и от него останется только физическая оболочка, которой сможет манипулировать любое племя.

Спросите себя, читали ли вы когда-нибудь документ, столь ориентированный на плоть и плотское, как эта энциклика. В ней утверждается мысль о том, что люди, населяющие землю, — роботы, отвечающие на малейшее возбуждение. Нужда — самая низменная, пошлая, физическая нужда всех роботов; а нужны им только средства, едва достаточные для того, чтобы они работали, ели, спали и размножались. Жесточайший уровень бедности — это тот уровень, на котором животные нужды становятся единственной целью и заботой; тот уровень, на котором энциклика собирается установить и зафиксировать все человечество, чтобы нужды эти были единственной мотивацией («все другие права... нужно подчинить этому принципу»).

Если энциклика обвиняет капитализм в том, что люди при нем становятся жертвами «удушающего материализма», то какую же атмосферу создаст *этот* мир?

Вот что пишет один из выживших там, где удалось «внедрить» такие планы: «Их способности (то есть — способности остальных) нам были неизвестны, их нужды не поддавались нашему контролю. Мы знали одно — что мы выучные животные, которые слепотычутся то ли в больнице, то ли в бараке, словом -- в месте, которое способствует только бессилию, бедствию, болезни. Что бы и кто бы ни говорил, загнали нас туда для удовлетворения его нужд... Работать, не имея ни малейшей надежды на дополнительный паек, пока мы не накормим всех жителей Камбоджи или пока все жители Патагонии не будут обучаться в колледже за наш счет. Работать ради пустого чека, который держат все поголовно люди, хотя ты их никогда не увидишь, нужд их никогда не узнаешь, о чьих способностях или лени, халатности

или мошенничестве никогда не услышишь и не получишь права спрашивать. У тебя право одно — работать, работать и работать. А там уж пусть Арви и Джеральды решают, чей желудок поглотит труды, мечты и дни твоей жизни» («Атлант расправил плечи»).

Вы думаете, я преувеличиваю и никто не исповедует таких идеалов?

А может, вы хотите сказать, что идеи энциклики никогда не претворятся в жизнь? Они на это и не рассчитаны.

Они рассчитаны не на то, чтобы облегчить страдания или отменить бедность, а на то, чтобы вызвать чувство вины. Они рассчитаны не на то, чтобы их принимали и осуществляли, а на то, чтобы их приняли и нарушили из-за эгоистичного желания жить, которые сочтут постыдной слабостью. Люди, принимающие как идеал нереальные, недостижимые цели, никогда не смогут поднять голову и никогда не смогут узнать, что только склоненная голова и была достигнутой целью.

Альтруизм не думает о том, как облегчить страдания, он просто объясняет ими свои действия. Самопожертвование — не путь к счастливому концу, оно самодостаточно. Это — перманентное состояние человека, стиль жизни и тяжелый, безрадостный труд на бесплодной и унылой земле, когда в затянутых пеленой потухших глазах детей не вспыхивает никаких вопросов.

В энциклике это предположение фактически подтверждается: там нет и попытки хоть как-то обосновать альтруистическое мученичество. Она объявляет: «Человек далек от того, чтобы быть мерой всех вещей, и потому может осознать себя, только выйдя за свои пределы» (42). (Сойдя в могилу, что ли?) И дальше: «Дорога к большей человечности требует от нас многих жертв и усилий, но страдание, принятое нами во имя наших братьев, способствует продвижению всеобщей семьи» (79). «Эта дорога к Богу объединяет всех нас» (80).

Что же касается отношения к человеческому разуму, то отчетливее всего позиция Его святейшества прослеживается не столько в энциклике, сколько в той речи, которую папа Павел VI произнес перед собранием римских епископов 7 апреля 1967 года. Папа осуждает сомнения в любой догме, которая не приносит удовольствия и требует подчинения. Кроме того, он призывает священников бороться с «культом собственной личности» («Нью-Йорк Таймс» от 8 апреля 1967 года).

К тому, какая же система лучше, энциклика презрительно равнодушна. По-видимому, любая политика сойдет, если экономику будет контролировать государство. Смутные отсылки к какой-то номинальной форме частной собственности наводят на мысль, что, может быть, энциклика одобряет и фашизм. С другой стороны, тон, стиль и вполне избитые доводы объединяют ее с изрядно потрепанным марксизмом. Но даже вся эта пошлость, видимо, свидетельствует о глубоком безразличии к интеллектуальному спору — словно взирая на аудиторию сверху, автор выбирал самые характерные для наших дней клише и штампы.

Энциклика настаивает только на двух политических требованиях: нации должны приветствовать этатизм, при котором экономическую деятельность граждан контролирует тоталитарное государство, и нации должны объединиться во всеобъемлющее государство с тоталитарным контролем над глобальным планированием. «Для этого международного сотрудничества во всемирном масштабе необходимо создать учреждения, которые бы подготовили, координировали и управляли им... Кто из нас не видит, как необходимо установить мировую власть, которая сможет эффективно действовать в юридической и политической сфере?» (78)

Есть ли разница между коммунизмом и такой философией? Здесь я хотела бы привести слова одного известного католического деятеля. Под заголовком «Энциклика дала отпор марксизму» в «Нью-Йорк Таймс» от 31 марта 1967 года появилась статья, в которой говорится:

«Преподобный Джон Кортни Мюррей, выдающийся иезуитский богослов, определил последнюю энциклику папы Павла VI как "четкий ответ Церкви марксизму"...

"Марксисты предложили один путь развития, в котором они полагаются только на человека, — сказал отец Мюррей, — а теперь папа Павел VI разработал детальный план, как достигнуть той же цели, однако исходит он из подлинного гуманизма, который признает религиозную природу человека"».

Аминь.

Это посильней американских «консерваторов», которые полагают, что религия заложена в основу капитализма, и верят, что можно иметь капитализм — и съест его, как требует нравственный каннибализм альтруистической этики.

Это посильней и современных «либералов», которые считают себя поборниками разума, науки и прогресса, хотя обзывают сторонников капитализма суеверным реакционным пережитком темного прошлого. Подвиньтесь, господа, пустите в свой круг новых попутчиков, которые вообще-то всегда шли по одной дороге с вами. Если у вас хватит смелости, посмотрите, какое прошлое представляют они.

Итак, перед вами — церковь, которая хотела бы примкнуть к этатизму, отчаянно пытаясь вернуть себе ту власть, которую она потеряла еще во времена Возрождения.

Католическая церковь никогда не оставляла надежды восстановить средневековое единение церкви и государства, ставящее целью глобальное государство и глобальную теократию. Со времен Возрождения она осторожно выжидала, когда можно будет примкнуть к тому политическому движению, которое принесет ей наибольшую выгоду. Однако на этот раз слишком поздно: коллективизм изжил себя, и тот паровоз, на который она взобралась, оказался катафалком. Тем не менее, рассчитывая на его тягловую силу, она отменяет западную цивилизацию и призывает варварские орды, чтобы они пожрали плоды человеческого разума.

В этом спектакле есть свои грустные нотки. Когда-то католичество было самой философской формой религии. Ее долгую и яркую историю освещала гигантская фигура великого ученого, Фомы Аквинского. Он вернул аристотелевское восприятие причины (аристотелевскую эпистемологию) на европейскую почву и показал путь философам Возрождения. За тот недолгий период XIX века, когда его влияние на католических философов было особенно сильно, величие его мысли фактически подняло церковь до уровня разума (хотя и ценой фундаментального противоречия). Теперь мы видим, как наследие Фомы Аквинского вновь приходит в забвение, церковь снова поворачивается к его изначальному противнику, которого она понимает значительно лучше, — блаженному Августину, ненавидящему и разум, и жизнь как таковую. Остается пожелать, чтобы реквием по святому Фоме был более достойным.

Голос, звучащий в энциклике, принадлежит средним векам. Он вновь слышен в интеллектуальном вакууме наших дней, словно холодный ветер, который со свистом носится по пустым улицам цивилизации, пришедшей в упадок.

Не разрешив фатального противоречия, конфликта между индивидуализмом и альтруизмом, западная цивилизация опускает руки. Когда человек отказывается от разума и свободы, пустоту заполняют вера и сила.

Ни один общественный строй не может простоять долго, не имея под собой прочного нравственного основания. Представьте себе великолепный небоскреб, построенный на зыбучих песках: пока люди в поте лица надстраивают сотые и двухсотые этажи, десятый и двадцатый засасывает грязь. Такова история капитализма, его шаткого положения, его попытки стоять прямо на фундаменте альтруистской морали.

Однако либо то, либо другое. Если одурманенные, ослепленные чувством вины защитники капитализма этого не понимают, это хорошо известно двум последователям альтруизма —

коммунизму и католицизму.

Поэтому примирение между ними не должно удивлять. В конце концов, разница заключается в вещах сверхъестественных; здесь же, на земле, их объединяют три ключевых элемента: общая мораль — альтруизм, общая цель — установление насильственной власти, и общий враг — человеческий разум.

Найдется и прецедент их стратегии. На выборах в Германии в 1933 году коммунисты поддерживали нацистов под тем предлогом, что потом они поделят между собой власть, но сначала им нужно уничтожить общего врага — капитализм. В наши дни католичество вполне может войти в сговор с коммунистами, под тем предлогом, что потом они поделят между собой власть, но сначала нужно уничтожить общего врага — личность, заставив человечество объединиться и подставить единую шею их удавке.

Недаром энциклику с восторгом приняли коммунистические партии во всем мире. По свидетельству «Нью-Йорк Таймс» от 30 марта 1967 года, «Л'Юманитэ», газета французской коммунистической партии, писала, что энциклика «"подчас берет за душу" и "весьма конструктивно выявляет зло капитализма, на которое давно обращали внимание марксисты"».

Те, кто не понимает, как важна нравственная уверенность в себе для человеческих взаимоотношений, вряд ли смогут оценить сардонически нелепый отрывок из той же статьи: «Однако французские коммунисты весьма сожалеют о том, что Папа Римский не смог отделить богатые коммунистические страны от богатых капиталистических стран, когда осудил неравномерное распределение стран "имущих" и "неимущих"».

Таким образом, богатство, полученное силой, — законная собственность, в отличие от богатства, полученного в процессе производства; мародерство — нравственно, а производство — нет. Представитель мародеров возражает против порицания богатства, которое содержится в энциклике, а представители производителей лебезят, уклоняются от ответа, терпят оскорбления и обещают отдать свои богатства. Если капитализм не переживет этих дней, то такое зрелище покажет, что он недостоин выживания.

В редакторской статье «Нью-Йорк Таймс» от 30 марта 1967 года энциклику называют «в высшей степени продвинутой в вопросах экономической философии», прибавлял: «Она сложна, всеобъемлюща и глубоко проникает в суть вопроса...» Если под «продвинутой» редактор имеет в виду, что энциклика разделяет постулаты современных «либералов», с ним можно согласиться, с той лишь оговоркой, что «Таймс» не замечает, куда направлен этот прогресс. Не энциклика достаточно «продвинута» для двадцатого века, а «либералы» повернули назад, к четвертому.

«Уолл Стрит Джорнел» от 10 мая 1967 года пошел дальше. В нем говорится, что папа имел в виду совсем не это. Энциклика, предполагают они, — лишь недоразумение, порожденное заговором ватиканских переводчиков, которые специально дали неправильное толкование идеям папы при переводе его труда с латыни на английский. «Конечно, может быть, Его святейшество и не рассыпает комплименты свободной рыночной системе, однако он и не имеет в виду того, что приписывает ему английский перевод».

Скрупулезно сопоставив латинские предложения и их официальные и неофициальные переводы на английский и столбики казуистического буквоедства, «Уолл Стрит Джорнел» пришел к выводу, что папа порицает не капитализм, а только «некоторые мнения» о капитализме. Какие мнения? Согласно неофициальному переводу, 26-й абзац энциклики гласит: «Но при новых условиях неизвестным нам образом в человеческом обществе появились некоторые мнения, согласно которым выгода рассматривается как основной стимул экономического прогресса, свободная конкуренция — как высшее правило экономики, частная собственность на средства производства — как абсолютное право, которое не приемлет ни ограничений, ни долга перед обществом ...»

«В латинском варианте, — читаем мы в статье, — папа Павел VI признает трудности... сопутствующие развитию "некоторых видов капитализма". Однако вину за это он возлагает не на "всю жалкую систему" (другими словами, капиталистическую), а на некоторые искаженные представления о ней».

Если ратовать за выгоду как основной стимул, свободную конкуренцию и частную собственность — значит «искажать» представление о капитализме, в чем же тогда заключается капитализм? Об этом — ни слова. Как же тогда «Уолл Стрит Джорнел» определяет капитализм? Об этом — опять ни слова. Что же нам называть «капитализмом», если все его основные характеристики вычеркнуты? И об этом ни слова.

Последний вопрос выявляет то утверждение, которое в статье делается не прямо, а косвенно: если Папа Римский нападает не на капитализм, а только на его основные принципы, значит, нам и беспокоиться не о чем.

А как вы думаете, в чем автор статьи решился-таки упрекнуть энциклику? «Хотелось бы пожелать, чтобы энциклика признавала, что капитализм, и в Соединенных Штатах Америки, и повсеместно, принимает на себя целый ряд обязательств перед обществом».

Sic transit gloria viae Wall^[30].

Такое же отношение и тот же взгляд на проблему выражен и в журнале «Тайм» от 7 апреля 1967 года.

«Хотя папа Павел VI, по-видимому, попытался написать свое послание христианам, учитывая текущую экономическую ситуацию в мире, он в своей энциклике определенно забывает о том, что невмешательство, использовавшееся в капиталистической системе, так же изжило себя, как и "Капитал" Маркса. Очевидно, папа осуждает те разновидности капитализма, которые не учитывают новых тенденций и сохранились только, например, в Латинской Америке».

Впрочем, если бы мы проводили конкурс, приз пришлось бы отдать журналу для предпринимателей «Форчун» за май 1967 года. Его позиция агрессивно безнравственна и чужда философии. Он с гордостью заявляет о том, что поддерживает разделение экономики и этики. «Капитализм — это чисто экономическая система», — говорится в нем.

Изначально признавая «достойную всяких похвал цель» папы, «Форчун» пишет: «Однако, несмотря на ее современный и глобальный взгляд на проблему, "Populorum Progressio" обрекает себя на провал. Деятельность экономического предприятия рассматривается с устаревшей и подозрительной точки зрения... Папа создал подставное лицо, у которого найдется мало защитников, если понимать этот абзац (26) буквально. На самом деле, чистая политика невмешательства используется в весьма незначительной части мировой торговли... "Собственность" в развитых странах существует в том виде, который подразумевает "обязанности перед обществом"... Говорить об "абсолютных" частных правах в развитых индустриальных обществах просто неуместно».

Приведя все эти аргументы, «Форчун», по-видимому, с удивлением и обидой замечает, что папа не счел нужным причислить предпринимателей к «людям доброй воли», которых он призывает сразиться со всеобщей бедностью. «Избегая каких-либо определенных упоминаний о предпринимателях, он тем самым отказывается от помощи естественного и необходимого союзника, который во многих уголках земли серьезно занимается теми вопросами, к решению которых призывает папа. Может быть, участие предпринимателей воспринимается как само собой разумеющееся, как основная сила, на которую можно рассчитывать, и если ее только приручить, запрячь и наблюдать за ее действиями. (А разве «Форчун» не так воспринимает предпринимателей в своем «чистом» государстве?)

Ватикан редко мог относиться к капитализму иначе, чем к необходимому злу, в лучшем

случае, и "Populorum Progressio" свидетельствует о том, что к пониманию прийти нелегко. Однако это не значит, что капитализм — полная формула общественного просвещения и прогресса; это только экономическая система, которую люди доброй воли могут использовать успешней, чем любую другую из когда-либо существовавших, чтобы добиться тех общественных целей, которые им помогают определить политика и религия».

Посмотрите, как неприлично пытаться оправдать капитализм на альтруистических основаниях. Насколько же наивны эти циники. Энциклика направлена не на их богатство и не на облегчение бедности.

По-военному сцепленные, уравнивающие цинизм с «практичностью», современные прагматики не видят дальше текущего момента и не могут понять, что движет миром и определяет его направление. Люди, которые могут плыть по любому течению, идти на компромисс с чем угодно, служить средством любым целям, теряют способность понимать силу, заключенную в идеях. Пока две орды человеконенавистников, понимающие эту силу, объединяются против цивилизации, они сидят посередине и кричат о том, что принципы — подставные.

Я знаю, что тот же упрек обращают и к объективизму. Мы боремся с призраком, говорят нам, никто и не поддерживает тех идей, против которых мы сражаемся.

Ну что ж... Как сказал один из моих друзей, только в Ватикане, Кремле и Эмпайр-стейт-билдинг знают истинное положение вещей в современном мире.

1967

Расправил ли Атлант плечи?

Как видно из названия этой дискуссии, тема ее — связь событий, изображенных в моем романе «Атлант расправил плечи», с реальными событиями сегодняшнего мира.

Можно сформулировать вопрос и так, как мне нередко его задавали: «Пророческий ли это роман или исторический?»

Вторая часть вопроса, по всей видимости, дает ответ на первую. Если кто-то считает «Атланта» историческим романом, значит, он оказался сбывшимся пророчеством. Суть дела лучше всего выразить следующим образом: хотя политические аспекты «Атланта» нельзя считать ни его главной темой, ни основной целью, мое отношение к этим аспектам в те годы, когда писался роман, было равнозначно краткому правилу, которое я для себя выработала: «Цель этой книги — не дать ей стать пророческой».

Книга вышла в 1957 году. С тех пор я получила много писем и слышала немало комментариев, которые, по существу, сводились к следующему: «Когда я впервые прочел "Атланта", я подумал, что вы преувеличиваете, но потом, читая газеты, понял: то, что происходит в мире, в точности соответствует вашему роману».

Так оно и есть. И даже больше того.

Современное состояние мира, политические события, планы и нынешние представления настолько абсурдны и иррациональны, что ни я, ни какой-нибудь другой романист не мог бы облечь их в художественную форму — никто бы ему не поверил. Романист не мог без них обойтись; лишь политик мог бы подумать, что это возможно.

Политические перспективы «Атланта» не тема, а одно из следствий его темы. Тема книги — *роль разума в человеческом существовании* и, как следствие, изложение нового этического кодекса, морали разумного эгоизма.

История, рассказанная в «Атланте», показывает, что происходит в мире, когда люди разума — изобретатели и новаторы во всех видах умственной деятельности — объявляют забастовку и гибнут, протестуя против альтруистско-коллективистского общества.

В «Атланте» есть два ключевых пассажа, кратко выражающих его содержание. Первый — слова Джона Галта:

Только один род людей в истории никогда не бастовал. Все типы и классы останавливались, когда хотели, и предъявляли свои требования миру, ссылаясь на свою незаменимость, кроме тех, кто нес мир на своих плечах, поддерживал его жизнь, получая в награду одни лишь муки, но никогда не предавал человечества. Наверное, настал их черед. Пусть мир узнает, что они делают и что бывает, когда они отказываются действовать. Бастуют люди разума, мисс Таггарт. Бастует ум.

Второй отрывок объясняет название романа:

— Мистер Риордан, — сказал Франсиско торжественно и спокойно, — если вы видели Атланта, держащего мир на плечах, если вы видели, как он стоял, а кровь струилась по его груди, колени подгибались, руки дрожали и все же из последних сил удерживали мир, и чем больше он старался, тем тяжелее давил мир ему на плечи, что бы вы предложили ему сделать?

— Не знаю. А что он мог сделать? Что бы вы ему сказали?

— Расправь плечи.

История «Атланта» — это конфликт двух основных противников, двух противоположных философских школ или двух противоположных отношений к жизни. Прибегнув к краткой формуле, назовем их «разумно-индивидуалистически-капиталистической осью» и «мистическо-альтруистическо-коллективистской осью». Рассказ показывает, что основной конфликт нашего времени не только политический или экономический, но нравственный и философский; что господствующая философия нашего времени — яростное восстание против разума; что так называемое перераспределение богатств — лишь поверхностное проявление мистическо-альтруистическо-коллективистских взглядов; что настоящая природа и глубочайший, основной смысл их противостоит *человеку, разуму, жизни*.

Вы думаете, я преувеличила?

Сочиняя «Атланта» и позже, я собирала досье, которое можно было бы назвать исследовательским или документальным. Я назвала его «Досье ужасов». Разрешите привести из него несколько примеров.

Вот пример современной идеологии, взятый из семинара бывших студентов под названием «Недоверие к разуму», проходившего в Уэслианском университете в июне 1959 года.

Быть может, в будущем разум утратит свое значение. Быть может, в эпоху бедствий люди будут руководствоваться не человеческой мыслью, но человеческой способностью страдать. Не университеты с их мыслителями, но места и люди в беде, обитатели сумасшедших домов и концлагерей, беспомощные и нерешительные чиновники и солдаты в одиночных окопах будут освещать путь человека, преобразовывая его знания о боли во что-то творческое. Быть может, мы вступаем в новую эру, и нашими героями станут не такие гиганты разума, как Исаак Ньютон или

Альберт Эйнштейн, а такие жертвы, как Анна Франк, которые покажут нам чудо, большее, чем мысль. Они научат нас терпению, научат тому, как создавать добро в гуще зла и возвращать любовь пред ликом смерти. Впрочем, если это произойдет, университет все же будет занимать свое место в обществе. Даже интеллектual может быть примером творческого страдания.

Вы думаете, это исключение, странная крайность? 4 января 1963 года в «Таймс» была опубликована такая история.

«Критерием отбора лучших коллег должны быть не просто мозги и степени, а наилучшее поведение в обществе», — говорит директор Лесли Р. Северинхаус из Хаверфордской школы, расположенной неподалеку от Филадельфии. В «Журнале комиссии по приему в колледж» он предостерегает против «высокоинтеллектуальных, агрессивных, честолюбивых, социально незаинтересованных и самовлюбленных индивидуалистов». Поскольку эти эгоцентричные и яркие студенты «мало что могут предложить и сейчас, и в дальнейшем», коллеги должны поощрять другие положительные качества. «Кто сказал, что мозги и мотивированное поведение — большие достоинства? А разве не достоинство — озабоченность состоянием общества? Разве мы не рады кандидату, который верит, что "никто не живет для себя?"^[31] А как вам умение вести за собой, честность, дар дружбы и обмена идеями? Можем ли мы отмахнуться от духовной жажды? Почему мы должны оставлять без внимания сотрудничество в добрых делах, ведь даже оно в какой-то мере мешает накапливать знания? А как милосердие и порядочность? Всех этих качеств не найдешь на досках достижений, — сетует Северинхаус. — Колледжи сами должны верить в скрытые возможности молодых людей такого типа».

Вдумаемся в смысл этих слов. Если ваш муж, жена или ребенок смертельно больны, какое вам дело до того, озабочен ли врач состоянием общества, или даже «милосерден» ли врач, если он ради этого пожертвовал своими «знаниями»? Если нашей стране грозит ядерная война, от чего зависит наша жизнь — от *интеллекта* и *активности* наших ученых или от их «духовной жажды» и «дара дружбы»?

Я бы не стала вкладывать этот отрывок в уста гротескового, сатирического, фарсового персонажа, сочла бы его чересчур нелепым, и все же об этом говорят, это *серьезно* обсуждают в так называемом цивилизованном обществе.

Неужели вы считаете, что такие теории не будут иметь практических последствий? Цитирую статью от 18 февраля 1960 года из «Рочестер Таймс Юнион», которая называется «Не иссякают ли наши таланты?»:

Неужели в этой могущественной стране стали иссякать таланты?

На данном историческом отрезке, когда Россия и Соединенные Штаты вступили в «смертельное соперничество», может ли наша страна отстать из-за нехватки мозгов? Д-р Гарри Лайонел Шапиро, председатель отделения антропологии Американского музея Естественной истории (Нью-Йорк), говорит: «Явно растет еще не совсем отчетливо выраженная тревога, что запас профессионалов иссякает».

«Медицина, — говорит он, — глубоко этим взволнована. Исследования показали, что оценки у сегодняшних студентов-медиков хуже, чем у тех, кто учился десять лет назад».

Некоторые представители этой профессии объясняют это финансовой привлекательностью других профессий, преобладающих в нашем космическом веке, — техники и технологии.

Но, по словам д-ра Шапиро, «по-видимому, все на это жалуются».

Антрополог в Ардсли-он-Хадсон выступал перед писателями, пишущими о науке. За две недели они прослушали 25 ученых и услышали те же жалобы от инженеров, физиков, метеорологов и многих других. Эти ученые, выдающиеся представители в своей области, сочли эту тему куда более важной, чем денежный дефицит.

Д-р Уильям О. Бэйкер, вице-президент и руководитель научных исследований в лаборатории «Белл телефон» (Меррэй Хилл, Нью-Джерси), один из крупнейших ученых страны, сказал, что нужно вести больше исследований, но это не будет связано с увеличением материальных вложений.

«Все зависит от идей, — сказал он. — Пусть их будет немного, но они должны быть новыми».

По его словам, Национальный Институт здоровья постоянно увеличивает гранты, но результаты работы «остались на том же уровне, если не стали хуже».

Юджин Коун, заведующий связями с общественностью Американского Физического общества, сказал, что в физике «мы даже близко не подошли к первоклассным специалистам».

Д-р Сидней Инграм, вице-президент Инженерной комиссии, считает, «такого еще не бывало в истории западной цивилизации».

Это газетное сообщение не встретило широкого отклика в нашей прессе. Оно отражает первые признаки тревожной ситуации, пока еще скрытой от глаз общественности. Но в Великобритании она столь очевидна, что ее больше невозможно скрывать, и она широко обсуждается в печати. Англичане придумали для нее название — «утечка мозгов».

Я напому вам, что в «Атланте» Джон Галт говорит, имея в виду забастовку: «Я

целенаправленно и умышленно делал то, что всегда делалось молчаливо». И перечисляет, как погибали выдающиеся люди, когда интеллект объявлял тирании *психологическую забастовку*, покидая какое бы то ни было мистически-альтруистическо-коллективистское общество. Кроме того, можно вспомнить, как описывает его самого Дагни перед тем, как с ним познакомиться (позже он повторяет ей эти слова): «Человек, который выкачивает из мира мозги».

Нет, я не хочу сказать, что англичане украли у меня определение. В том-то и дело, что *не украли*, большинство из них явно не читали «Атланта». Они столкнулись с тем же явлением и пытаются его опознать.

Приведу цитату из газетного сообщения, напечатанного в «Нью-Йорк Таймс» от 11 февраля 1964 года:

Лейбористы призывают правительство изучить проблему эмиграции английских ученых в США, которую здесь называют «утечкой мозгов». Лейбористы стали действовать после сообщения о том, что проф. Иэн Буш и его сотрудники переходят из Бирмингемского университета в Вустерский Фонд экспериментальной биологии, Шрусбэри, Массачусетс.

Тридцатипятилетний профессор Бути возглавляет отделение физиологии в Бирмингеме. Девять его сотрудников занимаются лечением психических заболеваний с помощью медицинских препаратов.

Сегодня вечером стало известно, что ведущий физик проф. Морис Прайс и ведущий специалист по раковым исследованиям патолог д-р Леонард Вейсс получили посты в США...

Том Далиелл, представитель лейбористов по вопросам науки, спрашивает, назначит ли премьер-министр, сэр Алек Дуглас-Хоум, королевскую комиссию, чтобы «обсудить проблему подготовки, вербовки и удержания научного потенциала в Великобритании...». Президент Британской медицинской ассоциации сэр Джордж Пикеринг назвал решение профессора Буша «трагическим». Он считает профессора «самым блестящим своим учеником и одним из самых блестящих людей, которых он встречал в жизни».

Из газеты «Нью-Йорк Таймс» от 12 февраля:

Шок, вызванный в Великобритании утратой научных талантов, усилился сегодня, когда известный физик-теоретик заявил, что он уезжает в Соединенные Штаты. Д-р Джон Энтони Поупл, директор Отделения теоретической физики Национальной физической лаборатории, сказал, что через месяц он переходит в Технологический институт Карнеги в Питтсбурге.

Газеты широко освещали это перемещение, 13-е по счету, начиная с воскресенья. Один из заголовков первой полосы — «Еще один представитель утечки мозгов».

Из газеты «Нью-Йорк Таймс» от 13 февраля:

Вместе с сегодняшним сообщением о надвигающемся отъезде из Великобритании еще, по крайней мере, пяти ученых, нация с новой тревогой ищет основную причину этого бегства.

В статье названы двое ученых, д-р Рэй Гиллери, 34-летний профессор анатомии Лондонского университетского колледжа, и 39-летний профессор биохимии Эрик Шутер из того

же колледжа.

Из газеты «Нью-Йорк Таймс» от 16 февраля:

Постоянный отъезд ученых вызвал в Великобритании шок. Нация вновь ищет причину бегства и эффективные средства от него...

Проблема «утечки мозгов», как называют здесь отъезд ученых, для Англии не нова. Десятилетиями зарубежные университеты и другие образовательные и исследовательские учреждения, особенно в США, привлекают к себе научный потенциал из Великобритании.

В последний академический год Великобритания потеряла 160 старших университетских преподавателей. Из них около 60 переехали в США, согласно обзору, опубликованному Ассоциацией университетских преподавателей...

Согласно докладу Королевского общества, примерно 140 ученых, недавно получивших степень, ежегодно покидают Англию. Это — около 12% национального научного потенциала...

Чаще всего уезжающие ученые говорят, что американские и английские фонды, финансирующие научное оборудование и персонал, несопоставимы.

Некоторые честно признают, что их привлекает оплата, в два-три раза большая, чем в Великобритании, а также всеобщее уважение к научной работе и достижениям в США.

Другие жалуются на нехватку высоких постов в университетах, на административные джунгли, через которые должны пройти исследовательские гранты в Великобритании, и на то, что они называют подлым контролем казны, причастной ко всем университетским грантам. Какие интеллектуальные доводы используют в качестве приманки, чтобы удержать ученых в стране, и какие предложены практические средства? Квинтин Хогг, секретарь Государственного департамента образования и науки, «воззвал к патриотизму ученых, уговаривая их остаться дома. Лучше всего быть англичанином, сказал он».

В статье из «Нью-Йорк Таймс» от 31 октября 1963 года говорится, что «доклад, представленный комитету, который возглавляет секретарь кабинета сэр Берк Тренд, призывает преобразовать систему британской науки и предоставить министру науки *больше власти*» (курсив мой — А. Р.).

Конечно, здесь можно увидеть немало скрытого и явного негодования против американского изобилия и крупного бизнеса, который англичане, по-видимому, считают главной причиной утечки их научных талантов.

Теперь я хотела бы привлечь ваше внимание к двум важным фактам — к возрасту и профессии ученых, упоминаемых в этих статьях. Большинству из них около тридцати, большинство занимается теоретической медициной.

Государственное здравоохранение — признанный институт британской политической системы. Какое будущее ждет блестящих молодых людей в государственном здравоохранении? Судите сами о причинах «утечки мозгов», о будущем благосостоянии тех, кто остался в государстве изобилия, и о роли разума в человеческой жизни.

Когда вы услышите или прочтете доклады об успехах государственного здравоохранения в Великобритании и других европейских странах, составленные поверхностными, узкими специалистами, не видящими дальше сиюминутных проблем и заявляющими, что они не замечают никаких перемен в добросовестном труде семейных врачей, вспомните, что свое

умение, знания и силы врачи эти черпают в медицинских лабораториях и что источник иссякает. Такую цену платит страна за государственное здравоохранение. Ее нет в государственном бюджете, но она не замедлит сказаться в нашей жизни.

Сейчас мы отстаем от Великобритании на пути, ведущем в коллективистскую пропасть, но не намного. В последние годы в газетах появляются тревожные доклады о приеме студентов в наши медицинские колледжи. Когда-то желающих было куда больше, чем мест, и поступали лишь самые способные, с самыми высокими баллами и характеристиками. Сегодня желающих гораздо меньше, и судя по докладам, вскоре их вообще будет меньше, чем мест.

Оцените рост государственного здравоохранения в мире, оцените план медицинского обслуживания в нашей стране, посмотрите на забастовку канадских врачей в Саскачеване и недавние забастовки врачей в Бельгии. Учтите и то, что в каждом случае подавляющее большинство врачей боролось против национализации здравоохранения, и сторонники государственного изобилия с их нравственным людоедством без особых колебаний решились закабалить их чуть ли не под дулом пистолета. Особенно красноречивым было положение в Бельгии, откуда тысячи врачей бежали без оглядки, буквально спасаясь из страны с «гуманным правительством», прибегающим к грубым мерам нацистского толка, чтобы призвать врачей в армию и силой вернуть их к медицинской практике.

Подумайте обо всем этом, а затем прочтите заявление д-ра Гендрикса в «Атланте» — хирурга, протестующего против государственного здравоохранения: «Меня всегда удивляло самодовольство, с которым люди утверждают свое право поработать меня, контролировать мой труд, насиловать мою волю, совесть, душировать мой разум. На что они тогда рассчитывают, ложась на мой операционный стол?»

Именно этот вопрос нужно задать бельгийским альтруистам и надсмотрщикам.

Когда вы в следующий раз услышите дискуссию о бесплатном медицинском обслуживании, задумайтесь о будущем, в особенности — о будущем ваших детей, которые будут жить в ту пору, когда лучшие умы уже не пойдут в медицину.

Рагнар Даннешельд, пират из «Атланта», боролся с «идеей, что нужда — это священный идол, требующий человеческих жертвоприношений, что нужды некоторых — гильотина, висящая над другими, а мера наших способностей — это мера нашей опасности, так что успех ведет на плаху, а неудача дает право тянуть за веревку. В этом смысл альтруистической морали: чем больше достижения человека и потребность общества в нем, тем хуже с ним обращаются, и тем больше он походит на жертвенное животное».

Дельцы, обеспечивающие нас средствами существования и работой, облегчающими труд машинами и современными удобствами, постоянно возрастающим уровнем жизни, больше всего необходимы обществу. Они и стали первыми жертвами, гонимыми, опозоренными, оклеветанными, эксплуатируемыми козлами отпущения мистическо-альтруистическо-коллективистской оси. Следующими идут врачи. Именно потому, что их услуги жизненно важны и крайне необходимы, они стали мишенью для альтруистов в масштабе всего мира.

Что до современного положения дельцов, разрешите сказать вот что. Закончив «Атланта», я дала гранки железнодорожнику, специалисту по техническому контролю. Первым делом он спросил меня: «Понимаете ли вы, что все законы и директивы, которые вы предлагаете, уже включены в законодательные акты?» «Да, понимаю», — ответила я.

И я хочу, чтобы мои читатели тоже это поняли.

В моем романе я изложила эти проблемы на языке абстракций, выражавших суть правительственного контроля и государственного законодательства во всякое время и в любой стране. Но принципы каждого указа и каждой директивы, которые приводятся в «Атланте», — таких, как «Коррекция билля о возможностях» или «Директива 10—289», — можно найти в

наших антимонополистических законах, пусть и в более сырой форме.

В этом накоплении необъективных, не поддающихся определению, несудебных законодательных актов вы найдете все виды наказаний таланта за то, что он талантлив, успеха за то, что это успех, и стремление пожертвовать творческим даром в угоду завистливой посредственности. Вы увидите, как распускают большие компании или «разрывают» отношения между компаниями и их помощниками («Коррекция билля о правах»), насильно принуждают фирмы поделиться с каждым новичком теми средствами, которые они создавали долгие годы, принудительно лицензируют или прямо конфискуют патенты и, наконец, приказывают, чтобы жертвы обучали своих конкурентов, как с этими патентами обращаться.

Над уровнем общественного разложения, описанного в «Атланте», нас возвышает только то, что государственники еще не осмеливаются силой ввести антимонополистические законы, проявив всю полноту власти. Но власть эта существует, и вы можете видеть, как ускоряется и растет ее применение.

Можно подумать, что у «Плана унификации железных дорог» и «Плана унификации стали», который я предлагаю в конце «Атланта», нет аналогий в реальной жизни. Я тоже так считала. Я их выдумала, следуя логике событий, чтобы показать последние этапы крушения общества. Планы эти — типичные коллективистские средства помощи слабейшим представителям промышленности за счет сильнейших; они принуждают объединить ресурсы «в общий фонд». Я полагала, что они чуть-чуть опережают наше время.

Я ошибалась.

Приведу цитату из газетного сообщения от 17 марта 1964 года:

Федеральное правительство попросило три телевизионных сети обсудить предварительный план, согласно которому каждая из них будет отдавать часть программ уже существующим или новым телевизионным станциям, чтобы они могли работать в неблагоприятных условиях конкуренции...

Сопутствующее предложение, также выдвинутое для обсуждения Комиссией (по Федеральным связям), будет принуждать некоторые станции, объединенные в сети, присоединиться к альтернативной цепи.

Предложения, призывающие «имущих» из телевизионной индустрии помогать «неимущим», вызвали резкие возражения у телесистемы «Коламбия»...

За предложениями Федеральной комиссии стоит желание помочь существующим сверхвысокочастотным станциям и способствовать созданию дополнительных станций, гарантируя им средства, которые привлекают зрителей. Большинство рекламодателей обычно предпочитает более мощные высокочастотные станции...

При спорных предложениях общий фонд сетевых программ будет состоять из двух высокочастотных и одной ультравысокочастотной станции.

Эти предложения якобы оправдывают желание исправить «конкурентный дисбаланс».

Теперь посмотрим, как обстоит дело в сфере труда.

У меня в «Атланте», когда остро не хватает транспорта из-за недостатка движущей силы, трасс и топлива, на железных дорогах издают приказ пускать более короткие поезда на меньшей скорости. Сейчас, когда железные дороги гибнут, большинство из них — на грани банкротства, профсоюзы железных дорог требуют сохранить «численность рабочей силы независимо от потребностей в ней» (то есть ненужные рабочие места), а также устаревшие виды работы и правила оплаты.

Пресса комментировала это по-разному. Но одна редакционная статья из газеты «Стар Геральд», Нью-Джерси, от 16 августа 1963 года достойна особого внимания. Мне прислал ее мой почитатель.

Денежные воротилы, лидирующие дельцы Америки так и не поняли, что процветание может быть бесчеловечным. Им так и не удалось понять, что люди отдают предпочтение прибылям...

Честолюбие и жажда прибыли — неплохая вещь. Они побуждают человека к большим достижениям. Но их должна смягчать забота об обществе и его членах. Их нужно умерять перед лицом человеческих нужд.

Эти мысли волнуют нас, когда мы размышляем о железнодорожных трудностях. Призывы «сохранить рабочую силу» подобны воинственным крикам; управляющие железными дорогами требуют упразднить десятки тысяч рабочих мест, которые были главной опорой людей, заполняя брешь между чувством собственного достоинства и собственной никчемности. Прежде чем вы проголосуете за этот болезненный прогресс, представьте, что ваш муж, брат или отец — один из тех, кому суждено быть положенным на алтарь прогресса. На наш взгляд, куда лучше, чтобы правительство национализировало железные дороги и предотвратило другие бедствия на одностороннем пути, где извлекают прибыль за счет людей.

Эта передовица без подписи, но мой анонимный почитатель написал на ней карандашом печатными буквами: «Юджин Лоусон???»

Такая «гуманная» позиция направлена не против прибылей, а против успехов в науке, не против богатых, а против *специалистов*. Неужели вы думаете, что единственные жертвы мистическо-альтруистическо-коллективистской оси — немногие выдающиеся люди, стоящие на вершине общественной пирамиды, финансовые и интеллектуальные гении?

Вот старая вырезка из моего «Досье ужасов», газетное сообщение, появившееся несколько лет назад:

Великобританию потрясла история молодого шахтера, который ушел с работы, чтобы предотвратить забастовку 2000 шахтеров в Донкастере.

Алан Балмер, 31 года, вместе со своими товарищами выполнил недельную норму на три часа раньше. Вместо того чтобы спокойно отдыхать эти три часа, он стал выполнять новую норму.

Более 2000 шахтеров собрались в прошлое воскресенье, чтобы выразить свой протест. Они потребовали, чтобы его понизили в должности на три месяца, а плату ему снизили с 36" до 25" в неделю.

Балмер уходит с работы, чтобы положить конец шумихе. Он заявил, что, по его мнению, «человек должен работать полный рабочий день за полную плату».

Служащие государственных шахт считают, что это дело — в ведении профсоюзов.

Невольно напрашивается вопрос, что будет с этим молодым человеком? Надолго ли он сохранит честность и честолюбие, зная, что за это его ждет наказание, а не награда? Будет ли он по-прежнему проявлять свои способности, если за это его уволят? Вот как теряет нация лучших людей.

Помните сцену в «Атланте», когда Хэнк Риордан наконец решил выйти на забастовку?

Последним штрихом, который поставил все точки над «и», были слова Джеймса Таггарта, что он, Рирден, всегда найдет выход из положения, даже если ему предъявят самые нелепые и невыполнимые требования. Сравните это с цитатой из передовой статьи от 28 декабря 1959 года — заявлением Майкла Дж. Куилла, главы Транспортного профсоюза, комментирующего грядущую забастовку городского транспорта: «Многие люди думают, что мы на грани. Но всякий раз, когда мы подходили к краю, там что-то было».

В заключительных главах «Атланта» я пишу о том, как обстоит у нас дело с рабочей силой:

«Дайте нам людей!» Это требование все громче стучит по столу Совета по унификации; оно доносится со всех концов страны, опустошаемой безработицей, но ни просители, ни Совет не осмелились добавить опасные слова, скрытые за этими криками: «Дайте нам способных людей!» Люди годами стоят в очереди, дожидаясь работы дворника, кочегара, носильщика и младшего официанта; никто не претендует на труд руководителя, управляющего, инженера.

В статье от 29 июля 1963 года читаем:

Как заметил д-р Артур Ф. Берне в недавнем критическом отзыве об официальной статистике по безработице, нам все больше не хватает квалифицированной рабочей силы, «ученых, учителей, врачей, инженеров, медицинских сестер, машинисток, стенографисток, авто- и телемехаников, портных и поваров».

Помните историю в «Атланте» про бедствие в Миннесоте? Небывалый урожай пшеницы, росшей вдоль дороги вокруг силосных ям и зернохранилищ, погиб из-за того, что не хватило товарных вагонов, которые по правительственному указу отправили перевозить соевые бобы.

А вот статья из «Чикаго Сан Таймс» от 2 ноября 1962 года:

Сельскохозяйственные чиновники и торговцы зерном из Иллинойса встретились в четверг, чтобы облегчить ситуацию с острой нехваткой товарных вагонов, которая угрожает погубить небывалый урожай зерна...

Фермеры и торговцы зерном сошлись в том, что нехватка железнодорожных вагонов стала «угрожающей», и не слишком надеются, что она улучшится в течение, по крайней мере, двух недель.

Операторы зерновых элеваторов показали фотографии, где горы зерна лежат на земле. Элеваторы закупорены зерном, которое невозможно увезти.

Из-за нехватки вагонов в этом году погиб урожай трех главных культур — кукурузы, соевых бобов и проса. В довершение ко всему произошли сложные передвижения государственного зерна.

В «Атланте» Рагнар Даннешельд обличает Робин Гуда, считая его воплощением того самого зла, которое он хотел изгнать из человеческого сознания. «Он стал символом того, что источник прав — нужда, а не достижения; что мы должны не производить, а только желать; что заработанное не принадлежит нам, а принадлежит незаработанное».

Я так и не узнаю, Рагнар ли вдохновил автора статьи, развенчивающей Робин Гуда, которая появилась в британском журнале «Мировой судья и местное управление», посвященном судебским и полицейским делам. Поводом для статьи послужило возрождение робин-гудовских празднеств.

«Если мы вспомним, что подвиги этого легендарного героя главным образом связаны с

ограблением богатых под благовидным предлогом помощи бедным (в наше время это берет на себя государственное обеспечение), можно спросить, не противоречат ли такие празднества государственной политике».

Теперь мы подходим к построению, которое затмевает все, о чем говорилось в «Атланте». Признаю, что не могла бы такое измыслить. Каким бы низким ни было мое мнение об альтруистическо-коллективистском мировоззрении (а оно очень низкое), я бы не поверила, что это возможно. Но это не вымысел. Это газетное сообщение, которое появилось 23 марта 1964 года на первой странице «Нью-Йорк Таймс».

Каждый американец должен иметь право на гарантированный доход, независимо от того, работает он или нет, считает группа из 32 человек, называющая себя Комитетом Тройной революции...

Три революции, перечисленные в заявлении, которое она направила президенту Джонсону, — это «кибернетическая революция», «революция вооружения» и «революция прав человека».

«Фундаментальная проблема, поставленная кибернетической революцией в США, состоит в том, что она обесценивает общий механизм, применяемый для поддержания прав потребителей», — постановил комитет. «К тому времени, — продолжал он, — экономические ресурсы распределялись на основе вклада в производство, а машины и люди соревновались на равных условиях. В оснащенных кибернетической аппаратурой системах можно получить потенциально неограниченный продукт с помощью машинных систем, которые не требуют активного сотрудничества с людьми».

«Непрерывная цепочка "доход-через-работу" как единственный и главный механизм распределения фактического спроса *при условии права потреблять* теперь становится основным тормозом почти неограниченной способности кибернетизированной производительной системы».

Комитет настаивал на том, чтобы эта цепочка была разрушена «безоговорочным обязательством»: «Общество должно обеспечить каждую личность и каждую семью *приличным доходом*» через соответствующие юридические и государственные институты (курсив везде мой — А. Р.).

Обеспечить... Кто же это сделает? Неизвестно.

Такого заявления можно было бы ожидать от городских сумасшедших, ничего не смыслящих в экономике, или от подстрекателей, желающих подтолкнуть беднейшие слои населения к насилию против всякого предприятия, владеющего компьютером и тем самым лишаящего их «права потреблять».

Но это не так.

Заявление сделали профессора, экономисты, педагоги, писатели и другие «интеллектуалы». И вот что страшно — его вынесли на первую полосу как свидетельство нынешнего состояния нашей культуры. С виду культурные люди склонны рассматривать его в рамках цивилизованного обсуждения.

Каков культурный климат нашего времени? Посмотрим, соответствует ли ему такое описание. Цитирую «Атланта», тот отрывок, где говорится о череде нарастающих бедствий и катастроф:

Газеты об этом не упоминали. Передовицы продолжали говорить о том, что самоотречение — путь к будущему прогрессу, самопожертвование — нравственный

императив, алчность — наш враг, любовь решает все проблемы. Эти избитые фразы были приторны, как больничный запах наркоза.

По всей стране распространялись циничные и запугивающие слухи, но люди читали газеты и действовали так, словно они верят в то, что читают. Каждый состязался с другим в молчании; каждый притворялся, что не знает известного; каждый стремился поверить в то, что неназванного просто нет. Поистине извергался вулкан, а люди у его подножья не обращали внимания ни на внезапные трещины, ни на черный дым, ни на струйки лавы, продолжая верить в то, что единственная опасность — признать реальность этих знаков.

Я говорю все это не ради похвалы и не претендую на таинственный дар пророчества; напротив, я хочу доказать, дар этот — не таинственный. Вопреки господствующим взглядам так называемых ученых, история — не сплошной хаос, где царствуют случай и прихоть, люди — не беспомощные, слепые существа, обреченные на уничтожение непостижимыми, неподвластными силами. Исторические тенденции можно предсказывать и менять.

Только одна сила определяет ход истории, как и ход человеческой жизни, — сила мысли, сила идей. Зная убеждения человека, вы можете предсказать его действия. Понимая господствующую философию общества, вы можете предсказать его развитие. Но убеждения и философия предоставляют свободу выбора.

Нет роковой, предрешенной исторической необходимости. «Атлант расправил плечи» — не пророчество о неизбежной гибели, а манифест нашей силы, способной преодолеть его, если мы решим изменить наш путь.

Мистическо-альтруистическо-коллективистская философия привела нас к нынешнему состоянию и ведет к финалу, то есть к обществу, изображенному в «Атланте». Только философия разумно-индивидуалистического капитализма может спасти и повести нас к Атланту, описанному на последних двух страницах моего романа.

Поскольку у людей есть свободная воля, никто не может предсказать, сколько продлится идеологический конфликт и чем кончится. Еще слишком рано говорить, какой выбор сделает наша страна. Скажу одно: если «Атлант», среди всего другого, должен был помешать тому, чтобы он сам стал пророчеством, то это ему, скорее всего, удалось.

Постскриптум. Через год после того, как была написана эта статья, произошло событие, которое стоит упомянуть.

В последней главе «Атланта», где описывается крах коллективистского правления, есть такой абзац:

Самолет парил над крышами небоскребов, как вдруг земля внезапно и судорожно разверзлась, чтобы поглотить город [...] За какой-то миг они поняли, что паника достигла электростанций, и в Нью-Йорке вырубил свет.

9 ноября 1965 года в Нью-Йорке и на всем восточном побережье погас свет. Ситуация не совсем точно соответствовала той, что описана в моей книге, но многие читатели узнали в ней символический смысл романа. Цитирую письма и телеграммы, которые я получила в следующие дни:

Телеграмма из Остина, Техас, подписана несколькими именами: «А мы-то думали, что роман — не пророческий».

Телеграмма из Мэриона, Висконсин: «Это Джон Галт».

Письмо из Индианополиса (отрывок): «Это даже не вызвало паники, правда, мисс Рэнд?»

Всё та же привычная безответственность и некомпетентность. Над крушением (и т.п.) мы смеялись, но это сбывшееся пророчество вызывает ещё и дрожь».

Записка из Данди, Шотландия: «Я, конечно, вспомнил вашу книгу "Атлант расправил плечи", когда мы увидели по телевизору Нью-Йорк с выключенным светом — черные каньоны домов и тусклые огни машин, пытавшихся найти дорогу».

Из Мемфиса, Теннесси (открытка, отправленная моему читателю его матерью, которую он переслал мне): «Я просто хотела сказать тебе: прошлой ночью, когда вырубили свет, подруга позвонила и спросила, здесь ли ты. Я сказала, что нет, а она откликнулась: "Понимаешь, я хотела спросить его, не расправил ли Атлант плечи"».

Открытка из Чикаго: «Мы терпеливо ждали, что хоть кто-то разумно объяснит "временное отсутствие электричества" 11 сентября 1965 года» («Говорит Джон Галт»).

1964

Цель моих сочинений

Цель моего сочинительства — *проецирование идеального человека*. Изображение нравственного идеала — моя высшая литературная цель и самоцель, для которой все назидательные, интеллектуальные или философские ценности, содержащиеся в книге, — лишь средства.

Мне хотелось бы подчеркнуть: моя цель — не философское просвещение читателей, не благотворное влияние, которое могут оказать мои романы на людей, не возможность помочь интеллектуальному развитию читателя. Все эти вещи важны, но вторичны, это лишь следствия и результаты, а не главные побудительные причины или движущие силы. Моя цель, главная причина и побудительная сила — изображение Говарда Рорка, Джона Галта, Хэнка Риордана или Франциска д'Анкониа как *самоцель*, а не средство для какой-либо другой дальнейшей цели. Между прочим, это самая большая ценность, которую я могла бы предложить читателю.

Вот почему я испытываю смешанное чувство — отчасти терпение, отчасти приятное изумление, а иногда опустошение и усталость, — когда меня спрашивают, кто я, романистка или философ (как будто это антонимы), считать мои рассказы орудием пропаганды или двигателем идей, а политику или защиту капитализма моей главной целью. Все эти вопросы абсолютно несущественны, бьют мимо цели, и мне такой подход к проблемам не свойственен.

Мой подход куда проще и вместе с тем сложнее, чем этот, если смотреть с двух разных углов зрения. Попросту говоря, я подхожу к литературе, как ребенок, — пишу и читаю ради самого рассказа. Сложность же заключается в том, как перевести этот подход на язык взрослых.

Конкретные формы наших ценностей меняются по мере нашего роста и развития. Абстрактное понятие «ценностей» не меняется. Ценности взрослых включают в себя целую сферу человеческой деятельности, в том числе философию — в особенности философию. Но основной принцип — роль и смысл ценностей в человеческой жизни и литературе — остается тем же.

Мой главный тест при оценке любого рассказа: хотелось бы мне встретить этих героев и наблюдать эти события в жизни? Стоит ли пережить опыт, описанный в рассказе, ради него самого? Можно ли считать самоцелью удовольствие от наблюдения за этими героями?

Это проще простого. Но эта простота вбирает в себя всю жизнь человека.

Она предполагает такие вопросы: Каких людей я хочу видеть в жизни и почему? Какие события, то есть человеческие поступки, мне хотелось бы видеть и почему? Что хотела бы я пережить, то есть каковы мои цели и почему?

Понятно, к какой сфере человеческого знания принадлежат все эти вопросы — к сфере *этики*. Что такое добро? Что такое правильные поступки? Какие *ценности* нужно считать правильными?

Поскольку моя цель — изображение идеального человека, я должна определить и представить условия, которые делают возможным его возникновение и которых требует его существование. Поскольку характер человека — продукт его представлений, я должна определить и представить те предпосылки и ценности, которые создают характер идеального человека и мотивируют его действия, то есть я должна сформулировать и предложить рациональный этический кодекс. Поскольку человек действует и общается с другими людьми, я должна предложить некую общественную систему, позволяющую идеальным людям существовать и действовать, — свободную, продуктивную, рациональную систему, которая требует и вознаграждает лучшее в *каждом* человеке, великом или среднем. Очевидно, что такая система — неограниченный капитализм.

Ни политика, ни этика, ни философия не могут быть самоцелью, ни в жизни, ни в литературе. Самоцелью может быть лишь Человек.

Однако заметьте, что представители литературной школы, диаметрально противоположной моей, — школы натурализма — утверждают, что писатель должен воспроизводить так называемую «действительность», «как она есть», без избирательности и субъективности. Говоря о «воспроизведении», они подразумевают «фотографию», говоря о «действительности», имеют в виду все, что им случится увидеть, а говоря: «как есть» — «как живут окружающие их люди». Но обратите внимание на то, что эти сторонники натурализма (или те из них, кто — хорошо пишет) чрезвычайно избирательны в отношении двух отличительных свойств литературы — *стиля и создания характеров*. Без избирательности невозможно создать характер ни особенного человека, ни обыкновенного, который должен быть представлен как средне типичный для большей части населения. Поэтому возражение сторонников натурализма против избирательности относится лишь к одному аспекту литературы — содержанию или *сюжету*. Они утверждают, что именно в выборе темы писатель не должен выбирать.

А почему?

Сторонники натурализма так и не дали ответа на этот вопрос — рационального, логического, внутренне непротиворечивого. Почему писатель должен фотографировать свои сюжеты без пристрастия и без разбора? Потому что они «действительно» были? Записывать то, что действительно было, — работа репортера или историка, а не романиста. Чтобы просвещать читателей и образовывать их? Это задача науки, а не литературы; ну хотя бы документальной, научной литературы, а не художественной. Чтобы изменить к лучшему чью-то долю, изобразив бедствия человека? Но именно субъективную оценку, нравственную цель и нравоучительное «содержание» запрещает натуральная школа. Кроме того, чтобы что-то улучшить, нужно знать, что значит «лучше»; а чтобы это знать, нужно понимать, что хорошо и как этого достичь; а чтобы знать это, нужно обладать целой системой субъективных оценок, системой *этики*, ненавистной сторонникам натурализма.

Таким образом позиция натуральной школы предоставляет романисту полную эстетическую свободу *средств*, но не *целей*. Он может прибегать к выбору, творческому воображению, субъективным оценкам относительно того, *какой* изображает вещи, но не относительно того, *что* он изображает — относительно *стиля* или характеристики, но не относительно *сюжета*. Человек — субъект литературы, и его нельзя рассматривать или изображать выборочно. Человека нужно принимать как нечто данное, неизменное, неподсудное, как статус-кво. Но поскольку люди меняются, отличаются друг от друга, ищут разные ценности, кто должен определять статус-кво человека? Подразумеваемый ответ натуральной школы: все, кроме романиста.

Романист, согласно учению натурализма, не должен ни судить, ни оценивать. Он — не творец, а лишь записывающий секретарь, а его хозяин — все остальное человечество. Пусть другие судят, принимают решения, выбирают цели, борются за ценности и определяют направление, судьбу и душу человека. Романист — единственный изгнанник, дезертир в этой битве. Он не должен рассуждать, почему, он должен семенить позади своего хозяина с записной книжкой в руках, записывая все, что тот продиктует, подбирая бисер или свинство, которые тот может обронить.

Что касается меня, я слишком себя уважаю, чтобы выполнять такую работу.

В моем представлении романист должен сочетать качества золотоискателя и ювелира. Романист должен обнаружить потенциал, золотую жилу в человеческой душе, должен извлечь золото, а затем изготовить из него великолепнейший венец, насколько позволяют его способности и проницательность.

Честолюбивые искатели материальных благ не роются в мусорных свалках, но устремляются в горы в поисках золота, так и честолюбивые искатели интеллектуальных ценностей не сидят на задворках своего дома, а пускаются на поиски благороднейших, чистейших, драгоценнейших элементов. Мне лично зрелище Бенвенуто Челлини, изготавливающего детские куличики, не доставило бы удовольствия.

Именно избирательность темы — суровейшая, строжайшая, безжалостнейшая избирательность, на мой взгляд, главная, основная, кардинальная сторона искусства. В литературе это — *история*, то есть сюжет и герои, типы людей и события, которые изображает писатель.

Тема — не единственное свойство искусства, но основное; это цель, для достижения которой все основные свойства — лишь средства. Тем не менее в большинстве эстетических теорий цель (тему) не принимают во внимание, лишь средства считаются эстетически важными. Такие теории создают ложную дихотомию и утверждают, что мазня, нарисованная с помощью технических средств гения, предпочтительней богини, изображенной любителем. Я считаю, что и то и другое эстетически отвратительно; но если второе — всего лишь эстетическая некомпетентность, то первое — эстетическое преступление.

Между целями и средствами нет дихотомии, не обязателен конфликт. Цель не оправдывает средства — ни в этике, ни в эстетике. И средства не оправдывают цели: великое мастерство Рембрандта не оправдывает изображение говяжьего бока.

Этот натюрморт можно считать символом всего, против чего я возражаю в искусстве и литературе. В семь лет я не могла понять, почему кому-то нравилось изображать дохлую рыбу, мусорный контейнер, толстую крестьянку с тройным подбородком или восхищаться их изображениями. Сегодня мне понятна психологическая подоплека этих эстетических феноменов, и чем лучше я ее понимаю, тем больше противлюсь.

В искусстве и в литературе цель и средства или тема и стиль должны соответствовать друг другу.

То, что не достойно созерцания в жизни, не достойно воссоздания в искусстве.

Бедность, болезнь, несчастье, зло, все отрицательные стороны человеческого существования — подходящие предметы для изучения, для того, чтобы понять и исправить их, но они не годятся для чистого созерцания. В искусстве, в литературе эти отрицательные явления достойны воссоздания лишь в связи с каким-нибудь позитивом, как фон, контраст, как средство подчеркнуть позитив, но не как самоцель.

«Сострадательное» изучение порока, которое выдают сегодня за литературу, — тупик и могила натурализма. Если их виновники по-прежнему говорят в свое оправдание, что это «правда» (большинство из них — не говорит), отвечу, что такая правда относится к истории болезни, а не к литературе. Картина прорвавшегося аппендикса может представлять большую ценность для медицинской монографии, но не для художественной галереи. А больная душа — еще более отталкивающее зрелище.

То, что человек хочет наслаждаться созерцанием *ценностей*, добра— величия, ума, способностей, добродетелей, героизма, — не требует объяснений. А вот созерцание *зла* требует объяснения и оправдания; и то же самое относится к созерцанию посредственного, ничем не выдающегося, заурядного, бессмысленного, глупого.

В семь лет я отказывалась читать образчики натуралистической литературы для детей, рассказы о соседских детях. Они наводили на меня смертельную скуку. Меня не интересовали такие люди в жизни, и я не видела в них ничего интересного, если их описали.

Я и сегодня придерживаюсь той же точки зрения; единственная разница в том, что сегодня мне известно ее полное философское обоснование.

Что касается литературных школ, я бы назвала себя романтическим реалистом.

Обратите внимание на то, что сторонники натурализма называют романтизм «бегством». Тут напрашивается вопрос: какая метафизика, какой взгляд на жизнь скрываются под этим обозначением? Бегство от чего? Если проецирование ценностей и исправление данного, известного, доступного — «бегство», тогда медицина — это «бегство» от болезни, сельское хозяйство — бегство от голода, знание — «бегство» от невежества, честолюбие — «бегство» от праздности, а жизнь — «бегство» от смерти. Если это так, тогда закоренелый реалист — зачервивевшая скотина, которая неподвижно сидит в грязной луже, смотрит на свинарник и скулит «такова жизнь». Если *это* реализм, тогда я эскапист.

Как Аристотель. Как Христофор Колумб.

В моей книге «Источник» есть одно место как раз об этом — отрывок, где Говард Рорк объясняет Стивену Маллрою, почему он поручил ему сделать статую для Стоддардовского храма. Сочиняя этот отрывок, я сознательно и умышленно формулировала основную цель своей собственной работы, маленький личный манифест: «Я считаю вас лучшим нашим скульптором. Я так думаю, потому что ваши статуи не такие, как люди, а такие, какими могут и должны быть люди. Потому что вы пошли дальше вероятного и показали нам возможное, но возможное лишь благодаря вам. Потому что ваши скульптуры лишены всякого презрения к людям. Потому что у вас есть необыкновенное уважение к человеку. Потому что ваши скульптуры исполнены героизма».

Сегодня, еще больше, чем двадцать лет назад, я бы хотела поменять или, скорее, прояснить здесь лишь два момента. Во-первых, выражение «лишены презрения к людям» не совсем точно грамматически, я хотела сказать «не затронуты» презрением к людям, тогда как произведения других отчасти затронуты им. Во-вторых, слова «возможны лишь через вас» не должны означать, что скульптуры Маллроя невозможны метафизически, в реальности; нет, я хотела сказать, что они возможны лишь потому, что *он* показал, как сделать их возможными.

«Ваши скульптуры не такие, как люди, а такие, какими могут и должны быть люди».

Эта строчка прояснит, чей великий философский принцип я приняла, чему я следовала и что искала, прежде чем услышала имя «Аристотель». Это Аристотель сказал, что вымысел — важнее истории, потому что история представляет вещи такими, каковы они есть, в то время как вымысел представляет их такими, какими они *могут* и *должны быть*.

Почему же вымысел представляет вещи такими, «какими они могут и должны быть»?

Мой ответ содержится в «Атланте», и подтекст этого ответа: «Человек — существо, которое само создает свое богатство и свою душу».

Как физическое, так и психологическое выживание человека зависит от его собственных усилий. Человек сталкивается с двумя следствиями, взаимозависимыми полями действий, в которых от него требуется постоянный выбор и постоянный творческий процесс: мир вокруг него и его собственная душа (под словом «душа» я имею в виду сознание). Ему нужно производить материальные ценности, он должен поддерживать жизнь, а также приобретать индивидуальные ценности, которые позволят ему поддерживать жизнь и сделать ее достойной существования. Он рождается без знания о том и другом. Он должен раскрыть и то и другое, перевести на язык реальности — и выжить, вылепив мир и себя в соответствии со своими ценностями.

Вырастая из общего корня, то есть философии, человеческое знание разветвляется в двух направлениях. Одна ветвь изучает физический мир или явления, относящиеся к физическому существованию человека; другая изучает человека или явления, относящиеся к его сознанию. Первая ведет к абстрактной науке, та — к прикладной науке или технике, которая, в свою очередь, ведет к технологии, то есть к реальному производству материальных ценностей. Вторая

ведет к искусству.

Искусство — это технология души.

Искусство — это продукт трех философских дисциплин: метафизики, эпистемологии, этики. Метафизика и эпистемология — абстрактная база этики. Этика — прикладная наука, определяющая кодекс ценностей, направляющих человеческий выбор и действия; выбор и действия, которые определяют ход его жизни. Этика — это технология, принципы и программы. Искусство создает конечный продукт. Оно выстраивает модель.

Мне хотелось бы подчеркнуть эту аналогию: искусство не учит, оно изображает, демонстрирует полную, конкретную реальность конечной цели. Обучение — задача этики. Обучение не цель произведения искусства, как, скажем, не цель самолета. Человек может многому научиться, изучая или разбирая самолет на части, и точно так же человек может многое узнать из произведения искусства — о природе человека, о его душе и существовании. Но это всего лишь интерференционная полоса. Основная цель самолета не научить человека летать, а дать ему реальную возможность летать. Такова же главная цель искусства.

Хотя изображение вещей, «какими они должны быть», помогает человеку достичь их в реальной жизни, это всего лишь второстепенная ценность. Главная ценность их в том, что она дает опыт жизни в мире, где вещи таковы, какими *они должны быть*. Это решающе важный опыт и психологический якорь спасения.

Поскольку человеческое честолюбие не знает границ, а поиск и достижение ценностей продолжаются всю жизнь, и чем выше ценности, тем сильнее борьба, человек нуждается в мгновении, часе или периоде, когда он может испытать ощущение выполненной задачи, ощущение жизни во вселенной, в которой он успешно достиг своих ценностей. Это подобно мгновению отдыха; можно сказать и так: он нашел топливо, необходимое, чтобы двигаться дальше. Искусство дает ему это топливо. Искусство дает ему возможность увидеть полную, непосредственную, конкретную реальность его дальних целей.

Важность этого опыта — не в том, что он узнает, а в том, что он испытывает. Топливо — не теоретический принцип, не дидактическое «учение», а жизненно важный миг переживания *метафизической радости*, миг любви к жизни.

Данная личность может предпочесть двигаться дальше, преобразуя смысл этого опыта в реальный путь. Иногда человеку не удастся жить согласно этому опыту, и всю оставшуюся жизнь он будет предавать его. Но как бы то ни было, произведение искусства остается нетронутой, завершенной данностью, достигнутым, реализованным, незыблемым фактом реальности, подобно маяку, освещающему темные перекрестки мира и говорящему: «*Это возможно*».

Независимо от последствий такой опыт нельзя считать чем-то вроде полустанка, это — пункт нашего назначения, нечто самоценное, о котором можно сказать: «Я рад, что достиг этого в своей жизни». В современном мире подобный опыт встречается редко.

Я прочла огромное количество романов, от которых в моем сознании не осталось ничего, кроме сухого шелеста давно развеявшихся обрывков. Но романы Виктора Гюго и некоторые другие стали для меня неповторимым опытом, путеводной звездой, каждый отблеск которой до сих пор не померк.

Трудно передать эту сторону искусства — она многого требует от зрителя или читателя, но думаю, многие из вас поймут меня, исходя из собственного опыта.

В «Источнике» есть сцена, которую можно считать прямым выражением этой проблемы. В определенном смысле я представляю там обоих персонажей, но она была написана, прежде всего, от лица потребителя, а не производителя искусства; она основана на моем собственном отчаянном стремлении к высшим человеческим свершениям. Я считала эмоциональный смысл

этой сцены исключительно личным, почти субъективным — и не ожидала, что кто-то будет сопереживать мне. Но оказалось, что именно эту сцену лучше всего понимают и чаще всего упоминают читатели «Источника».

Это первая сцена четвертой части, диалог между Говардом Рорком и мальчиком-велосипедистом.

Мальчик думал, что «труд человеческий должен возвышать людей, должен вести к совершенствованию природы, а не к ее деградации. Ему не хотелось презирать людей; он хотел любить их и восхищаться ими. Но его страшил вид первого же дома, который попадался ему на пути, или помещение для игры в пул и киноафиши... Он всегда хотел писать музыку и не мог выразить иначе то, что он искал... Мне бы хотелось увидеть это в одном-единственном человеческом поступке на земле. Мне хотелось бы увидеть, что это свершилось. Мне бы хотелось увидеть ответ на то, что обещала эта музыка... Не трудитесь ради моего счастья, братья мои, покажите мне ваше, покажите мне, что оно возможно, покажите мне ваши подвиги, и это придаст мне мужества».

Вот в чем смысл искусства в жизни человека.

Я бы хотела попросить вас: оцените с этой точки зрения значение натурализма — школы, которая предлагает ограничить людей видом трущоб, помещений для игры в пул, киноафиш, а то и чем-нибудь похуже.

Сторонники натурализма считают романтический или ценностный взгляд на жизнь «поверхностным», и взгляд их простирается до дна мусорного ящика, который они считают «глубоким».

Они считают наивным рационализм, цель и ценности, тогда как умудренность, по их мнению, состоит в отрицании разума, отметании целей, развенчании ценностей и написании непристойных слов на заборах и тротуарах.

Взобраться на гору, утверждают они, легко, а вот скатиться в канаву — интересно.

Те, кто ищет красоты и величия, одержимы *страхом*, говорят эти люди, олицетворяющие хронический страх, а вот ловля рыбки в клоаке требует мужества.

Человеческая душа — помойка, утверждают они с самодовольной гордостью.

Что ж, им видней.

Важный комментарий к современному состоянию нашей культуры — меня ненавидят, бранят, осуждают, поскольку я считаюсь практически единственным прозаиком, провозгласившим, что моя душа не помойка, как и души моих героев, и, вообще, душа человеческая.

Замысел и цель моих сочинений можно лучше всего обобщить, сказав, что посвящением ко всем своим трудам я бы поставила слова: «Во славу Человека».

Если бы меня спросили, что же я сказала во славу Человека, я бы ответила словами Говарда Рорка. Я бы подняла экземпляр «Атланта» и сказала: «Объяснение тут».

1963

Основные принципы литературы

Самый важный принцип литературной эстетики сформулировал Аристотель, сказавший, что в философском плане литература важнее истории, потому что «история показывает вещи такими, какие они есть, тогда как литература показывает их такими, какими они могли бы быть и должны были бы быть».

Это применимо ко всем формам литературы, в особенности к форме, которая возникла не раньше чем двадцать три века спустя: роману.

Роман — длинная выдуманная история о людях и событиях их жизни. Четыре его неотъемлемых составляющих — тема, сюжет, построение характеров, стиль.

Это составляющие, элементы, а не отдельные части. Их можно выделить, чтобы изучать, но всегда нужно помнить, что они взаимосвязаны, и роман — их совокупность. (Если речь идет о хорошем романе, то совокупность неразделима.)

Эти четыре составляющие свойственны всем формам литературы — художественной, конечно — за одним исключением. Они присущи романам, пьесам, сценариям, либретто, рассказам, но не стихам. Стихи не должны рассказывать историю, их основные составляющие — тема и стиль.

Роман — главнейшая форма литературы из-за его масштаба, его неистощимого потенциала, его практически неограниченной свободы (включая свободу от физических рамок, которые ограничивают пьесу) и, самое важное, из-за того, что роман — чисто литературная форма, не требующая в отличие от драматургии посредничества других искусств для достижения своего конечного эффекта.

Я буду говорить о четырех основных составляющих романа, но помните, что те же основные принципы с соответствующими оговорками применимы и к другим формам.

1. Тема. Тема — это совокупность абстрактного значения романа. Например, тема «Атланта» — «роль разума в жизни человека», тема «Отверженных» — «несправедливость общества к низшим классам», тема «Унесенных ветром» — «влияние Гражданской войны на южное общество».

Тема может быть и чисто философской, и более узкой в обобщении. Она может представлять определенную нравственно-философскую позицию или чисто исторический взгляд, скажем — изображать определенное общество в определенную эпоху. В выборе темы нет никаких правил или ограничений, если только ее можно передать в форме романа. Если же у романа явной темы нет, если его события ни во что не складываются, это плохой роман и порок его в недостатке цельности.

Известный архитектурный принцип Льюиса Х. Салливана «форма следует за функцией» можно перефразировать: «форма следует за смыслом». Тема романа определяет его смысл. Тема задает авторский стандарт отбора, управляет многократным выбором, без которого не обойдешься, и связывает роман воедино.

Поскольку роман воссоздает действительность, его тему нужно инсценировать, т.е. представить в действии. Жизнь состоит из действий. Все содержимое нашего сознания — мысли, знания, идеи, ценности — рано или поздно выражается в действиях, и цель у него одна — эти действия направлять. Поскольку тема романа имеет отношение к человеческой жизни или как-то ее толкует, тему надо представить через ее влияние на поступки или выразить в них.

Именно это приводит нас к ключевому элементу романа — сюжету.

2. Сюжет. Представляя историю через поступки, мы представляем ее через события. История, в которой ничего не происходит, — не история. История, элементы которой случайны

и бессистемны, — нелепый конгломерат, или, в лучшем случае, хроника, мемуары, репортаж, но не роман.

У хроники, реальной или выдуманной, может быть определенная ценность, но ценность эта главным образом информативная — историческая, социологическая, психологическая, а не эстетическая и не литературная, или лишь отчасти литературная. Поскольку искусство воссоздает реальность избирательно, а события — блоки, из которых строится роман, писатель, которому не удастся правильно отобрать события, не выполняет своих обязательств в самом важном плане своего искусства.

Проявить эту избирательность и соединить события воедино позволяет сюжет.

Сюжет, — целенаправленная последовательность логически связанных событий, ведущая к кульминации и развязке.

Слово «целенаправленная» здесь применимо как к автору, так и к персонажам романа. Оно требует, чтобы автор разработал логическую структуру событий, то есть последовательность, в которой любое крупное событие связано с предыдущим, определяется им и исходит из него, последовательность, в которой нет ничего лишнего, произвольного или случайного, так что логика событий неизбежно приводит к окончательной развязке.

Такую последовательность можно сконструировать лишь в том случае, если главные герои романа преследуют какую-то цель, т.е. какая-то задача направляет их действия. В реальной жизни придать логическую последовательность и значимость поступкам может только их направленность на результат, то есть выбор цели и путь к ее достижению. Только люди, борющиеся за то, чтобы достигнуть цели, могут продвигаться через значимую последовательность событий.

Реализм вопреки преобладающим сегодня литературным доктринам требует сюжетной структуры в романе. Все человеческие действия целенаправленны, сознательно или подсознательно, бесцельность противоречит природе человека, она свидетельствует о неврозе. Если вы хотите представить человека метафизически, таким, каков он есть по своей сути, изобразите его в целенаправленном действии.

Натуралисты полагают, что сюжет — искусственное изобретение, потому что «в реальной жизни» события не складываются в логическую картинку. Справедливость такого утверждения зависит от точки зрения наблюдателя, причем от «точки зрения» в буквальном смысле слова. Близорукий человек, стоящий в двух футах от стены дома, уставясь на нее, сказал бы, что карта улиц города — искусственное изобретение. Но пилот самолета, пролетающего на высоте двух тысяч футов над городом, так не скажет. События человеческой жизни следуют логике человеческих предпосылок и ценностей — мы поймем это, если, заглянув за настоящее, за случайные повороты и рутину повседневности, увидим поворотные пункты, направления человеческой жизни. С этой точки зрения можно заметить и то, что неудачи и крушения, которые постигают человека на пути следования к цели, — мелкие и маргинальные, а не крупные и определяющие элементы человеческого существования.

Натуралисты говорят, что большинство людей не живет целенаправленно. Кто-то сказал: если писатель пишет о скучных людях, он не обязан быть скучным. Точно так же, если он пишет о людях без цели, история его не обязана быть бесцельной (хоть у кого-то из персонажей цель есть).

Натуралисты считают, что события человеческой жизни сбивчивы, случайны и редко вписываются в ясно очерченные драматические ситуации, которых требует сюжетная структура. Это по большей части верно, но именно это — главный эстетический довод *против* позиции натуралистов. Искусство — это избирательное воссоздание действительности, его средства — оценочные абстракции, его задача — конкретизация метафизических сущностей. Изолировать и

сфокусировать в отдельном вопросе или в отдельной сцене сущность конфликта, который «в реальной жизни» может быть раздроблен и разбросан внутри целой жизни в форме бессмысленных столкновений, сгустить периодические выстрелы дроби во взрыв мощной бомбы — вот самая высокая, сложная и требовательная задача искусства. Не выполнить эту задачу значит изменить самой сущности искусства, это значит остаться играть в игры где-то на периферии.

Например, у большинства людей есть внутренние конфликты ценностей; чаще всего они выражаются в мелких иррациональных событиях, незначительных непоследовательностях, ничтожных ухищрениях, убогих и трусливых поступках, где нет ни моментов выбора, ни жизненно важных задач, ни решающих сражений. Они складываются в застойную, даром потраченную жизнь человека, который, как протекающий водопроводный кран, капля за каплей предал все свои ценности. Сравните Гейла Уинанда с Говардом Рорком из «Источника» — и решите, какой из этих способов с эстетической точки зрения более правилен, чтобы представлять разрушительное действие ценностных конфликтов.

С точки зрения универсальности как важного атрибута искусства я добавлю, что конфликт Гейла Уинанда — широкая абстракция, и его можно сделать поуже, применив к продавцу бакалеи. Но ценностные конфликты такого продавца нельзя применять ни к Гейлу Уинанду, ни даже к другому продавцу.

Сюжет романа исполняет ту же самую функцию, что стальной скелет небоскреба, — он определяет, как используются, располагаются и распределяются все остальные элементы. Число персонажей, предыстория, описания, диалоги, интроспекции и т.д. должны определяться тем, может ли их удержать сюжет, то есть должны соединяться с событиями и способствовать продвижению истории. Точно так же, как нельзя взваливать посторонний груз или украшения на здание, не учитывая силу его каркаса, нельзя нагружать роман неуместными подробностями, не учитывая сюжета. Расплата в обоих случаях одинакова — все рухнет.

Если персонажи романа долго и отвлеченно обсуждают свои идеи, но идеи эти не сказываются на их действиях или событиях истории, это плохой роман. Пример — «Волшебная гора» Томаса Манна. Ее персонажи то и дело прерывают течение истории, чтобы пофилософствовать о жизни, после чего рассказ — или его отсутствие — возобновляется.

Похожий, хотя и другой пример плохого романа — «Американская трагедия» Теодора Драйзера. Здесь автор пытается придать значимость банальной истории, добавляя к ней тему, которая с ней не связана и не показана в событиях романа. События разворачиваются вокруг вековой романтической темы испорченного слабого человека, который убивает свою беременную возлюбленную, работающую женщину, чтобы жениться на богатой наследнице. Автор претендует на то, что тема этого романа — «зло капитализма».

Обсуждая роман, читатель должен улавливать его *смысл* из событий, потому что именно события показывают, о чем идет речь. Никакое количество эзотерических рассуждений на отвлеченные темы, приделанных к роману, где не происходит ничего, кроме того, что «молодой человек знакомится с девушкой», не сможет превратить его ни во что другое, кроме как в роман о том, как «молодой человек знакомится с девушкой».

Это приводит к важнейшему принципу хорошей литературы: тема и сюжет романа должны быть связаны друг с другом так же крепко, как разум и тело, или мысль и действие в представлении разумного человека.

Связь между темой и событиями романа я обозначаю понятием «*тема-сюжет*». Это — первый шаг по превращению абстрактной темы в историю, без которого построить сюжет невозможно. «Тема-сюжет» — центральный конфликт или «ситуация» истории — конфликт в терминах действия, соответствующий теме и достаточно сложный, чтобы создать

целенаправленную последовательность событий.

Тема романа — сердцевина его абстрактного значения; тема-сюжет — сердцевина его событий.

Например, тема «Атланта» — «роль разума в жизни человека». Тема-сюжет — «мыслящие люди устраивают забастовку против альтруистическо-коллективистского общества».

Тема «Отверженных» — «несправедливость общества к низшим классам». Тема-сюжет — «бывший каторжник всю жизнь убегает от безжалостного блюстителя закона».

Тема «Унесенных ветром» — «влияние Гражданской войны на южное общество». Тема-сюжет — «романтический конфликт женщины, которая любит человека, представляющего старый порядок, а ее любит человек, представляющий новый порядок». (Мастерство Маргарет Митчелл в этом романе проявилось в том, что события внутри любовного треугольника определяются событиями Гражданской войны и вовлекают в единую сюжетную структуру других персонажей, представляющих различные слои южного общества.)

Слияние важной темы со сложной сюжетной структурой — самое трудное достижение, которое только возможно для писателя, и самое редкое. Великими мастерами в этом отношении были Виктор Гюго и Достоевский. Если вы хотите увидеть литературу в ее вершинных проявлениях, изучите, каким образом в их романах события проистекают из темы, выражают, иллюстрируют и инсценируют ее. Слияние так совершенно, что никакие другие события не передали бы темы и никакая другая тема не создала бы этих событий.

(В скобках я должна отметить, что Виктор Гюго прерывает свои истории, чтобы вставить в повествование исторические очерки, касающиеся разнообразных аспектов темы. Это очень серьезная литературная ошибка, но такое убеждение разделяли многие писатели девятнадцатого века. Гюго не становится хуже, поскольку очерки можно опустить, не повредив структуры романов. Они не совсем принадлежат роману, но сами по себе поистине блестящи.)

Поскольку сюжет — это инсценировка целенаправленного действия, он должен основываться на *конflikте*. Это может быть внутренний конфликт одного персонажа, а может быть конфликт целей и ценностей нескольких персонажей. Поскольку цели не достигаются автоматически, инсценировка стремления к цели должна включать в себя препятствия, столкновения, борьбу — действительную, но не чисто физическую. Поскольку искусство — конкретизация ценностей, мало что может быть более грубой ошибкой, чем драки, погони, побеги и другие физические действия, оторванные от любого психологического конфликта или ценностного значения. Физическое действие как таковое не является ни сюжетом, ни подменой сюжета, хотя так думает множество плохих писателей, особенно в теперешних телевизионных драмах.

Есть и другая сторона дихотомии разум-тело, досаждающая литературе. Идеи или психологические состояния, оторванные от действия, не создают истории — как не создает ее физическое действие, оторванное от идей и ценностей.

Поскольку природа действия задается природой действующих единиц, действие романа должно обуславливаться природой его персонажей и согласовываться с ней. Это приводит нас к третьему важному элементу романа.

3. Построение характеров. Построение характеров — это изображение тех существенных черт, которые формируют уникальную, характерную личность.

Построение характеров требует крайней избирательности. Человек — самое сложное, что есть на Земле, задача писателя — отобрать самое существенное из этого невероятно сложного существа, а затем создать индивидуальный образ, наделив его подходящими деталями вплоть до многозначительных мелких штрихов, без которых нет реалистичности. Образ этот должен быть абстракцией и в то же время выглядеть как нечто конкретное. Образ этот должен обладать

универсальностью абстракции и неповторимой уникальностью *личности*.

В сущности, у нас только два источника информации об окружающих нас людях. Мы судим о них прежде всего по тому, что они делают, а уж затем по тому, что они говорят. Точно так же построить характер в романе можно с помощью двух основных средств — *действия* и *диалога*. Описания внешности персонажа, его поведения и т.п. могут внести свой вклад в построение образа, как и интроспекции или замечания других персонажей. Но все это лишь вспомогательные средства, от которых нет проку, если отсутствуют два опорных столпа: действие и диалог. Чтобы создать реального человека, писатель должен показать, что он делает и что он говорит.

Одна из грубейших ошибок, которую может допустить здесь автор, — это декларировать природу своих персонажей без каких-либо подтверждений своих слов в действиях героев. Например, автор твердит, что его герой «добродетелен», «чувствителен», «великодушен», что он настоящий «герой», а тот просто любит героиню, улыбается знакомым, созерцает закат и голосует за демократов. Едва ли можно назвать это построением характера.

Писатель, как и любой другой творец, должен предъявить оценочное воссоздание действительности, а не просто оценить ее на словах. Когда речь идет о построении характера, один поступок стоит тысячи прилагательных.

Построение характеров требует изображения *существенных* черт. А в чем состоят существенные черты человеческого характера?

Что мы имеем в виду в действительности, когда говорим, что кого-то не понимаем? Вот что: мы не понимаем, почему он совершает те или иные поступки. А когда мы говорим, что знаем человека хорошо, мы имеем в виду, что понимаем его действия и знаем, чего от него ожидать. Что же мы знаем? Его *мотивацию*.

Мотивация — ключевое понятие в психологии и в художественной литературе. Человеческий характер формируется его базовыми предпосылками и ценностями, именно они подвигают его на действие. Чтобы понять характер человека, мы должны понять мотивацию его действий. Чтобы узнать, что заставляет человека вести себя так, как он себя ведет, мы должны спросить: «Чего он добивается?»

Чтобы воссоздать своих персонажей, сделать их природу и поступки понятными, писатель должен раскрыть их мотивы. Он может делать это постепенно, добавляя сведения по мере продвижения истории, но к концу романа читатель должен знать, почему герои делали то, что делали.

Глубина построения характеров зависит от психологического уровня мотивации, который автор считает достаточным, чтобы осветить поведение человека. Например, в среднестатистической детективной истории действия преступников мотивированы поверхностным понятием «материальной алчности» — но такой роман, как «Преступление и наказание» Достоевского, раскрывает душу преступника вплоть до его философских предпосылок.

Последовательность — основное требование к построению характеров. Это не значит, что персонажем движут только логически связанные предпосылки: самых интересных персонажей художественной литературы раздирают внутренние противоречия. Это значит, что автор должен быть последователен в своих взглядах на психологию персонажа и не должен позволять ему необъяснимых действий, действий, не подготовленных предыдущими мотивировками либо не противоречащих им. Противоречивость персонажа должна быть *намеренной*.

Чтобы поддержать внутреннюю логику характера, писатель должен понимать логическую цепочку, ведущую от побудительных причин, движущих его персонажами, к их действиям. Чтобы поддержать мотивационную последовательность, он должен знать основные

предпосылки персонажей и ключевые действия, к которым эти предпосылки приведут в ходе истории. Когда он пишет сцены, в которых появляются персонажи, предпосылки действуют как селекторы, помогая автору отобрать детали и мелкие штрихи, которые он решает включить в описание сцены. Таких деталей неисчислимо много, а выбором автора движет осознание того, что он хочет открыть читателю.

Чтобы показать, что происходит при построении характеров, какими средствами оно достигается и к каким ужасающим последствиям приводят противоречия, — проиллюстрируем все это конкретным примером.

Я покажу это с помощью двух сцен, воспроизведенных ниже. Одна — сцена из «Источника» в том виде, в каком она представлена в романе, вторая — та же самая сцена, переписанная мной для этого примера. В обеих версиях присутствует только голый каркас сцены, только диалог, а описания опущены. Для иллюстрации этого будет достаточно.

Возьмем первую сцену, где Говард Рорк и Питер Китинг появляются вместе. Происходит это вечером того дня, когда Рорка выгнали из колледжа, а Китинг закончил колледж с отличием. Действие состоит в том, что один молодой человек спрашивает совета у другого, какую профессию выбрать. Но что это за молодые люди? Каковы их взгляды, предпосылки, движущие причины? Посмотрите, сколько можно выяснить из одной-единственной сцены и сколько вещей читательский разум регистрирует автоматически.

Вот сцена в том виде, в каком она присутствует в романе:

— Поздравляю, Питер, — сказал Рорк.

— О... Спасибо... то есть... ты знаешь или... мама тебе сказала?

— Да, сказала.

— Не стоило!

— Почему нет?

— Послушай, Говард, ты знаешь, мне ужасно жаль, что тебя...

— Забудь об этом.

— Я... мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Посоветоваться. Ничего, если я сяду?

— О чем ты хотел поговорить?

— Ты не подумай, что нехорошо с моей стороны спрашивать о своих делах, когда тебя только что...

— Сказано, забудь об этом. О чем ты хотел поговорить?

— Знаешь, я часто думал, что ты не в себе. Но ты разбираешься в архитектуре гораздо лучше этих идиотов. И ты ее любишь гораздо больше, чем они.

— Ну и?

— Э... я не знаю, почему я пришел к тебе... Говард, я никогда раньше так не говорил, но мне важнее знать твое мнение, а не мнение декана. Наверное, я слушаюсь его, но для меня самого твое мнение значит больше, не знаю уж, почему. И еще, я не знаю, почему я это говорю.

— Да ладно, ты боишься меня, что ли? О чем ты хочешь спросить?

— О моей стипендии. О Парижском призе, который я получил.

— Да?

— На четыре года. С другой стороны, Гай Франкон недавно предложил мне работу у себя. Сегодня он сказал, что вакансия еще открыта. Не знаю, что выбрать.

— Если ты хочешь моего совета, Питер, ты уже сделал ошибку, когда спросил у меня. Когда вообще стал у кого-то спрашивать. Никогда ни у кого не спрашивай насчет

своей работы. Ты что, не знаешь, чего хочешь? Как ты можешь это вынести, не зная, чего хочешь!

— Понимаешь, это меня в тебе восхищает, Говард. Ты всегда знаешь.

— Брось комплименты.

— Я действительно хочу это сказать. Как тебе всегда удается решить?

— Как ты можешь, чтобы другие все решали за тебя?

Это была сцена в том виде, в каком она фигурирует в романе. А вот та же самая сцена, но переписанная.

— Поздравляю, Питер, — сказал Рорк.

— О... Спасибо... то есть... ты знаешь *или*... мама тебе сказала?

— Да, сказала.

— Не стоило!

— Да ладно, мне это все равно.

— Послушай, Говард, ты знаешь, мне ужасно жаль, что тебя выгнали.

— Спасибо, Питер.

— Я... мне нужно с тобой кое о чем поговорить, Говард. Посоветоваться... Ничего, если я сяду?

— Выкладывай. Постараюсь помочь, чем смогу

— Ты не подумай, что нехорошо с моей стороны спрашивать о своих делах, когда тебя только что выгнали?

— Нет. Но очень мило, что ты это говоришь, Питер. Я это ценю.

— Знаешь, я часто думал, что ты не в себе.

— Почему?

— Ну, все эти твои идеи насчет архитектуры... никто никогда не соглашался с тобой, ни декан, ни профессора... А они-то свое дело знают. Они всегда правы. Не знаю, почему я пришел к тебе.

— Сколько людей, столько и мнений. Что ты хотел спросить?

— О моей стипендии. О Парижском призе, который я получил.

— Лично мне это бы не понравилось. Но я знаю, что для тебя это важно.

— На четыре года. С другой стороны, Гай Франкон недавно предложил мне работу у себя. Сегодня он сказал, что вакансия еще открыта. Не знаю, что выбрать.

— Если ты хочешь моего совета, Питер, иди работать к Гаю Франкону. Мне наплевать на его работу, но он хороший архитектор, и ты у него научишься строить.

— Понимаешь, это меня в тебе восхищает, Говард. Ты всегда умеешь решать.

— Стараюсь, как могу.

— Как у тебя это получается?

— Да так, просто...

— Но ты понимаешь, я не уверен, Говард. Я никогда не уверен в себе. А ты всегда уверен.

— Я бы так не сказал. Но, мне кажется, я уверен в своей работе.

Вот вам пример «очеловечивания» персонажа.

Молодой читатель, которому я показала эту сцену, с изумлением и негодованием сказал мне: «Да он не страшный, он просто обыкновенный!»

Давайте посмотрим, что передано в этих двух сценах.

В оригинальной сцене Рорку безразлично, как смотрит Китинг или все вообще на то, что его выгнали из колледжа. Он даже не задумывается ни о каком «сравнительном стандарте», ни о каком отношении между тем, что его выгнали, а Китинг преуспел.

Рорк вежлив с Китингом, но совершенно равнодушен.

Он смягчается и проявляет какой-то намек на дружелюбие, только когда Китинг говорит об уважении к его взглядам, а главное, когда Китинг сам проявляет искренность.

Совет Рорка быть независимым показывает, что он великодушно принимает проблему Китинга всерьез, ведь он говорит ему не о конкретном выборе, но о ключевом принципе. Сущность различия между собой предпосылок героев сфокусирована в двух репликах. Китинг: «Как тебе всегда удается решить?» — Рорк: «Как ты можешь, чтобы другие решали за тебя?»

В переписанной сцене Рорк принимает стандарты Китинга и его матери. То, что его выгнали, — катастрофа, а успешное окончание колледжа — триумф. Но он проявляет великодушную терпимость. Рорк заинтересован в будущем Китинга и готов помочь ему.

Он принимает его соболезнования.

На оскорбительную реплику о его мнениях он откликается с интересом, переспрашивая: «Почему?»

Он проявляет уважительную терпимость к различию их точек зрения, тем самым признаваясь в том, что для него все в мире относительно.

Он дает Китингу конкретный совет, не считая неправильным то, что Китинг полагается на чужое суждение.

Он не особенно уверен в своем мнении и старается преуменьшить даже то, что есть. Он не воспринимает уверенность в себе как очевидную добродетель, он не видит, почему он должен быть уверен в чем-то, не касающемся его работы. Таким образом, он показывает, что он просто поверхностный и узкий профессионал, честен по отношению к своей работе, но начисто лишен честности вообще. У него нет серьезных принципов, философских убеждений и ценностей.

Если бы Рорк был таким, он не смог бы дольше года или двух выдержать ту битву, которую ему приходится вести последующие восемнадцать лет, не смог бы и победить. Если бы в романе была переписанная сцена, а не оригинальная (и еще несколько «смягчающих» штрихов), последующие события оказались бы бессмысленными, действия Рорка непонятными, неоправданными, психологически невозможными и все построение его характера развалилось бы на куски, равно как и сам роман.

Теперь, надеюсь, ясно, почему основные элементы романа — это составляющие и свойства, а не отдельные части, как ясно и то, каким образом они взаимосвязаны. Тему романа можно передать только через события сюжета, события сюжета зависят от построения характеров, участвующих в этих событиях, построить характеры можно только через события сюжета, а сюжет не построишь, если нет темы.

Вот какого слияния и единства требует природа романа. Именно поэтому хороший роман — неделимая величина: каждая сцена, эпизод, пассаж должны включать в себя и продвигать все три основных элемента: тему, сюжет, построение характеров — и вносить в них свой вклад.

Нет никакого правила, диктующего, какой из этих трех элементов должен первым прийти в голову писателю и начать процесс построения романа. Можно начать с выбора темы, затем преобразовать ее в подходящий сюжет и понять, какие персонажи нужны, чтобы воплотить. Можно начать с сюжетного замысла, то есть с темы-сюжета, затем определить нужных персонажей и задать абстрактное значение, которое неизбежно будет иметь его история. Можно начать с персонажей, а уж затем определить, к каким конфликтам ведут их мотивы, какие события произойдут и что же значит вся история. Неважно, с чего начинается писатель, лишь бы он знал, что все три составляющие должны объединиться в единое целое настолько слитно,

чтобы изначальную точку отсчета нельзя было распознать.

Что до четвертой составляющей, стиля — это средство, с помощью которого передаются первые три.

4. Стил. Тема эта настолько сложна, что ее нельзя исчерпать в одной статье. Я лишь укажу на несколько существенных положений.

У литературного стиля есть два основных элемента (каждый из которых подразумевает множество более мелких): «выбор содержания» и «выбор слов». Под «выбором содержания» я имею в виду те аспекты данного отрывка (описания, повествования, диалога), которые автор решает донести до читателя (поразмыслив о том, что оставить, а что выбросить). Под «выбором слов» я имею в виду конкретные слова и фразы, которые автор использует, чтобы это сообщить.

Например, когда писатель описывает красивую женщину, «выбор содержания» определит, подчеркнет ли он ее лицо или тело, или манеру двигаться, или выражение лица; будут ли детали, которые он включит в описание, существенными и значительными; подаст ли он их с помощью фактов или оценок и т.п. Его «выбор слов» передаст эмоциональные подтексты или коннотации, угол зрения или конкретное содержание, которое он решил сообщить. (Эффект будет разным в зависимости от того, сказано ли, что женщина «тонкая», «худощавая», «стройная» или «тощая» и т.д.)

Сравним литературный стиль двух цитат из двух романов. Обе описывают одно и то же — ночной Нью-Йорк. Обратите внимание, какая из них воссоздает визуальную реальность конкретной сцены, а какая имеет дело со смутными чувствами и изменчивыми абстракциями.

Первая цитата:

Никто никогда не ходил через мост, по крайней мере в такую ночь. Дождь так моросил, что превращался почти в туман, в холодную серую занавеску, отгораживавшую меня от бледных овалов — лиц, запертых за мокрыми стеклами машин, с шипением пронесившихся мимо. Даже сияние ночного Манхэттена превратилось в несколько сонных желтых огней вдалеке. Где-то там я оставил машину и пошел пешком, зарыв голову в воротник плаща, и ночь обернула меня, как одеяло. Я шел, курил, кидал окурки перед собой, смотрел, как они приземляются на тротуар и, моргнув, гаснут.

Вторая цитата:

Этот час, это мгновение и это место с бесподобной остротой попали в самое сердце его молодости, в самый пик и зенит его желания. Город никогда не казался таким красивым, каким он выглядел в ту ночь. Впервые он увидел, что из всех городов мира Нью-Йорк был величайший ночной город. Здесь возникала прелесть, изумительная и несравненная, современная красота, неотъемлемо присущая месту и времени, с которой не могло сравниться никакое другое место и время. Он вдруг осознал, что у красоты других ночных городов — Парижа, каким он виден с холма Сакре Кер, с громадными, загадочными цветами ночного свечения; Лондона с его дымным ореолом туманного света, который так берет за сердце, потому что он так огромен, так затерян в безграничном, — свои собственные качества, прелестные и загадочные, но ее нельзя сопоставить с этой красотой.

Первая цитата из романа Микки Спиллейна «Одна одинокая ночь». Вторая из романа Томаса Вулфа «Паутина и скала».

Обоим писателям нужно было, чтобы читатель увидел определенную картину и ощутил определенное настроение. Заметьте разницу в их методе. В описании Спиллейна нет ни одного эмоционально окрашенного существительного или прилагательного; он не предъявляет читателю ничего, кроме визуальных фактов, но выбирает только те красноречивые детали, которые передают визуальную реальность сцены и создают настроение одиночества. Вулф не описывает город, он не дает нам ни единой визуальной детали. Он говорит, что город «красив», но не говорит нам, *почему*. Такие слова, как «красивый», «изумительный», «несравненный», «прелестный», — оценочные: они остаются лишь произвольными голословными утверждениями и бессмысленными обобщениями. Нет никаких указаний на то, что вызвало эту оценку.

Стиль Спиллейна ориентирован на действительность и адресован объективной психоэпистемологии; он дает факты и предполагает, что читатель отреагирует соответствующим образом. Стиль Вулфа ориентирован на эмоции и адресован субъективной психоэпистемологии: он предполагает, что читатель воспримет эмоции, отделенные от фактов, и примет их из вторых рук.

Спиллейна нужно читать сосредоточенно, потому что разум самого читателя должен оценивать факты и вызывать нужную эмоцию. Если прочесть его рассеянно, ничего не получишь — здесь нет ни готовых обобщений, ни заранее пережеванных эмоций. Если прочесть Вулфа рассеянно, у читателя останется впечатление чего-то смутного, велеречивого, приблизительного, наводящего на мысль о том, что сказано что-то важное или возвышающее. Если прочесть его сосредоточенно, станет понятно, что автор не сказал ничего.

Это — не единственные атрибуты литературного стиля. Я использовала эти примеры, только чтобы указать на какие-то очень широкие категории. В этих двух цитатах и в любом письменном произведении есть множество других элементов. Стиль — самый сложный аспект литературы и психологически самый содержательный.

Но стиль не самоцель, а средство достижения цели. Он нужен, чтобы рассказывать истории. Если писатель добился прекрасного стиля, но ему нечего сказать, значит, он остановился в эстетическом развитии. Он подобен пианисту, который добился блестящей техники, играя этюды, но никогда не давал концертов.

Типичный литературный продукт таких писателей (и их подражателей, у которых нет стиля) так называемые «этюды», популярные в нынешних литературных кругах. Эти маленькие произведения не передают ничего, кроме определенного настроения. Это лишь этюды, которым никогда не дорасти до искусства.

Искусство воссоздает действительность. Оно может влиять и влияет на настроение читателя, однако это — лишь один из его побочных продуктов искусства. Пытаясь повлиять на это настроение читателя, не воссоздавая действительность, мы тщимся отделить сознание от бытия; сделать сознание, а не действительность фокусом искусства, рассматривать мгновенную эмоцию как самоцель.

Современный художник предлагает какие-то пятна краски, наложенные на топорный рисунок, и похвально своей «цветовой гармонией», тогда как для настоящего художника цветовая гармония — лишь одно из средств, которыми надо овладеть, чтобы достичь значительно более сложной и важной цели. Точно так же современный писатель предлагает какие-то навевающие воспоминания фразы, складывающиеся в тривиальную виньетку, и хвалится, что создал «настроение», тогда как для настоящего писателя воссоздание настроения — лишь одно из средств, которыми надо овладеть ради таких сложных элементов как тема, сюжет, построение характеров, которые все вместе складываются в такую громадную цель, как *роман*.

Данный вопрос красноречиво иллюстрирует отношения между философией и искусством.

Точно так же, как в современной философии преобладает попытка уничтожить понятийный и даже перцепционный уровень человеческого сознания, сводя способность воспринимать к простым ощущениям, в современном искусстве преобладает попытка разложить человеческое сознание, сводя его к простым ощущениям, к «наслаждению» бессмысленными цветами, шумами и настроениями.

В любой период развития культуры искусство — верное зеркало философии этой культуры. Если из сегодняшних эстетических зеркал на вас пялятся и ржут непотребные, изуродованные монстры — недоноски посредственности, бессмысленности и паники, перед вами воплощенная, конкретизированная реальность философских предпосылок, преобладающих в современной культуре. Назвать их «искусством» можно не благодаря намерениям или достижениям авторов, но лишь потому, что, даже узурпируя эту область, невозможно избежать ее разоблачительной власти.

Смотреть на это страшно, однако здесь есть и поучение: те, кто не хочет отдавать свое будущее каким-то смутным уродам, могут узнать по ним, из каких трясин они выросли и какими дезинфицирующими средствами их можно уничтожить. Трясины — современная философия; дезинфицирующее средство — разум.

1968

Что такое романтизм?

Романтизм — это эстетическая категория, основанная на признании того, что человек способен к волевому акту.

Искусство избирательно воссоздает действительность согласно метафизическим оценкам художника. Художник воссоздает те ее стороны, которые отображают его фундаментальный взгляд на человека и бытие. При формировании взгляда на природу человека нужно ответить на главный вопрос — способны ли мы, люди, к волевому акту, ибо от ответа напрямую зависят выводы и оценки, касающиеся всех свойств, требований и поступков человека.

Два противоположных ответа создают основные предпосылки для двух широких эстетических категорий: романтизма, признающего, что такая способность существует, и натурализма, отрицающего ее.

В литературе логические следствия этих предпосылок (сознательных или подсознательных) определяют форму ключевых элементов произведения.

1. Если человек к волевому акту способен, то решающий аспект его жизни — это выбор ценностей; если он выбирает ценности, он должен действовать, чтобы достичь и/или сохранить их; если это так, он должен поставить перед собой определенные задачи и включиться в целенаправленное действие, их разрешающее. Литературная форма, выражающая суть такого действия, — *сюжет* (целенаправленная последовательность логически связанных событий, ведущая к кульминации и развязке).

Способность к волевому акту действует в отношении двух главных сторон человеческой жизни: сознания и бытия, то есть психологического действия и действия экзистенциального, иными словами, формирования человека и хода действий, которые он совершает в физическом мире. Таким образом, в литературном произведении и описание персонажей, и описание событий должно соответствовать взглядам автора на роль ценностей в человеческой психике и жизни (согласно той системе ценностей, которую он считает истинной). Его персонажи — абстрактные проекции, а не воспроизведение конкретных лиц; они измышлены, а не списаны с натуры, с конкретных людей, которых знал писатель. Особые характеры конкретных лиц просто свидетельствуют о том, что лица эти так, а не иначе выбирают ценности. У этих характеров нет никакого более широкого метафизического значения, они только служат материалом для изучения общих принципов человеческой психики и отнюдь не полностью разрабатывают какой-либо характер.

2. Если человек к волевому акту не способен, его жизнь и характер определяются силами, неподвластными его контролю; если это так, выбирать ценности он не может, а значит, те ценности, которыми он, казалось бы, владеет, — иллюзия, определенная силами, которым он не властен противиться. Отсюда следует, что он не может достичь своих целей или включиться в целенаправленное действие, а если попытается создать иллюзию такого действия, эти силы его одолеют и поражение (или случайный успех) не будет иметь к его действиям никакого отношения. Литературная форма, выражающая суть таких взглядов, — бессюжетность (поскольку невозможна ни целенаправленная последовательность действий, ни логическая непрерывность, ни развязка, ни кульминация).

Если характер человека и ход его жизни порождены неизвестными (или непостижимыми) силами, то автор не изобретает события и персонажей, а списывает их с конкретных лиц и событий. Отрицая какой-либо эффективный принцип мотивации в человеческой психике, он не может выдумывать людей, может только наблюдать их, как наблюдает неодушевленные предметы, и воспроизводить, надеясь, что при этом появится какой-то ключ к неизвестным

силам, управляющим нашей судьбой.

Эти предпосылки романтизма и натурализма влияют на все остальные аспекты произведения, в частности на выбор темы и на свойства стиля, но именно *структура* его — наличие или отсутствие сюжета — воплощает самую важную разницу между ними и прежде всего помогает отнести конкретное произведение к той или другой «школе».

Я не хочу сказать, что писатель сознательно распознает и применяет следствия своей основной предпосылки. Искусство скорее порождается подсознанием, ощущением жизни, чем философскими убеждениями. Даже выбор основной предпосылки может быть подсознательным, поскольку писатели, как и прочие люди, редко формулируют свое ощущение жизни в сознательных категориях. Ощущение это у них может быть таким же противоречивым, как у любого человека, а потому противоречия заметны; граница между романтизмом и натурализмом не всегда последовательно выдерживается в рамках конкретного произведения (тем более что одна из этих предпосылок неверна). Однако, исследуя сферу искусства и изучая готовые творения, можно заметить, что степень связности в следствиях этих предпосылок красноречиво показывает силу философских установок в этой сфере.

За очень редкими (и частными) исключениями, романтизма в современной литературе нет. Это не удивительно, если вспомнить те тяжкие обломки философии, под грузом которых воспитывались поколения. Среди обломков преобладали иррационализм и детерминизм. Молодые люди в годы формирования не могли найти особых причин для разумного, благожелательного, ценностно-ориентированного отношения к жизни ни в философии, ни в ее культурных отражениях, ни в повседневной жизни пассивно разлагающегося общества.

Заметьте, однако, психологические симптомы неопознанной, непризнанной проблемы: нынешние представители эстетики ожесточенно сопротивляются любым проявлениям романтической предпосылки. В частности, им глубоко противен сюжет, и у враждебности этой — очень личные обертоны; она слишком интенсивна для проблемы литературного канона. Если, как они считают, сюжет неважен и неуместен, зачем его истерически бранить? Такая реакция свойственна *метафизическим* проблемам, то есть тому, что угрожает основам нашего мирозерцания (если созерцание это внеразумно). В самой структуре сюжета они чувствуют подспудную предпосылку — веру в способность к волевому акту (и, следовательно, нравственную ценность). Ту же реакцию по тем же подсознательным причинам вызывают герой, или счастливый конец, или триумф добродетели, а в изобразительных искусствах — красота. Казалось бы, красота не связана с моралью или способностью к действию; но *выбор*, в результате которого художник рисует что-то красивое, а не уродливое, подразумевает, что он вообще может выбирать стандарты и ценности.

Крах романтизма в эстетике, подобно краху индивидуализма в этике или капитализма в политике, стал возможен из-за философского дефолта. Вот еще один пример правила, гласящего: то, что неизвестно, нельзя сознательно контролировать. Во всех трех случаях природу затронутых ценностей никогда явно не определяли. Люди спорили о второстепенном и уничтожали ценности, не зная, что они теряют и почему.

Так обстояли дела в эстетике, которая на всем протяжении истории была практически монополией мистики. Определение романтизма, приведенное здесь, принадлежит мне. Общепринятого определения нет (собственно, не определены ни ключевой элемент искусства, ни оно само).

Романтизм — продукт девятнадцатого века (в значительной мере подсознательный), результат двух мощных влияний — аристотелианства, освободившего человека, утвердив могущество его разума, и капитализма, давшего разуму свободу воплощать свои идеи на практике (второе влияние само по себе вытекало из первого). Но в то время, когда практические

последствия аристотелианства проникали в повседневное существование, его теоретическое влияние уже давно исчезло; философия со времен Возрождения двигалась назад, к мистике. Таким образом, исторически беспрецедентные события девятнадцатого века — индустриальная революция, поистине чудесная скорость развития наук, стремительно растущий стандарт жизни, освобожденный поток человеческой энергии — оставались без интеллектуального направления и оценки. Девятнадцатый век руководствовался не философией Аристотеля, а *аристотелевским ощущением жизни*. (И, как блестящий горячий юноша, которому не удастся сформулировать свое ощущение жизни в сознательных терминах, век этот отгорел и погас, задохнувшись в тупиках своей необоримой энергии.)

Каковы бы ни были их сознательные убеждения, творцы великой новой школы этого века, романтики, брали свое ощущение жизни из тогдашней культурной атмосферы. Людей опьяняло открытие свободы, все древние оплоты тирании — церковь, государство, монархия, феодализм — терпели крах, перед людьми открывались бесконечные дороги во всех направлениях, и для только что высвобожденной энергии не было никаких преград. Лучше всего эту атмосферу выразила наивная, буйная и трагически слепая вера в то, что прогресс отныне и вовеки будет непреодолимым и *автоматическим*.

В эстетическом плане романтики были великими бунтарями и новаторами. Сознательно же они, большей частью, были противниками Аристотеля и склонялись к какой-то дикой, неуправляемой мистике. Они не рассматривали свой бунт в философских категориях и бунтовали (во имя свободы творчества) не против детерминизма, но (что гораздо поверхностней) против эстетического «истеблишмента» тех времен, классицизма.

Классицизм (еще более поверхностный) разработал набор произвольных и очень подробных правил, претендующих на то, чтобы представлять собой конечные и абсолютные критерии эстетической ценности. В литературе эти правила сводились к специальным указаниям, свободно выведенным из греческой (и французской) трагедии, предписывавшей все формальные аспекты пьесы (единство времени, места и действия), вплоть до числа актов и дозволенного персонажу количества стихов. Часть этих указаний основывалась на эстетике Аристотеля и могла послужить примером того, что происходит, когда ум, привязанный к конкретному, чтобы снять с себя ответственность за мышление, пытается преобразовать абстрактные принципы в конкретные предписания и заменить творчество имитацией. (Пример классицизма, долго просуществовавшего уже в двадцатом веке, — архитектурные догмы антагонистов Говарда Рорка.)

Хотя классицисты не могли сказать, почему нужно принимать их правила (кроме обычной отсылки к традиции, учености и престижу древности), эта школа воспринималась как образец *разума*(¹).

Таковы корни одного из самых мрачных недоразумений в истории культуры. Пытаясь определить природу романтизма, его поначалу называли эстетической школой, основанной на превосходстве чувств, в противовес классицизму (а позже — натурализму), воплощающему превосходство разума. В различных формах определение это сохранилось до наших дней. Вот к чему приводят попытки определять что-то по несущественным признакам, и вот как приходится расплачиваться за нефилософский подход к явлениям культуры.

Можно заметить то искажение истины, благодаря которому возникла эта ранняя классификация. Романтики привнесли в искусство *превосходство ценностей*, которых не хватало в избитых, скучных, многократно использованных, третьесортных повторениях классицистических догм. Ценности (и ценностные суждения) — источник чувств; эмоциональное богатство воплощалось в творчестве романтиков и в реакции их аудитории точно так же, как и яркость, воображение, своеобразие и все остальные плоды ценностно-

ориентированного мировосприятия. Эта сторона была заметней всего в новом движении, и потому ее, без дальнейших выяснений, сочли его главной характеристикой.

Вопросы о том, что превосходство ценностей в человеческой жизни не первично и основывается оно на способности к волевому акту, а следовательно, романтики с философской точки зрения — поборники воли (которую можно считать корнем ценностей), а не чувств (которые оказываются следствием), вопросы эти должны были решать философы, не справившиеся со своими задачами в эстетике, точно так же как и во всех остальных главных областях девятнадцатого века.

Еще более глубокий вопрос о том, равнозначна ли способность *разума* способности к волевому акту, тогда не ставили. Разнообразные теории свободы воли были большей частью внеразумны, усиливая тем самым связь волевого акта с мистикой.

Романтики воспринимали свое дело прежде всего как борьбу за право на индивидуальность. Не в состоянии осознать его глубочайшее метафизическое оправдание и определить свои ценности в терминах разума, они боролись за индивидуальность в терминах *чувства*, отказываясь от разума в пользу своих противников.

У этой основной ошибки были и другие, менее значительные последствия. Все это — симптомы интеллектуальной неразберихи тех времен. Ища вслепую метафизически ориентированный, масштабный, возвышенный стиль жизни, романтики чаще всего были врагами капитализма, который они считали прозаической, материалистической, «мелкобуржуазной» системой, так и не догадавшись, что только при этой системе возможны свобода, индивидуальность и поиски ценностей. Некоторые предпочли стать поборниками социализма; некоторые обратились за вдохновением к Средневековью, бесстыдно идеализируя эту кошмарную эпоху; некоторые пришли к тому, к чему приходит большинство поборников иррационального, то есть к религии. Все это способствовало тому, чтобы романтизм поскорее порвал с реальностью.

Когда во второй половине девятнадцатого века на культурную арену вышел натурализм и, облачившись в мантию разума и реальности, провозгласил долгом художника изображать «вещи как они есть», романтизм мало что смог ему противопоставить.

Стоит отметить, что философы еще усилили путаницу вокруг самого термина. Они приклеили ярлык «романтиков» к некоторым философам (например, Шеллингу и Шопенгауэру), которые были признанными мистиками, отстаивавшими верховенство эмоций, инстинктов и *воли* над разумом. Это течение в философии не было всерьез связано с романтизмом в эстетике, и не стоит путать их между собой. Но в одном отношении устоявшаяся терминология важна: она показывает, как запутан вопрос о волевом акте. С порочной злобой, с ненавистью к жизни «романтические» философы восхваляли волевой акт, создавая культ каприза, тогда как сами романтики защищали его во имя здешних, земных ценностей. В сущности, солнечный свет Виктора Гюго диаметрально противоположен ядовитой грязи Шопенгауэра. Только из-за философской недобросовестности они могли попасть в одну категорию. Это показывает, как важна тема волевого акта и как уродливо она искажается, когда люди не могут осознать ее природу. Кроме того, это показывает, как важно установить, что волевой акт — функция наших мыслительных способностей.

Недавно некоторые историки литературы отказались от определения романтизма как школы, ориентированной на чувства, и безуспешно попытались определить его заново. Нужно было бы определить романтизм как школу, ориентированную на *волевой акт*; в терминах этой характеристики можно проследить и понять историю романтической литературы.

Неназванные правила романтизма предъявляли настолько высокие требования, что, несмотря на обилие романтиков во время господства этой школы, лишь очень немногие

достигли последовательности и высочайшего уровня. Среди романистов это удалось Виктору Гюго и Достоевскому, а из отдельных книг (авторы которых не всегда были последовательны) я назвала бы «Камо грядеши» Сенкевича и «Алую букву» Натаниэла Готорна. Величайшие из драматургов — Фридрих Шиллер и Эдмон Ростан.

Отличительное свойство такого, высочайшего, уровня (помимо литературного дарования) — полная преданность предпосылке волевого акта в *обеих основных областях*: в сознании и в бытии, в характере человека и в действии. Ничуть не разделяя эти два аспекта, блистательно изобретая сюжетные структуры, писатели эти чрезвычайно озабочены душой человека (то есть его сознанием). Они — *моралисты* в самом глубоком смысле слова; их заботят не просто ценности, но ценности *моральные* и влияние их на формирование человека. Персонажи неправдоподобны, это, в сущности, абстрактные (и не всегда удачные, как мы покажем ниже) проекции. В самих историях невозможно найти действие ради действия, не связанное с моральными ценностями. Сюжет формируется, определяется и мотивируется ценностями персонажа (или его изменой им), борьбой в стремлении к ним и глубокими ценностными конфликтами. Темы здесь — основные, вневременные, всеобщие вопросы человеческого существования. Только великие романтики последовательно создавали литературу редчайшего свойства, где совершенно слиты тема и сюжет, и достигали этого они с необычайной виртуозностью.

Если философская значимость — критерий того, что нужно принимать всерьез, тогда это самые серьезные писатели в мировой литературе.

Романтики второго уровня (писатели значительных достоинств, но меньшего масштаба) указывают, как и почему романтизм придет в упадок. Этот уровень представляют Вальтер Скотт и Александр Дюма. Отличительная их черта — то, что они подчеркивают действие без духовных целей или значительных моральных ценностей. У их историй хорошо выстроенный, образный, захватывающий сюжет, но ценности, к которым стремятся их персонажи, ценности, мотивирующие поступки этих персонажей, — примитивны, поверхностны, подчеркнута далеки от философии. Это верность королю, возвращение утраченного наследства, личная месть и тому подобное. Конфликты и сюжетные линии по большей части внешние. Персонажи — абстракции, а не портреты, но абстрагируют они широко обобщенные добродетели или пороки, и построение образов здесь минимально. Со временем они становятся собственными писательскими штампами типа «храбрый рыцарь», «благородная дама», «злодей-придворный», так что их не измышляют и не списывают с натуры, но выбирают из готового набора шаблонных романтических персонажей. Отсутствие метафизического значения (кроме подтверждения волевого акта, имплицитно содержащегося в сюжетной структуре) очевидно из того, что у этих романов есть сюжет, но нет абстрактных тем. Темой служит центральный конфликт, обычно в виде реального или вымышленного исторического события.

Спускаясь еще ниже, мы видим распад романтизма из-за противоречий, которые проистекают из того, что предпосылка неосознанна. На этом уровне появляются писатели, которые, в сущности, предполагают, что человек обладает волей *по отношению к бытию, но не к сознанию*, то есть по отношению к действию, но не к себе самому. Отличительная их черта — необычайные события, в которых действуют *условные* персонажи. Повествование — абстрактные проекции, состоящие из действий, которых не увидишь в реальной жизни, а вот персонажи ничем не примечательны. Истории — романтические, персонажи — натуралистические. У таких романов редко бывает сюжет (поскольку ценностный конфликт не стал их движущим принципом), но у них есть напоминающая сюжет форма — связная, образная, а то и захватывающая история, держащаяся на какой-то одной центральной цели или интриге персонажей.

Противоречия такого сочетания элементов очевидны: между действием и построением образов нет ничего общего, и потому действие не мотивировано, а характеры — неразборчивы. Читателю остается недоумевать: «Неужели эти люди совершали эти действия?»

Романы, делающие упор на чисто физическое действие и пренебрегающие психологией, стоят на грани серьезной и популярной литературы. К этой категории не относится никто из первоклассных писателей; лучше всего известны те, кто писал научную фантастику, скажем — Уэллс или Жюль Верн. Иногда хороший писатель натуралистической школы, вытеснивший из сознания элементы романтизма, пытается написать роман, требующий романтического подхода, и попадает в эту категорию. (Пример — «У нас это невозможно» Синклера Льюиса.) Причина, по которой такие романы неубедительны, очевидна. Каким бы искусным или захватывающим ни было представлено в них действие, они всегда исключительно скучны.

Другая сторона той же самой дихотомии — романтики, полагающие, что человек обладает волей *по отношению к сознанию, но не к бытию*, то есть по отношению к себе и своим ценностям, но не к возможности достигнуть цели в физическом мире. Отличительная черта таких писателей — масштабные темы и персонажи, отсутствие сюжета и непреодолимое ощущение трагедии, «злой вселенной». Самыми выдающимися представителями этого класса были поэты. Главный из них — Байрон, чье имя прочно связано с «байроническим» взглядом на мир, суть которого — в вере, что человек должен вести героическую жизнь и бороться за свои ценности, хотя его все равно победит неподвластный ему злой рок.

Сегодня экзистенциалисты отстаивают такой взгляд с философских позиций, но без масштабности, и романтизм заменен у них каким-то недоделанным натурализмом.

С философской точки зрения романтизм — крестовый поход, прославляющий существование человека. Психологически он воспринимается как стремление сделать жизнь интересней.

Это стремление — корень и двигатель романтического воображения. Самый яркий пример его в популярной литературе — О. Генри, с уникальной пиротехнической виртуозностью неистощимого воображения представляющий нам всю радость доброжелательного, почти детского чувства жизни. Никто не умеет так, как он, воплотить дух молодости, конкретнее — важнейший ее элемент, ожидание, что за каждым углом можно найти что-то чудесное и неожиданное.

Достоинства и потенциальные пороки романтизма являет в упрощенной, более очевидной форме популярная литература, то есть беллетристика, которая не оперирует абстрактными проблемами, а мирится с моральными принципами как с данностью, принимая определенные идеи и ценности *здорового смысла*. (Ценности здравого смысла и условные традиционные ценности — не одно и то же; первые можно разумно оправдать, вторые — нет. Вторые могут включать в себя часть первых, но оправдывает их не разум, а подчинение социальным нормам.)

Популярная литература не поднимает абстрактных вопросов и не отвечает на них. Она предполагает, что человек сам знает все, и показывает его приключения (вот одна из причин, по которой такие книги популярны у самых разнообразных читателей, включая измученных проблемами интеллектуалов). У литературы этой нет выраженного идейного содержания; она не стремится передать интеллектуальную информацию (или дезинформацию).

Детективные, приключенческие, научно-популярные романы и вестерны принадлежат по большей части к популярной литературе. Лучшие писатели этой категории близко подходят к группе Скотта—Дюма: они подчеркивают действие, но их герои и злодеи — абстрактные проекции, и действие мотивируется широко обобщенным взглядом на моральные ценности, на борьбу между добром и злом. (Лучшие из современных писателей этого класса — Микки Спиллейн, Ян Флеминг, Дональд Гамильтон.)

Если спуститься ниже верхнего уровня популярной литературы, мы оказываемся на ничьей земле, где литературные принципы едва ли применимы (особенно если мы включим сюда кино и телевидение). Здесь отличительные черты романтизма практически неразличимы. На этом уровне «творчество» — не плод подсознательных предпосылок, а смесь элементов, выбранных скорее в процессе случайного подражания, а не из-за того или иного ощущения жизни.

Для этого уровня типично, что романтические деяния совершают условные, натуралистические персонажи, хуже того — романтизированные воплощения *условных* ценностей. Это — *консервированные* ценности, пустые стереотипы, суррогаты оценочных суждений. Такой метод лишен существенного свойства романтизма — независимого, творческого воплощения личных ценностей писателя; лишен он и репортерской честности лучших натуралистов. Изображают не конкретных людей, «как они есть», а человеческие претензии (коллективную ролевою игру или туманную коллективную мечту) и подсовывают читателю под видом реальности.

Почти вся словесность из «развлекательных журналов», популярная «между войнами», с бесконечными вариациями на темы «Золушки», забот материнства, обычного человека с золотым сердцем и т.п., относится к этому классу. (Примеры — Эдна Фербер, Фанни Херст, Барри Бенефилд.) У такой литературы нет сюжета, есть лишь более или менее связные истории, нет и мало-мальски пристойного построения образов — персонажи фальшивы с репортерской точки зрения и бессмысленны с метафизической. (Вопрос о том, принадлежит ли она к романтизму, остается открытым. Обычно ее считают романтической просто потому, что она слишком далеко ушла от какой бы то ни было реальности, конкретной или абстрактной.)

Что касается эстетического аспекта, кино и телевидение по своей природе исключительно подходят для романтизма. К сожалению, оба они появились слишком поздно; солнце романтики уже закатилось, и лишь его закатные лучи коснулись нескольких исключительных фильмов. (Лучший из них — «Зигфрид» Фрица Ланга.) Долгое время в кино преобладало подобие романтизма для развлекательных журналов, причем вкус был еще менее разборчив, а дух — непередаваемо вульгарен.

Отчасти как реакция на эту фальсификацию ценностей, но прежде всего — как последствие философско-культурного разложения нашей поры (с ее анти-ценностной тенденцией), романтизм исчез из кино и так и не добрался до телевидения (если не считать нескольких детективных сериалов, которые тоже в прошлом). Остаются лишь случайные комедии, авторы которых малодушно просят прощения за свои романтические попытки, или смешанные произведения, авторы которых умоляют, чтобы мы не подумали, что они защищают человеческие ценности (или человеческое величие) с помощью тусклых, вызывающе банальных персонажей, которые разыгрывают потрясающие мир события и совершают фантастические подвиги, главным образом в сфере науки. Природу подобных сценариев лучше всего выразит реплика: «Прости, малышка, мы не пойдем сегодня в пиццерию, мне нужно расщепить атом».

Следующий и последний уровень дезинтеграции — это попытка устранить романтизм из романтической литературы, то есть обойтись вообще без ценностей, морали и воли. Раньше это называлось детективом «крутого замеса»; сейчас это впихивают нам под видом «реализма». Здесь нет различия между героем и злодеем (детективом и преступником, жертвой и палачом), перед нами — две группы гангстеров, свирепо и необъяснимо сражающихся за территорию, причем ни одна из них почему-то не может поступать иначе.

В этом *тупике* встречаются пришедшие сюда разными путями романтизм и натурализм. Здесь они смешиваются и исчезают; predeterminedенно беспомощные, навязчиво дурные персонажи проходят через серию необъяснимо преувеличенных событий и бессмысленно вмешиваются в бессодержательные конфликты.

Дальше и ниже словесность, как «серьезную», так и популярную, захватывает жанр, в сравнении с которым и романтизм и натурализм чисты, цивилизованны и невинно рациональны, — литература ужаса. Предшественником ее в новое время был Эдгар Аллан По, чистейшее эстетическое выражение она нашла в фильмах, где играет Борис Карлов.

Популярная литература, более честная в этом отношении, предъясвляет свои ужасы как ужасы уродства. В «серьезной» литературе они перемещаются в психику и уж совсем не похожи на что-либо человеческое. Это — культ извращенности.

Такая история в любом из этих вариантов представляет собой метафизическую проекцию одной-единственной эмоции — слепого, абсолютного, примитивного страха. Те, кто живет им, кажется, находят недолгое облегчение, воспроизводя то, чего они боятся, или ощущают хоть небольшую власть над ним, как дикари чувствуют власть над врагами, лепя их фигурки. Строго говоря, это не метафизическая, а чисто психологическая проекция; такие писатели не выражают свой взгляд на жизнь, они на жизнь не смотрят, а говорят о том, что они *чувствуют* себя так, словно она состоит из оборотней, Дракул и Франкенштейнов. Если судить по основным мотивам, школа эта относится скорее к психопатологии, чем к эстетике.

Ни романтизм, ни натурализм не смогли пережить краха философии. Есть исключения, но я говорю об этих школах как о широких, активных творческих движениях. Поскольку искусство — выражение и продукт философии, оно первым отражает пустоту у основания культуры и первым обваливается.

Эта общая причина имела для романтизма особые последствия, ускорившие его упадок и крах. Были особые последствия и для натурализма, но они — другого характера, и их разрушительный потенциал сработал позже.

Главный враг и разрушитель романтизма — альтруистическая мораль.

Поскольку сущностная характеристика романтизма — проекция ценностей, в особенности моральных, альтруизм с самого начала внес в романтическую литературу неразрешимый конфликт. Альтруистическую мораль нельзя воплотить в жизнь (разве что в виде саморазрушения) и, следовательно, нельзя убедительно воплотить или инсценировать в рамках человеческой жизни на земле (особенно если речь идет о психологической мотивации). Если альтруизм — критерий ценности и добродетели, невозможно создать человека в его лучшем проявлении, «такого, каким он может и должен быть». Основной изъян, проходящий через всю историю романтической литературы, — неспособность представить убедительного героя, то есть убедительный образ добродетельного человека.

В персонажах Виктора Гюго читателя восхищает абстрактное намерение, величие авторского *взгляда*, а не реально построенные образы. Величайшему романтику так и не удалось воплотить идеального человека, или мало-мальски убедительный положительный персонаж. Его самая серьезная попытка, Жан Вальжан из «Отверженных», остается гигантской абстракцией, так и не сложившейся в личность, несмотря на отдельные свидетельства глубокой психологической проницательности автора. В том же самом романе Мариус, молодой человек (как предполагается, автобиографическая проекция Гюго), приобретает определенную масштабность только благодаря тому, что автор *говорит* о нем, а не тому, что он *показывает*. Что до построения образов, Мариус — не личность, а намек на личность, втиснутый в смиренную рубашку культурных трюизмов. Лучше всего прорисованы и наиболее интересны в романах Гюго полузлодеи (из-за доброжелательного отношения к жизни ему не удалось создать настоящего злодея): Жавер из «Отверженных», Жозиана из «Человека, который смеется», Клод Фролло из «Собора Парижской Богоматери».

Достоевский (чье мировосприятие диаметрально противоположно) был страстным моралистом, и слепое стремление к ценностям выражалось лишь в безжалостном осуждении, с

которым он изображал плохих людей. Никто не сравнится с ним по психологической глубине образов человеческого зла. Но он совершенно не способен создать положительный или добродетельный персонаж; из таких попыток не выходило ничего путного (например, Алеша в «Братьях Карамазовых»). Заметим, что, согласно наброскам к «Бесам», изначально он хотел воплотить в Ставрогине идеального человека, квинтэссенцию русской христианско-альтруистической души. По мере работы намерение это постепенно менялось с неумолимой логикой, продиктованной художественной честностью Достоевского, и в самом романе Ставрогин оказался одним из самых отталкивающих персонажей. В «Камо грядеши» Сенкевича лучше всего прорисован самый колоритный персонаж — Петроний, символ упадка Рима, а вот Вициний — авторский герой, символ христианства — картонный муляж.

Привлекательный злодей или колоритный мерзавец, который крадет драматизм сюжета у анемичного героя, чрезвычайно типичен для романтической литературы, и серьезной, и популярной, сверху донизу, словно под мертвой корой альтруистического кодекса, официально принятого человечеством, пылает беззаконный огонь, изредка прорываясь наружу. Запретная для героя уверенность в себе внезапно вспыхивает в пепле «злодея».

Величайшая функция романтизма — воплощение моральных ценностей — невероятно сложна при любом моральном кодексе, рациональном или нерациональном, и в истории литературы только романтики высочайшего класса хоть как-то смогли ее решить. Если учесть добавочный груз такого иррационального кодекса, как альтруизм, мы поймем почему большинству романтиков приходилось обходить эту задачу стороной, что ослабляло их романы и мешало создавать характеры. Кроме того, невозможность применить альтруизм к действительности, к реальному существованию человека привела многих романтиков к попыткам уйти в историю, то есть выбрать временем повествования какое-нибудь отдаленное прошлое (например, средние века). Таким образом, акцент на действии, пренебрежение человеческой психикой, отсутствие убедительной мотивации постепенно отрывали романтизм от жизни, пока остатки его не превратились в поверхностную, бессмысленную, «несерьезную» школу, которой нечего сказать о человеческом существовании.

Дезинтеграция натурализма привела к тому же, хотя и по другим причинам.

Хотя натурализм — порождение девятнадцатого века, его духовным отцом был Шекспир. Мысль о том, что человек не обладает свободой воли, что его судьба predetermined врожденной «трагической ошибкой», — главная в его творчестве. Но, несмотря на эту ложную предпосылку, он — мыслитель, а не репортер. Его персонажи не «списаны с жизни», у них нет конкретных прототипов, нельзя и назвать их «статистическим средним». Это широкомасштабные абстракции человеческих черт, которые детерминисты сочли бы изначально присущими человеческой природе, — тщеславия, властолюбия, ревности, алчности и т.д.

Некоторые из знаменитых натуралистов пытались удержаться на шекспировском уровне абстракции, то есть изложить свои взгляды на человеческую природу в метафизических терминах (примеры — Бальзак, Толстой). Но большинство, следуя за Эмилем Золя, отвергло метафизику, равно как и ценности, и приняло репортерский метод, регистрацию конкретных явлений.

Противоречия, присущие детерминизму, были очевидны с самого начала. Художественную литературу читают лишь с внутренней предпосылкой волевого акта, то есть с предпосылкой, что какой-то элемент (какую-то абстракцию) выдуманной истории можно применить к самому читающему; что читатель сможет узнать, открыть или увидеть какие-то ценности и что это скажется на нем. Если бы мы полностью и буквально принимали детерминистскую предпосылку, то есть полагали, что персонажи не имеют отношения к читателю, как непостижимые обитатели другой галактики, и никоим образом не могут повлиять на его жизнь,

поскольку ни у них, ни у него нет никакого выбора, мы не смогли бы прочитать ни одной книги дальше первой главы.

А писатель не смог бы писать. Психологически все движение натурализма держалось на подспудной, туманной, заимствованной вере в способность к выбору. Полагая, что судьбу человека определяет «общество», почти все натуралисты были реформаторами, защищающими социальные перемены; и получалось, что у человека нет свободы воли, но у общества она каким-то образом есть. Толстой проповедовал смирение и пассивное подчинение обществу. В «Анне Карениной», самой вредной книге всей серьезной литературы, он нападал на стремление к счастью и требовал, чтобы его приносили в жертву конформизму.

Независимо от того, насколько привязанными к конкретному заставляли их быть теории, натуралистам все же приходилось в немалой степени использовать свою способность к абстрагированию. Чтобы воспроизвести персонажей «из жизни», они должны были отобрать характеристики, которые считали существенными, от несущественных или случайных. Что до критериев отбора, им пришлось заменить ценности статистикой. По их мнению, метафизически важно и типично для природы человека то, что преобладает статистически; то же, что редко и исключительно — неважно.

Сначала, отвергнув сюжет, натуралисты сосредоточились на выстраивании характеров; и психологическая восприимчивость стала основной ценностью, которую могли предложить лучшие из них. Однако с развитием статистического метода ценность эта уменьшилась и исчезла: построение характеров сменилось неразборчивой регистрацией и исчезло под грудой мелочей вроде дотошного перечня мебели, одежды или еды. Натурализм утратил шекспировское или толстовское стремление к универсальности, спустившись от метафизики к фотографии с короткой выдержкой, причем объектив был наставлен на ближайший предмет, а там — остатки натурализма стали поверхностной, бессмысленной, «несерьезной» школой, которой нечего сказать о человеческом существовании.

Натурализм прожил дольше романтизма, хотя и ненамного, и тому есть несколько причин. Основная состоит в том, что стандарты натурализма значительно менее требовательны. Третьеразрядный натуралист все-таки может предложить читателю проникательные наблюдения, тогда как у третьеразрядного романтика нет просто ничего.

Романтизм требует совершенного владения основополагающим элементом художественной литературы, искусством рассказать историю, что подразумевает три важнейших качества: изобретательность, воображение, чувство драмы. Все это (и не только это) помогает создать оригинальный сюжет, составляющий одно целое с темой и построением характеров. Натурализм отказывается от этих элементов и не требует ничего, кроме выстраивания характеров в настолько бесформенном повествовании, настолько «незапутанной», то есть бессмысленной последовательности событий (когда она вообще есть), насколько это устраивает данного автора.

Ценность того, что пишет романтик, должна создаваться автором, он должен выражать не преданность людям (разве что человеку), а только верность природе действительности и собственным ценностям. Ценность того, что пишет натуралист, зависит от конкретных персонажей, выбора и действий людей, которых он воспроизводит, и судят его по точности, с которой он их воспроизвел.

Ценность романтического повествования — в том, что могло произойти; ценность натуралистического повествования — в том, что произошло. Если духовный предок или символ романтика — средневековый трубадур, благодаря которому люди видели жизненный потенциал за унылыми границами повседневного тяжелого труда, то символ натуралиста (как гордо сказал один из них) — сплетник у забора.

Временному преобладанию натурализма сыграло на руку и то, что драгоценные камни

привлекают больше искателей легкой наживы, чем часто встречающиеся минералы. Существенный элемент романтизма, сюжет, можно похитить, спрятать, перемолоть, даже если с каждым ударом резца он утрачивает огонь, блеск и ценность. Оригинальные сюжеты романтической литературы заимствовались бесчисленными подражателями в бесчисленных вариациях, с каждой следующей копией утрачивая колорит и смысл.

Сравните, к примеру, драматическую структуру «Дамы с камелиями» Дюма-сына, необычайно хорошей пьесы, с бесконечным рядом драм о проститутке, разрывающейся между истинной любовью и прошлым, начиная с «Анны Кристи» Юджина О'Нила и кончая голливудскими поделками. Эстетические паразиты помогли сравнять эту тему с землей, превратив подлинные открытия в избитые шаблоны. Однако это не умаляет достижений оригинала, а, в худшем случае, лишь подчеркивает их.

Натурализм не предоставляет подражателям таких возможностей. Сущностный элемент натурализма — демонстрация «среза жизни» в конкретном месте и времени — нельзя заимствовать буквально. Писатель не может скопировать русское общество 1812 года, изображенное в «Войне и мире». Чтобы показать людей своего места и времени, ему придется подумать и постараться самому, по крайней мере использовать собственные наблюдения. Парадоксальным образом, натурализм на своих нижних уровнях дает возможность какой-то минимальной оригинальности, а романтизм — нет. Этим натурализм привлекает писателей, стремящихся к скромным достижениям на литературном поприще.

Среди натуралистов — множество подражателей и множество амбициозных посредственностей, особенно в Европе (например, Ромен Роллан, натуралист романтического толка, по своему масштабу соответствующий романтикам из глянцевого журналов). Но на своих вершинах натурализм включал писателей подлинно талантливых, особенно в Америке. Лучший его представитель — Синклер Льюис, чьи романы свидетельствуют о восприимчивости, критичности, высочайшей способности к пониманию. Лучший из тех, кто еще жив, — Джон О'Хара, сочетающий чуткую пронизательность с прекрасным, дисциплинированным стилем.

Как в великих романтиках девятнадцатого века, в лучших натуралистах двадцатого была какая-то невинно-наивная оптимистическая доброжелательность. Романтики ориентированы на личность, натуралисты — на общество. Первая мировая война обозначила конец великой эпохи романтизма и ускорила затухание индивидуализма (можно увидеть трагический символ в том, что Эдмон Ростан умер в 1918 году во время эпидемии гриппа, последовавшей за войной). Вторая мировая война обозначила конец натурализма, показав несостоятельность коллективизма, развеяв иллюзии и смутные надежды на то, что «все будет хорошо». Эти войны показали экзистенциально то, что их литературные последствия показали психологически: человек не может жить и писать без философии.

В эклектичной топтании сегодняшней литературы трудно сказать, что хуже — вестерн, объясняющий поступки конокрада Эдиповым комплексом, или кровожадный, циничный, «реалистический» рассказ о всяческих ужасах, доносящий до читателя истину, что все решает любовь.

Не считая исключений, сейчас нет литературы (и искусства), если понимать под ними широкое, жизнеспособное, влиятельное движение культуры. Есть лишь озадаченные подражатели, которым нечему подражать, и шарлатаны, достигающие сиюминутной дурной славы, как всегда и бывало, когда культура приходила в упадок. Какие-то остатки романтизма по-прежнему можно найти в средствах массовой информации, но в таком искаленном, обезображенном виде, что они достигают цели, противоположной изначальной цели романтизма.

Лучшим символическим воплощением значимости этих остатков (входило ли это в

намерения автора или нет) была короткая телевизионная история сериала «Сумеречная зона», вышедшего несколько лет назад. В каком-то неопределенном мире другого измерения неотчетливые, но властные врачи и социологи в белых одеждах глубоко озабочены проблемами молодой девушки, которая настолько не похожа ни на кого другого, что ее чураются как урода, не способного вести нормальную жизнь. Она обращается к ним за помощью, но пластическая операция ничего не дает, и врачи мрачно готовятся предоставить ей последний шанс, еще одну операцию. Если она не удастся, девушка на всю жизнь останется уродом.

Самым трагическим тоном они говорят о том, что ей нужно быть такой, как другие, найти себя в обществе, обрести любовь и т.п. Нам не показывают их лиц, но мы слышим напряженные, зловещие, странно безжизненные голоса расплывчатых существ, делающих последнюю операцию. Она проходит неудачно. Врачи с лицемерным и высокомерным состраданием говорят, что придется найти молодого человека, настолько же безобразного, как и девушка. Затем мы впервые видим ее лицо на больничной подушке. Оно сияет совершенной красотой. Камера переходит на лица врачей: это — несказанно омерзительный ряд обезображенных свиных голов, которые можно узнать только по пяточкам. Изображение постепенно исчезает.

Последние остатки романтизма робко проскальзывают на окраины нашей культуры в масках частично удавшейся пластической операции.

Под влиянием свиных пяточков декаданса нынешние романтики бегут не в прошлое, а в сверхъестественное, откровенно поставив крест на действительности и нашей Земле. Они как бы хотят сказать, что ничего драматического и необычайного нет: «Пожалуйста, не принимайте нас всерьез, мы предлагаем вам лишь жуткую мечту».

Род Серлинг, один из самых талантливых телевизионных авторов, начинал как натуралист. Он инсценировал противоречивые журналистские вопросы текущего момента, никогда не вставал на чью-либо сторону, явно избегал оценочных суждений, писал об обычных людях — но эти люди обменивались прекрасными, красноречивыми диалогами, содержательными, умными, четко сфокусированными, то есть такими, каких в «реальной жизни» не ведут, хотя и надо бы. По-видимости, им двигала необходимость дать выход красочному воображению и яркому чувству драмы, и он обратился к романтизму, но поместил свои истории в другом измерении, в «Сумеречной зоне».

Айра Левин, начавший с отличного романа («Поцелуй перед смертью»), теперь преподносит нам «Ребенка Розмари», зайдя дальше внешних атрибутов Средневековья, затронув самый дух этой эпохи. На полном серьезе рассказывается история о ведьме в современной обстановке; поскольку же новую версию Непорочного Зачатия с участием Бога интеллектуальный истеблишмент, вероятно, счел бы пошлостью, речь идет о непорочном зачатии с участием дьявола.

Фредрик Браун, необычайно искусный писатель, посвятил свое мастерство превращению научной фантастики в истории о земном или сверхъестественном зле; и перестал писать.

Альфред Хичкок, последний из кинорежиссеров, которому удалось сохранить свой масштаб и своих поклонников, выходит из положения, чрезмерно подчеркивая зло или абсолютный ужас.

Именно так люди с воображением выражают теперь свою потребность сделать жизнь интересной. Романтизм, начинавшийся в знак протеста против самых основ зла как неистовый, страстный поток праведной уверенности в себе, заканчивается, ускользая сквозь пальцы своих неверных наследников, которые прячут и талант, и мотивы, лицемерно служа злу.

Я не хочу сказать, что такое попустительство — плод сознательной трусости. Я так и не думаю, отчего становится только хуже.

Так обстоит дело теперь. Но до тех пор, пока существует человек, будет существовать потребность в искусстве, поскольку потребность эта метафизически укоренена в человеческом

сознании, и она выживет, хотя, под властью безудержной внеразумности, люди производят и принимают испорченные объедки, чтобы ее удовлетворить.

И у отдельного человека, и у культуры болезни могут проходить неосознанно, а излечение — не может. Оно в обоих случаях требует осознанного знания, то есть сознательной явной философии.

Невозможно предсказать, когда философия возродится. Можно определить путь, но не его длину. Однако ясно, что все аспекты западной культуры нуждаются в новом этическом кодексе, рациональной этике. Возможно, ничто не нуждается в нем так сильно, как искусство.

Когда разум и философия возродятся, литература будет первым фениксом, который восстанет из пепла. И, вооруженный кодексом разумных ценностей, понимающих свою природу, уверенный в высочайшей важности своей миссии, романтизм повзрослеет.

1969

Контрабандная романтика

Искусство (в том числе литература) — барометр культуры. Оно отражает суть глубочайших философских ценностей общества не в открыто провозглашаемых понятиях и лозунгах, но в истинном видении человека и бытия. Образ целого общества, лежащего на кушетке психоаналитика и обнажающего свое подсознание, невероятен, однако искусство делает именно это, оно представляет собой эквивалент подобного сеанса, расшифровку, более красноречивую и легче диагностируемую, чем любой другой набор симптомов.

Это не значит, что целое общество связано посредственностями, которые могут выражать себя в искусстве, когда захотят; но если ни один серьезный автор не вступает в эту область, это что-то говорит нам о состоянии общества. Всегда существуют исключения, восстающие против доминирующего течения в искусстве своей эпохи, но то, что это — исключения, что-то говорит нам о состоянии эпохи. Доминирующее течение на самом деле может не выражать душу всего народа; подавляющее большинство может отталкивать его или игнорировать, но если в данный период преобладает его голос, это свидетельствует о состоянии человеческих душ.

В политике ослепленные паникой поборники статус-кво, цепляющиеся за обломки своей смешанной экономики, когда растет государственный контроль над экономикой вообще, склонны считать, что с миром все в порядке, что у нас — век прогресса, что мы нравственно и умственно здоровы, что нам никогда еще не было так хорошо. Если вам кажется, что политические вопросы слишком сложны, чтобы поставить диагноз, взгляните на сегодняшнее искусство и у вас не останется никаких сомнений в том, здорова или больна культура.

Представление о человеке, порожаемое искусством нашего времени, в общей сложности похоже на гигантский эмбрион после выкидыша. Его руки и ноги отдаленно напоминают человеческие, он вертит головкой, неистово стремясь к свету, который не может проникнуть в пустые глазницы, он издает нечленораздельные звуки, похожие на рычание и стон, он ползет по кровавой грязи, капая кровавой слюной, и пытается плюнуть в свое несуществующее лицо. Время от времени он останавливается и, поднимая зачатки рук, вопит от ужаса перед мирозданием.

У современного человека преобладают три эмоции, порожденные тремя поколениями антирациональной философии: страх, вина и жалость (точнее сказать, жалость к себе). Страх — адекватная эмоция существа, лишённого разума, то есть средства к выживанию; вина — адекватная эмоция существа, лишённого моральных ценностей; жалость к себе дает возможность избегать двух первых, ибо только на такой отклик может рассчитывать такое существо. Чуткий, восприимчивый человек, принявший эти эмоции, но сохранивший какие-то остатки собственного достоинства, вряд ли станет разоблачать себя в искусстве. Других это не останавливает.

Страх, вина и стремление к жалости сочетаются и направляют искусство в ту же сторону, чтобы выразить собственные чувства художника, оправдать их и дать им рациональное объяснение. Чтобы оправдать хронический страх, приходится изображать жизнь как зло; чтобы избежать вины и пробудить жалость, приходится изображать человека бессильным и омерзительным по природе. Поэтому современные художники наперебой пытаются найти все более низкий уровень морального разложения и все более высокую степень сентиментальности, все соревнуются ради того, чтобы оглушить публику и выдавить из нее слезы. Отсюда неистовые поиски страдания. От сочувственного изучения алкоголизма и половых извращений идут все ниже, к наркотикам, инцесту, психозу, убийству, каннибализму.

Чтобы проиллюстрировать моральные последствия этого течения (сочувствие к виновному

— это предательство невинного), я предлагаю рассмотреть восторженную рецензию, рекомендующую фильм, который пробуждает сочувствие к похитителям людей. «Внимание и тревога зрителя сконцентрированы скорее на них, чем на украденном мальчике, — говорит автор. — Мотивация определена недостаточно четко, чтобы можно было анализировать ее с психологической точки зрения; но она достаточно проявлена, чтобы пробудить в нас сострадание к похитителям» («Нью-Йорк Таймс», 6 ноября 1964).

Отхожие места не слишком глубоки, и сегодняшние драматурги, кажется, уже скребут дно. Что касается литературы, она достигла предела. Ничто не сравнится с пассажем («Тайм», 80 августа 1963), который я привожу полностью. Заголовок «Книги», подзаголовок «Лучшее чтение», ниже следует: «"Кот и мышь" Гюнтера Грасса. Романист, автор бестселлера ("Жестяной барабан") рассказывает о мучениях молодого человека, чей выдающийся кадык делает его изгоем среди одноклассников. Он борется и добивается своего, но для "кота" — человеческого конформизма — по-прежнему остается диковиной».

Нет, все это подается не насмешливым тоном. Есть старинный французский театр, который специализируется на представлении таких вещей в насмешливом свете. Он называется «Гран-Гиньоль». Сегодня дух Гран-Гиньоля возведен в метафизическую систему, требуется воспринимать его всерьез. А что же *н*е надо воспринимать всерьез? Любое проявление человеческой добродетели.

Можно подумать, что эта сентиментальная озабоченность комнатами страха, этот взгляд на жизнь как на музей восковых фигур уже достаточно плохи. Но есть кое-что похуже, с нравственной точки зрения — совсем уж злокачественное: недавние попытки сфабриковать «иронические» триллеры.

Проблема канализационной школы искусства в том, что страх, вина и жалость — самодостаточные тупики. После нескольких «смелых разоблачений» человеческой безнравственности, людей перестает шокировать что бы то ни было. После того как испытываешь жалость к нескольким десяткам извращенцев или сумасшедших, перестаешь вообще что-либо испытывать. Точно так же как «некоммерческая экономика» современных «идеалистов» подвигает их на то, чтобы захватить власть над коммерческими предприятиями, «некоммерческая» эстетика современных «творцов» побуждает их захватывать власть над коммерческими (то есть популярными) формами искусства.

Триллеры — детективные, шпионские или приключенческие истории. Их основная черта — конфликт, то есть столкновение целей, другими словами, целенаправленное действие в стремлении к ценностям. Это продукт и популярное ответвление романтической школы в искусстве, представляющей человека не беспомощной пешкой в руках судьбы, но существом со свободной волей, чьей жизнью управляет его собственный ценностный выбор. Романтизм — это ориентированное на ценности, сфокусированное на нравственности движение; его материал — не журналистские детали, но абстрактные, сущностные, универсальные принципы человеческой природы, а его основная литературная заповедь — изображать человека таким, «каким он мог бы стать и каким ему надо быть».

Триллеры — это упрощенная, элементарная версия романтической литературы. Они не связаны с изображением ценностей; но, принимая некоторые фундаментальные ценности как данность, связаны с одним аспектом существования нравственного существа — битвой добра и зла в терминах целенаправленного действия, драматизированной абстракцией основного шаблона: выбор, цель, конфликт, опасность, борьба, победа.

Триллеры — простейшая арифметика, по сравнению с которой величайшие романы мировой литературы — высшая математика. Они работают со скелетом — сюжетной структурой, — к которому серьезная романтическая литература добавляет плоть, кровь и разум.

Сюжеты в романах Виктора Гюго или Достоевского — вполне годятся для триллеров, и обычные авторы таких творений их превзойти не могут.

В сегодняшней культуре романтического искусства практически нет (за очень редкими исключениями), ибо оно требует смотреть на человека не так, как современные философы. Последние остатки романтизма, подобно ярким искрам в сером тумане, мерцают лишь в области популярного искусства. Триллеры — последнее прибежище качеств, исчезнувших из современной литературы, — жизни, цвета, воображения. Они подобны зеркалу, в котором все еще сохраняется зыбкое отражение человека.

Имейте это в виду, когда думаете о том, что означает попытка создать «иронический триллер».

Юмор — не безусловная добродетель, его нравственный характер зависит от объекта. Смеяться над низким — хорошо; смеяться над добром — очень плохо. Юмор слишком часто используют, чтобы прикрыть нравственную трусость.

В этом смысле есть два типа трусов. Одни не решаются обнаружить глубинную ненависть к бытию, пытаясь обесценить смешком все ценности. Им сходят с рук обидные, злонамеренные фразы, а когда их ловят на слове, они говорят: «Да я пошутил!»

Вторые не решаются обнаружить или защитить свои ценности, стараясь контрабандой провезти их под прикрытием смешка. Они пытаются протащить какое-то понятие о добродетели или красоте, но при первых же признаках сопротивления отрециваются и убегают, приговаривая: «Да я пошутил!»

В первом случае юмор прикрывает зло, во втором — добро. Что хуже с моральной точки зрения?

«Иронический триллер» может объединять и обслуживать оба случая.

Над чем смеются такие триллеры? Над ценностями, над борьбой человека за ценности, над способностью их достичь, над человеком вообще, над героем.

Независимо от того, сознательные или подсознательные причины движут их создателями, такие триллеры доносят сообщение или намерение, скрыто заложенное в их природе, — пробудить интерес к какому-то смелому рискованному предприятию, удержать нас в напряжении запутанной борьбой за большие ставки, вдохновить представлением о человеческой силе, пробудить восхищение смелостью, находчивостью, выносливостью и непоколебимой целеустремленностью главного героя, заставив нас восхищаться им, — а потом плюнуть нам в лицо, прибавляя: «Не принимайте меня всерьез, я пошутил! Кто мы с вами такие, чтобы претендовать на что-нибудь, кроме абсурда и свинства?»

У кого просят прощения подобные триллеры? У канализационной школы. В сегодняшней культуре автор, воспевающий грязь, не нуждается в извинениях и не приносит их. Но тот, кто преклоняется перед героем, считает нужным ползать на животе, крича: «Да что вы, ребята! Это все в шутку! Я не настолько испорчен, чтобы верить в добродетель, я не настолько труслив, чтобы бороться за ценности, я не настолько дурен, чтобы стремиться к идеалу. Я один из вас!»

Социальный статус триллеров обнаруживает глубокую пропасть, в современной культуре — пропасть между народом и его «интеллектуальными лидерами». Потребность народа в луче романтического света огромна и трагически сильна. Обратите внимание на необыкновенную популярность Микки Спиллейна и Яна Флеминга. Сотни писателей, разделяя современный взгляд на жизнь, пишут омерзительные вымыслы о борьбе зла против зла или, в лучшем случае, серого против черного. Никто из них не стяжал такого количества пылких, преданных последователей, как Спиллейн или Флеминг. Это не значит, что романы Спиллейна и Флеминга воплощают безукоризненно рациональное мировоззрение — и тот и другой тронуты цинизмом и отчаянием «злой вселенной», но совершенно по-разному оба предлагают читателю главный

элемент романтической литературы: Майк Хаммер и Джеймс Бонд — *герои*.

Именно эту универсальную потребность не могут ухватить или осуществить сегодняшние интеллектуалы. Изношенная, выхолощенная, непроветренная, подвальная «элита», исподволь переведенная в пустующие гостиные и спрятавшаяся за пыльными шторами от света, воздуха, грамматики и действительности, старается сохранить застоявшуюся иллюзию своего альтруистически-коллективистского воспитания — представление о тупом, униженном, немом народе, чьим «голосом» (и чьей повелительницей) она должна быть.

Заметьте, как тревожно, отчасти — покровительственно, отчасти — подобострастно, стремится она к «народному» искусству: примитивному, анонимному, неразвитому, неинтеллектуальному; как «чувственны» и «приземленны» ее фильмы, изображающие человека непотребным животным. Реальность, в которой народ не туп, уничтожила бы эту элиту, коллективистская джига унялась бы. Всепоглощающее чувство вины не вынесло бы нравственной жизни и нравственного героя. Они стерли бы лозунг, позволяющий барахтаться в нечистотах, приговаривая: «Ну, что же тут поделать еще!» Наши интеллектуалы не могут допустить в свою картину вселенной людей, которым нужен герой.

Образчик этой культурной пропасти, маленький образец глубокой трагедии, можно увидеть в интересной короткой статье («ТВ-гайд» от 9 мая 1964 года) под заглавием «Жестокость может быть веселой» с красноречивым подзаголовком: «В Британии все смеются над "Мстителями" — кроме публики».

«Мстители» — сенсационный телесериал, повествующий о приключениях секретного агента Джона Стида и его привлекательной помощницы Кэтрин Гейл, «окруженных восхитительно изобретательными сюжетами...» — сказано в статье. «Его непременно должна увидеть широкая аудитория». Все постоянно поминают «Стида» и «миссис Гейл».

Но недавно «открылась тайная печаль продюсера Джона Брайса: "Мстители" задумывались как сатира на анти-шпионские триллеры, а британская публика упорно воспринимает их всерьез».

Интересно, как произошло это «открытие». «То, что "Мстители" — сатира, было, возможно, самым страшным секретом на британском телевидении почти целый год. Он мог бы им и остаться, но сериал стали обсуждать на другом шоу под названием "Критики"...» Один из этих критиков, к удивлению остальных, сказал: «Разумеется, все понимают, что это сделано для смеха». Никто из «всех» не согласился, но продюсер «Мстителей» подтвердил эту точку зрения и «угрюмо» обвинил публику в том, что ей не удалось понять его намерений, она не стала смеяться.

Заметим, что романтические триллеры — безмерно сложная работа. Они требуют такого уровня способностей, находчивости, изобретательности, воображения и логики, такой талантливости продюсера, или режиссера, или сценариста, или актеров, или всех их, вместе взятых, что практически невозможно дурачить целый народ в течение года. Здесь были бесстыдно использованы и обмануты еще чьи-то ценности, не только публики.

Очевидно, повальное увлечение современных интеллектуалов триллерами в значительной степени спровоцировано эффектной фигурой Джеймса Бонда и его успехом. Согласно современной философии, авторы нового сериала хотят одновременно пить из этого колодца и плевать в него.

Если вы думаете, что поставщиками развлечений в средствах массовой информации движет в первую очередь коммерческая алчность, пересмотрите свои предположения и отметьте, что продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде, кажется, намеренно урезают свой собственный успех.

Вопреки чьим-то усиленно распространяемым суждениям, в первом из этих фильмов, «Доктор Но», не было никакой «иронии». Это был чудесный пример романтического искусства

— в постановке, режиссуре, сценарии, операторском искусстве и, в особенности, в игре Шона Коннери. Появившись на экране, он просто блистал техникой, элегантностью, остроумием и сдержанностью — когда его спросили: «Кто вы?», камера впервые взяла крупный план и он тихо ответил: «Бонд. Джеймс Бонд», публика в тот вечер, когда я смотрел этот фильм, разразилась аплодисментами.

Однако, когда я смотрел второй фильм, «Из России — с любовью», аплодисментов почти не было. Здесь знакомство с Бондом происходит в тот момент, когда он, как школьник, целуется с довольно блеклой девушкой в купальнике. История запутанна, а иногда неразборчива. Мастерски выстроенное драматическое напряжение флеминговской кульминации заменено такой условной начинкой, как старомодные погони, где нет ничего, кроме грубой физической опасности.

Я все же пойду посмотреть третий фильм, «Голдфингер», но с дурными предчувствиями. Эти предчувствия основаны на статье Ричарда Майбаума, который экранизировал все три романа («Нью-Йорк Таймс», 13 декабря 1964).

«Насмешливое отношение Флеминга к материалу (интрига, знание дела, насилие, любовь, смерть) находит готовый отклик масс в мире, где публике нравятся нездоровые шутки, — пишет мистер Майбаум. — Между прочим, эта сторона сильнее всего разработана в фильмах». Так понимает он привлекательность романтических триллеров — или Флеминга.

О своей собственной работе мистер Майбаум пишет: «Кажется, кто-то вполголоса спрашивает, за что краснел автор сценария? Если бы он был склонен краснеть, он в первую очередь не стал бы писать сценарий к фильмам про Бонда. Кроме того, это чистая хохма, по крайней мере, так он считает».

О природе этических стандартов в данном случае делайте собственные выводы. Заметьте также, что автору фильма о «двух невероятных [но приятных] похитителях» не хотелось краснеть.

«При построении образа Джеймса Бонда, — продолжает Майбаум, — мы отталкивались и от романов... Мы сохранили основное представление о супер-сыщике, супер-бойце, супер-гедонисте, супер-любовнике, которое присутствовало у Флеминга, но добавили еще одно важное измерение, юмор. Юмор этот звучит в иронических комментариях в критические моменты. В книгах Бонду этого очень не хватало». Это неверно, как может подтвердить любой, кто прочел книги.

И наконец: «Способный молодой продюсер обратился ко мне однажды с блеском в глазах: "Я снимаю пародию на фильмы про Джеймса Бонда". Как, спросил я себя, можно снять пародию на пародию? Однако в конечном счете мы сделали с книгами Флеминга именно это. Спародировали их. Я не уверен, что сам Ян полностью отдавал себе в этом отчет».

Это сказано о работе человека, чей талант, достижения и слава дали группе ранее ничем не примечательных людей шанс прославиться и заработать кучу денег.

Заметьте, что, говоря о юморе и триллерах, современные интеллектуалы используют термин «юмор» как анти-понятие, то есть как «комплексную сделку» двух значений, где правильное значение служит для того, чтобы прикрыть и тайком протащить в умы неправильное. Цель их — стереть разницу между «юмором» и «насмешкой», в особенности *насмешкой над собой*, и таким образом заставить людей оскорбить свои ценности и свое достоинство из страха, что их уличат в «отсутствии юмора».

Помните, что юмор — *не безусловная добродетель* и зависит от своего предмета. Можно смеяться *вместе с* героем, но не *над ним*, точно так же как сатира смеется над чем-то, но не *над собой*. Сочинение, высмеивающее самое себя, — это надувательство публики.

В романах Флеминга Джеймс Бонд постоянно произносит остроумные реплики, которые

составляют часть его очарования. Но, очевидно, мистер Майбаум подразумевал под словом «юмор» не это. По всей видимости, он имел в виду юмор за счет Бонда — тот вид юмора, который стремится принизить Бонда, сделать его смешным, то есть уничтожить.

Вот основное противоречие — и ужасная, паразитическая безнравственность — любой попытки создать «иронические триллеры». Такая попытка требует, чтобы автор использовал все ценности триллера (иначе он не удержит внимания аудитории), однако обратил эти ценности против них же самих. Она требует, чтобы автор повредил те самые элементы, которые он использует и на которые рассчитывает, пытаясь получить выгоду от того, что высмеивает, нагреть руки на стремлении аудитории к романтизму и уничтожая его. Это — не метод законной сатиры; она не разделяет ценностей того, что осуждает, а осуждает с помощью и в контексте *противоположной* системы ценностей.

Неумение понять природу и привлекательность романтизма красноречиво показывает, как далеко зашло эпистемологическое разложение современных интеллектуалов. Только прикованный к конкретному, враждебный понятиям менталитет утратит способность абстрагироваться в такой степени, что не может ухватить абстрактное значение, которое доступно неквалифицированному рабочему и президенту Соединенных Штатов. Только заторможенный современный разум настаивает на том, что события, изображенные в триллере, невероятны или невозможны, что героев нет, что «в жизни все не так», — притом что все это совершенно несущественно.

Никто не воспринимает триллеры буквально, не беспокоится о конкретных событиях, происходящих в них, не лелеет тайной подавленной мечты стать секретным агентом или частным сыщиком. Триллеры воспринимаются символически, они инсценируют одну из обширнейших и наиболее значительных абстракций человека — абстракцию нравственного конфликта.

В триллерах люди ищут изображения *человеческой силы*, способности человека бороться за свои ценности и достигать их. Видят же они конденсированный, упрощенный шаблон, сведенный к базовым понятиям: человек, борющийся за важную цель, преодолевающий одно препятствие за другим, наталкивающийся на ужасные опасности и рискующий, выживающий в мучительной борьбе и побеждающий. Вместо того чтобы говорить об упрощенном или «нереалистичном» мировоззрении, триллер говорит о необходимости трудной борьбы; если герой неправдоподобен, то же самое можно сказать и о злодеях, и об опасностях.

Абстракция должна быть неправдоподобной, чтобы вмещать любую конкретность, которая может заботить отдельных людей в соответствии с их системой ценностей, целями и амбициями. Система различна, психологические отношения остаются теми же самыми. Препятствия, на которые наталкивается среднестатистический человек, ему столь же трудно преодолеть, как Бонду — его антагонистов, но образ Бонда говорит ему: «С этим можно справиться».

Что находят люди в зрелище окончательной победы добра над злом? Она вдохновляет их бороться за свои собственные ценности в нравственных конфликтах своей собственной жизни.

Когда проповедники человеческого бессилия, ищущие автоматической безопасности, заявляют, что «в жизни все не так, человеку не гарантирован счастливый конец», можно ответить на это: триллер реалистичнее, чем такое мировоззрение, он указывает человеку тот *единственный* путь, который может сделать *возможным* какой-либо счастливый конец.

Здесь мы подходим к интересному парадоксу. Только поверхностный взгляд натуралиста определяет романтизм как «бегство от действительности». Это верно лишь в самом поверхностном смысле — если считать, что эффектное зрелище облегчает тяжкую ношу «реальной жизни». Но в более глубоком, метафизически-морально-психологическом смысле,

именно *натурализм* представляет собой бегство — бегство от выбора, от ценностей, от моральной ответственности; и именно *романтизм* тренирует и снаряжает человека для битв, с которыми ему приходится столкнуться.

В глубине души никто не отождествляет себя с людьми, живущими по соседству, если только у человека не окончательно опустились руки. А вот обобщенная абстракция героя позволяет любому человеку отождествить себя с Джеймсом Бондом, причем каждый наполняет этот образ собственной конкретностью, которую поддерживает и подсвечивает абстракция. Это не сознательный процесс, а эмоциональная интеграция, и большинство людей может не знать, что в *этом* причина удовольствия, которое они получают от триллеров. В герое они ищут *не лидера* или *защитника*, поскольку его деяния всегда в высшей степени индивидуалистичны и антиобщественны. То, чего они ищут глубоко лично: это — уверенность в себе и способность отстаивать свои права. Вдохновленный Джеймсом Бондом, человек может найти в себе смелость восстать против жульничества своих свойственников, или потребовать заслуженного повышения, или сменить работу, или сделать предложение девушке, или заняться любимым делом, или забыть весь мир ради своего изобретения.

Этого натуралистического искусство никогда ему не даст.

Рассмотрим, к примеру, одну из лучших работ совре менного натурализма — фильм Пэдди Чаефски «Марти» Это исключительно чуткое, пронизательное, трогательное изображение борьбы маленького человека за свои права. Можно сочувствовать Марти и испытать грустное удовольствие от его конечного успеха. Но весьма сомнительно, что кого-либо, включая тысячи реальных Марти, вдохновит его пример. Никто не может почувствовать: «Я хочу быть как Марти». Все (за исключением самых испорченных) могут почувствовать: «Я хочу быть как Джеймс Бонд».

Таково значение этой популярной формы искусства, на которую нынешние «друзья народа» нападают с истерической ненавистью.

Самая тяжкая вина — и среди профессионалов, и среди публики — лежит на моральных трусах, которые не разделяют эту ненависть, но стараются отягчить ее. Они считают свои романтические ценности тайным пороком, держат их в подполье, тайно протаскивают их на черный рынок и расплачиваются с признанными интеллектуальными авторитетами той валютой, которую те требуют, — насмешкой над собой.

Игра будет продолжаться, и сторонники этого повального увлечения уничтожат Джеймса Бонда, как они уничтожили Майка Хаммера и Элиота Несса. Затем они станут искать новую жертву для «пародии», пока какой-нибудь жертвенный червь не встанет и не скажет, что будь он проклят, если разрешит, чтобы романтизм протаскивали контрабандой.

Публике тоже придется принять в этом определенное участие. Она перестанет довольствоваться эстетическими барами, где незаконно торгуют спиртным, и потребует аннулировать поправку Джойса-Кафки, запретившую продавать и пить чистую воду, не денатурированную юмором, тогда как ядовитое пойло продают и пьют у каждого прилавка в книжном магазине.

Именной указатель

В указатель не включены имена литературных персонажей.

Августин 248 Амвросий 226 Ардсли-он-Хадсен 260 Аристотель 70, 284, 290, 316

Байрон Дж. 322 Балмер А. 270 Бальзак О. 330 Бейкер Б. 156 Бентам И. 92 Бенфилд Б. 324

Берне А. 271 Брайс Дж. 345 Брамс И. 187 Бранден Н. 106 Браун Ф. 336 Буш И. 261, 262 Бэйкер У. 260

Вандербильт К. 129 Вейссл. 261 Берн Ж. 322 Вернер К. 155 Вильсон Т. 167, 208, 209 Вулф Т. 308

Галилей Г. 234 Гамильтон Д. 323 Гейни 148 Гете И. 187 Гиллери Р. 262 Гитлер А. 37, 182

Голдуотер 166, 167 Готорн Н. 319 Грасс Г. 340

Гюго В. 40, 296, 297, 319, 327, 328, 342

Далиелл Т. 261 Джойс Дж. 352 Джонсон Л. 155, 157, 167, 168,

170, 175, 176, 179, 273 Достоевский Ф.М. 296,

299, 319, 328, 342 Драйзер Т. 295 Дуглас-Хоум А. 262 Дюма А. (отец) 320, 323 Дюма А.

(сын) 332

Золя Э. 330 Инграм С. 260

Карлов Б. 326 Карнеги Э. 129 Кафка Ф. 352 Кейнс Дж. 176, 177 Келлер В. 155 Кеннеди Дж.

176 Кифауэр 146 Колумб Х. 234, 284 Кольбер Ж. 152, 155, 157 Коннери Ш. 346 Конт О. 92

Корнель П. 156 Коун Ю. 260 Кроули Г. 210 Куилл М. 270

Ланг Ф. 325 Левин А. 336 Лежандр 152, 157 Ленин В.И. 37 Лесли Р. 258 Липпман У. 161

Льюис С. 181, 322, 323 Людовик XIV 151, 152, 156

Майбаум Р. 347, 348 Манн Т. 295 Маркс К. 252 Мейсон Л. 134 Ментенон де 155 Милль Дж.

92 Миноу Н.Т. 66, 67 Митчелл М. 296 Мольер 156 Морган Дж. 129

Муссолини Б. 181 Мюррей 247

Наполеон Б. 205 Никсон Р. 66 Нил Э. 131, 135-137, 141, 143 Ницше Ф. 92 Ньютон И. 257

О. Генри 322 О'Нил Ю. 333 О'Хара Дж. 333

Павел VI 221, 224, 230, 245-247, 251, 252 Пастер Л. 234 Пикеринг Дж. 262 По Э. 326 Поупл

Дж. 262 Прайс М. 261 Пресли Э. 44

Райан 141 Расин Ж. 156 Рембрандт Х. 282 Робеспьер М. 37 Рокфеллер Н. 161 Ростам Э. 319,

334 Рузвельт Ф. 63, 176, 177, 187, 208, 210

Саливан Л. 291 Селлср Э. 134 Сенкевич Г. 319, 328 Серлинг Р. 335 Скотт В. 320, 323

Смит Р. 144-146 Сол-Эстес Б. 156 Спиллейн М. 308, 323, 344 Сталин И.В. 37, 138

Таггарт Дж. 181 Толстой Л.Н. 330 Тренд Б. 263

Уиккер Т. 161, 162 Уиндрип Б. 181 Уитни М. 195 Уэллс Г. 322

Фейрлесс Б. 133 Фербер Э. 324 Феррайз Ф. 181 Флеминг Г. 132 Флеминг Я. 323, 344, 347,

348 Фома Аквинский 248 Франк А. 258

Херст Ф. 324 Хилл Дж. 129

Хисс О. 66 Хичкок А. 336 Хогг К. 263 Хэнд Л. 142

Чаефски П. 351 Челлини Б. 281

Шапиро Г. 259 Шекспир У. 329 Шеллинг Ф. 318 Шерман У. 130, 135 Шиллер И. 187, 319

Шопенгауэр А. 318, 319 Шутер Э. 262

Эдисон Т. 138, 235 Эйзенхауэр Д. 146 Эйнштейн А. 44, 258 Эйхман А. 37 Эжерч А. 208, 209

Лосский Н. *История русский философии*. Москва: Советский писатель, 1991, 475

Романы Рэнд вышли в переводе Д. В. Костыгина: Рэнд Айн. Источник: В 2 кн. Санкт-Петербург, 1995: Рэнд Айн. Атлант расправил плечи: В 3 кн.. Санкт-Петербург, 1997.

Джонсон (Jonson) Линдон (1908-1973) — 36-й президент США (1963-1969), от Демократической партии.

John Cassidy. The Fountainhead. *New Yorker*, 24. 2000. P. 127.

Catherine Bclton. Putin's Adviser Extols Ayn Rand // *Moscow Times*. 2000. April 26.

Дьюи (Dewey) Джон (1859—1952) — американский философ, представитель прагматизма.

Маркузе (Marcuse) Герберт (1898-1979) — немецко-американский философ и социолог, представитель Франкфуртской школы.

Милль (Mill) Джон Стюарт (1806-1873) — английский философ, экономист и общественный деятель, сын Джеймса Милля, основатель английского позитивизма.

Nathaniel Branden. *My Years with Ayn Rand*. San Francisco: Jossey-Bass, 1999, M.

Токвиль (Tocqueville) Алексис (1805—1859) — французский историк, социолог и политический деятель, лидер консервативной Партии порядка.

John Gassidy. The Fountainhead. *New Yorker*. 24. 2000. P. 127.

Encyclopaedia Britannica. 1964. Vol. IV. R ,439-845.

Рэнд Айн. Этика объективизма // The Virtue of Selfishness.

Подробнее о правах см. мои статьи «Права человека» с. 57-09 наст. изд., а также «Collectivized "Rights"» в кн.: *Rand Ayn. The Virtue of Selfishness.*

Подробнее на эту тему см. мою статью «Природа государства»

Автор отсылает к Декларации независимости. *(Примеч. пер.)*

Интеллектуальному банкротству философии, не сумевших осмыслить феномен капитализма, посвящено заглавное эссе моей книги «Для нового интеллектуала».

Имеется в виду антитрестовский закон, принятие которого было вызвано недовольством общества по поводу роста промышленных монополий.

Название «Laissez-faire» закрепилось за доктриной полного невмешательства государства в экономику, оставляющей все решения на усмотрение рынка.

Билли Сол-Эстес — тexasский финансист, известный по скандалу с коррупцией в департаменте сельского хозяйства. В 1902 году был приговорен к восьми годам тюрьмы. Бобби Бейкер, секретарь большинства в американском сенате, в 1903 году ушел в отставку после того, как был обвинен в использовании своего положения ради личного обогащения. *(Примеч. пер.)*

Эти определения взяты из: *The American College Dictionary*. New York: Random House. 1957.

Rand Ayn. *The Fascist New Frontier*. New York: Nathaniel Brandon Institute, 1963. P. 8.

Der Nationalsozialismus Dokumente 1933-1945 // Ed. by Walther Hofer. Frankfurt am Main: Fischer Bucherei, 1957. P. 29—31.

Подробную, документально подтвержденную полную картину ограбления Европы русскими см. в кн.: Keller Werner. East Minus West=Zero. New York: G. P. Tulman's Sons. 1962.

Patersoii Isabel. The Cod of the Machine. Caldwell, Idaho: The Caxton Printers, 1964. P. 121.

The Decline of American Liberalism // By Arthur A. L'kirch. Jr. New York: Longmans, Green & Co., 1955.

Ibid. P. 189. Цитата по поводу «духа империализма» взята из кн.: Osgood R.K. Ideals and Self-Interest in America's Foreign Relations. Chicago: University of Chicago Press, 1953. P. 47.

Ibid. P. 199.

Ibid.

Так проходит слава Wall-Street. Слово «Street» передано словом «via» — дорога, улица.

«Ибо никто из нас не живет для себя» (Рим 14:7).